Новый Журнал

74

THE NEW REVIEW

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of October 23, 1962: Section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of Filing—Oct. 1, 1963.

2. Title of Publication—The New Review.

3. Frequency of issue—4 issues yearly (March, June, September, December).

4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York 10025, N. Y.

5. Location of the headquarters of general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York 10025, N. Y.

6. Names and addresses of Publisher, Editor and Managing Editor—

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York 10025, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 10024, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 10025, N. Y.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 10025, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 10024, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112 St., New York 10025, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 10032, N. Y.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities (If there are none, so state).—None.

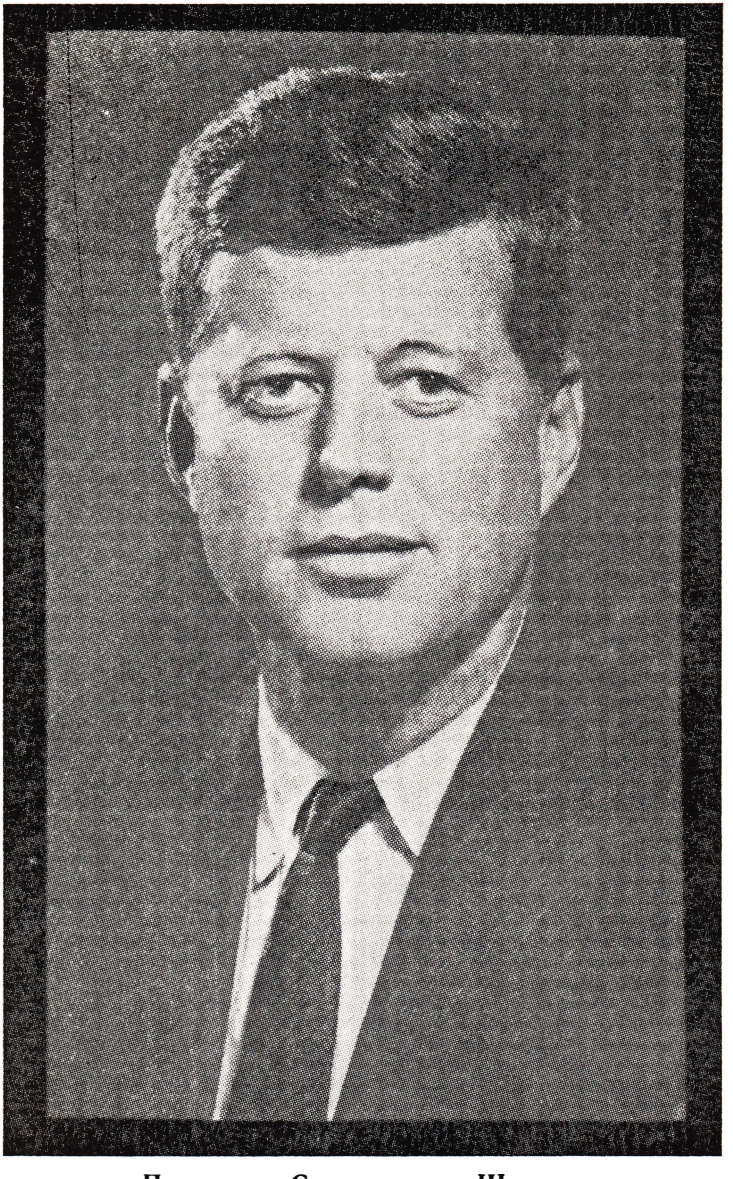
9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of bona fide owner. Names and addresses of individuals who are stockholders of a corporation which itself is a stockholder or holder of bonds, mortgages or other securities of the publishing corporation have been included in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are equivalent to 1 percent or more of the total amount of the stock or securities of the publishing corporation.

10. This items must be completed for all publications except those which do not carry advertising other than the publisher's own and which are named in sections 132.231, 132.232, and 132,233, Postal Manual.

	Average No. copies each issue during preceding 12 months	*Single issue nearest to filing date*
A. Total No. copies printed	1200	1200
B. Paid circulation		
1. To term subscribers by mail, carrier delivery or by other means	825	828
2. Sales through agents, news dealers, or otherwise	315	180
C. Free distribution by mail, carrier delivery, or by other means	40	40
D. Total No. of copies distributed	1180	1048

I certify that the statement made by me above are correct and complete

Roman Goul, Managing Editor



Президент Соединенных Штатов
ДЖОН Ф. КЕННЕДИ †

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать второй год издания

КН. 74 НЬЮ ИОРК 1963

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, December 1963
Quarterly, No. 74
2700 *Broadway, New York* 25, *N. Y.*
Subscription Price $9. — *for one year*
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От редакции — К кончине президента Д. Ф. Кеннеди 5
Ив. Бунин — Изгнание, стихи 6
Г. Кузнецова — Грасский дневник 7
Марина Цветаева — Стихи 38
Алла Кторова — Лицо Жар-Птицы 39
Иван Елагин — Письмо антиподу, стихи 92
Мих. Иванников — Искус 96
Олег Ильинский — Стихи 133
Ирина Одоевцева — На берегах Невы 136
Алексис Раннит — Стихи, перевод Л. Алексеевой 156
Вл. Варшавский — Заметки о прочитанном 160
К. Померанцев — Стихи 167
Дм. Чижевский — Стихотворения и поэмы К. К. Случевского ... 170
Н. Туроверов — Стихи 176

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Иосиф Бергер — Из тюремных воспоминаний 178
Н. Валентинов — Шесть лет в газете ВСНХ 186
В. Кокошкина и И. Гуаданини — Ф. Ф. Кокошкин 207

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. Ульянов — Тень Грозного 227
А. Иванов — Биология и идеологическая борьба 252
Н. С. Тимашев — Три книги о П. А. Сорокине 269

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

Кн. С. Щербатов — Флоренция 276
Лохов. *Письма в редакцию* 280

БИБЛИОГРАФИЯ:

Н. Тимашев — Dr. B. Ischboldin. Essays on Tatar History. *Зоя Юрьева* — В. Гиппиус. «Гоголь». А. Слонимский «Техника комического у Гоголя». *Ю. Иваск* — Ф. Степун. «Встречи». *Вяч. Завалишин* — Т. Фесенко. «Повесть кривых лет». *Ю. Иваск* — Ив. Елагин. «Отсветы ночные». *Б. Прянишников* — Ген.-лейт. В. К. Витковский. «В борьбе за Россию». — *И. Одоевцева* — А. Шиманская «Я вам прочту». *Е. Таубер* — О. Можайская. «Разлука и верность». *Р. Гуль* — Д. Магула "Fata Morgana" 284

PRINTED IN USA BY RAUSEN BROS., 142 EAST 32 ST., NEW YORK 16, N.Y.



ПРЕЗИДЕНТ Д. Ф. КЕННЕДИ — ОБ ИСКУССТВЕ

«Искусство создает основу человеческой правды, которая питает наши суждения. Художник, всегда верный только своему ви́дению реальности, является защитником духа и чувства от всего навязываемого ему обществом и государством. Великий художник всегда — одинокая фигура . . .

Я считаю делом первостепенной важности для нашей страны и для нашей цивилизации — обеспечить полное признание значения дела художника в обществе. Если искусство живет для того, чтобы своими корнями питать нашу культуру, общество должно дать художнику полную свободу итти туда, куда его ведет его личное ви́дение мира.

Мы никогда не должны забывать, что искусство это вовсе не одна из форм пропаганды. Искусство, это — форма правды . . . В свободном обществе искусство, это не оружие, оно не принадлежит к сфере идеологической полемики. Художники — не инженеры душ. Такое понимание может быть в других странах. Но демократическое общество видит высшее назначение писателя, композитора, художника в том, чтоб они оставались верны только самим себе . . .

Служа своему ви́дению правды художник лучше всего служит и своей стране».

(Из речи, произнесенной 26-го октября 1963 г. в Амхерст Колледж, в гор. Амхерст в штате Массачусетс).

Редакция «Нового Журнала» глубоко скорбит о преждевременной кончине президента США Д. Ф. Кеннеди и выражает искреннее соболезнование вдове и семье покойного.

ИЗГНАНИЕ

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан . . .

Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?

Гляжу вперед, на черное Распятье
Среди дорог —

И простирает скорбные объятья
Почивший Бог

Бретань. 1920. *Ив. Бунин*

В ноябре 1963 года исполнилось 10 лет со дня кончины И. А. Бунина. Мы отмечаем эту грустную дату публикацией его стихотворения «Изгнание», присланного нам Л. Ф. Зуровым из архива И. А. Бунина. Кроме того мы помещаем отрывок из готовящейся к печати книги Г. Н. Кузнецовой «Грасский Дневник», — о жизни И. А. Бунина на юге Франции. РЕД.

ГРАССКИЙ ДНЕВНИК

. . . и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо.

Пушкин

2 июля 1927 г.

Ходили после завтрака в город. День изумительный, внизу на площади пустота и солнце, каменный фонтан один плещется в этой тишине, переполненный водой, сияющей на свету. И. А.[1] остановился и, удержав меня за руку, сказал: «Вот это то, что я больше всего люблю — настоящий Прованс!» И, помолчав, прибавил: «Мне почему-то всегда хочется плакать, когда я смотрю на такие вещи».

Когда мы поднимались через сад Монфлери, он все время обращал мое внимание на небо — действительно изумительно прекрасное, густого голубого цвета, в котором есть и что-то лиловое. В этом лилово-голубом особенно прелестно мотаются мягкие ярко-зеленые ветви елей, облитые солнцем и непередаваемо прекрасные. И он все время брал меня за локоть и говорил: «Как они прелестны и как хорошо им там, вверху...».

Уже на подъеме к нашей вилле мы засмотрелись на море, резко голубое, к горизонту чуть размазанное чем-то белым, что, занимаясь как воздушный пожар, переходило на небо. И он сказал мне: «Это надо, придя домой, записать коротко, в двух словах заметить о сегодняшнем дне: о зелени, о цвете неба, моря . . .» И вот я пишу, но не так коротко, как говорил он, потому что мне хочется сказать и о нем самом, о том, что он был весь в белом, без шляпы, и когда мы шли по площади, резкая линия его профиля очерчивалась другой световой тонкой линией, которая обнимала и голову, и волосы, чуть поднявшиеся надо лбом . . .

---

[1] И. А. Бунин.

8 августа

Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У И. А. это начинается почти всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто обрывка. Так «Солнечный удар» явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге. А конец пришел позднее. «Ида» тоже от воспоминания о зале Большого московского трактира, о белоснежных столах, убранных цветами. «Мордовский сарафан», где, по его собственным словам, сказано «о женском лоне» то, что еще никем не говорилось и не затрагивалось, ведет начало от какой-то женщины, вышивавшей черным узором рубаху во время беременности. Часто такие куски без начала и конца лежали долгое время (иногда годы), пока придумывался к ним конец.

А говорили об этом в автобусе по пути в Грасс — мы возвращались с купанья. Все время справа в небе видна была горбушка той дальней сиреневой голой горы, что на востоке от нас. По краю ее стояли белые легкие облака с рваными краями. Я особенно люблю эту дикую гору.

31 октября

Вчера, по случаю великолепного дня, поехали с И. А. в Канны необычным путем, через Оребо и Пегомас. В Каннэ долго ходили по горе: «искали виллу» — это любимейшее занятие, вот уже несколько лет у И. А. Ему все мерещится какая-то необыкновенная, уютная, деревенская дача с огромным садом, со множеством комнат, со старинной деревянной мебелью и обоями «высохшими от мистралей», где-то на высоте, над морем; словом, нечто возможное только в мечтах, так как ко всем этим качествам, быть может и находимым, присоединяется еще одно необыкновенно важное, но совершенно исключающее все вышеупомянутые, — дешевизна. Но все же каждый год, как только приближается время отъезда из Грасса, он начинает ездить по окрестностям и искать, мучимый давней мечтой о своем поместьи, о своем доме. С каким наслаждением карабкались мы по каким-то отвесным тропинкам, заглядывали в ворота чужих вилл, обходили их кругом и даже забрались в одну, запертую, необитаемую, с неубранным садом, где плавали в бассейне покинутые золотые рыбки и свешивались с перил крыльца бледные ноябрьские розы. Потом, стоя на высоте, смотрели на закат

с небывалыми переходами тонов, с лилово-синими, сиреневыми, гелиотроповыми грядами гор, точно волны на прибой, идущими на нас от горизонта, с мирным голубым, гладким, гладким морем, стелющимся нежным дымом до светящейся полосы горизонта. Какая красота, какое томление... И так заходило солнце и при цезарях, и еще раньше, и эти волны гор так же шли на прибой с запада...

В автобусах, в трамваях везли целые снопы цветов: белых восковых тубероз, похожих на пуки церковных свечей, тонко и крепко пахнущих; пушистых, пестрых хризантем, точно утомленных собственной пышностью и изобилием. Через день праздник Всех Святых.

Сегодня начала перепечатывать первую книгу «Арсеньева».

8 ноября

Не писала, так как с утра до вечера была занята печатанием. В восемь дней переписала первую книгу и треть второй, т. е. около 100 больших страниц. Устала, но рада, что кончила так быстро. Я видела, как И. А. хотелось поскорее иметь совершенно чистый экземпляр.

9 ноября

Рукопись сброшюрована, проверена, совсем готова для печати, но И. А. по обыкновению ходит и мучается последними сомнениями: посылать или не посылать? Печатать в январской книжке или не печатать? Но, думаю, исход предрешен, — он пошлет, помучив себя еще несколько дней. По складу его характера он не может работать дальше, не «отвязавшись» от предыдущего. В. Н.[2] против печатания, во многом она права, но ведь приходится считаться с характером И. А., а она за все двадцать лет жизни рядом не может примириться с ним.

Сегодня провела день в приведении себя в порядок — я была прямо невменяема все эти дни работы. Комната была неубрана, и я тоже. Усиленно чистила всё и чистила свои «перышки», по выражению А. Толстого. На дворе сыро, мягко, всё время моросит дождь. Я еще не выспалась, и вообще все мы вялые. И. А. ни о чем, кроме книги, говорить не может и ходит в сомнамбулическом состоянии.

---

[2] В. Н. Бунина.

13 ноября

Вдруг сразу резко изменилась погода, и уже третий день зима. Два дня мы все крепились и сидели в комнатах в пальто, но на третий не выдержали и среди дня стали топить печи во всех жилых комнатах. Меня перевели в кабинет В. Н., так как в моей комнате нет печки, и я теперь на новосельи. А среди дня пережила почти возврат в детство, когда И. А. вошел со двора в меховой шапке и перчатках, хозяйственно нахмуренный, озабоченный, и позвал меня носить дрова из погреба и топить печи по всему дому, а вскоре затем по всем комнатам так уютно по-зимнему запахло горящим хворостом и теплом. Как хорошо это всё, русское, как жаль, что это начинает забываться, что подрастающие здесь уже не будут знать этого! Как это роднит поколения, как соединяет для меня, например, И. А. с покойным дедом, когда-то так же носившим дрова в теплой шапке и рукавицах и топившим печь в моей комнате.

1 ноября 1928 г.

Из моих писаний, как я ни бьюсь, ничего не выходит. С темами не выходит. Очевидно не соблюдаются какие-то внутренние таинственные пропорции между темой и стилем. Каждый вечер в постели болит голова какими-то новыми нервными болями.

Вчера были днем одни с Р.[3] в доме и было тихо, как в могиле. Шел дождь, не переставая; черные перья пальмы особенно мрачно закрывали горизонт, серое дымное небо медленно плыло над оливками. Было ужасно грустно. Это прекраснейшее в солнечные дни место в непогоду делается чуть ли не самым мрачным на свете. Я пыталась продолжать рассказ о Праге, утомилась, замучилась и бросила. Запуталась посередине. Потом мы часа два готовили на кухне с капитаном[4] ужин. Он таскал из погреба дрова, промочил ноги, бранился. Растапливали плиту, жарили картофель.

Я (видя, что ему неприятно носить дрова) мирно: А ведь когда-нибудь будем вспоминать эту зимовку, эти вечера в кухне . . .

Он: Да. И главное будем вспоминать, как нечто приятное; вот ведь какие штучки проделываются человеческой памятью.

---

[3] Н. Рощин, [4] так называли Рощина.

Я (стараясь поправить дело): Да ведь это свойственно человеческой памяти...

Прерывая наш разговор, раскрывается входная дверь, кто-то сует зонтик в угол, потом темная масса пролетает вверх по лестнице и раздается отчаянный гневный рев:

— Чорт знает что... Жалеть тридцать франков на автомобиль и лечь из за этого в могилу... Я же ей говорил...

Затем вбегает В. Н. взволнованная, запыхавшаяся. И. А., со страшным шумом раздеваясь, наверху:

— Капитан! Ко мне! Галя! Растирайте ее... Растирайте... Возьмите одеколону... Ноги до колен мокрые... Растирайте скорее! Да где она? Еще внизу? Вера! Вера!

Поднимается невообразимая суета и беготня. В. Н. со смехом рассказывает, что на дворе «мистический ливень», что перейти через дорогу невозможно, что они бежали, как сумасшедшие... Я стаскиваю с нее мокрые чулки, растираю ноги. И. А. все кричит и бушует у себя. Рощин растирает его. В конце концов выясняется, что он так волнуется оттого, что считает, что простуда реже поражает людей в нервном приподнятом состоянии.

— В мои годы воспаление легких — это смерть...

Мы спускаемся и едим картофель, сгоревший почти в уголь, пока мы были наверху. Во время обеда выпивается значительное количество коньяку, к чему пристревает и капитан: «я тоже промочил ноги...»

Вечером в кабинете И. А. с величайшим вкусом читает Мопассана, сидя в своей великолепной красной пижаме от «Олд Ингланд». В. Н. слушает уже лежа в постели. Дождь продолжается. Мы дружно смеемся. Капитан в наброшенном на плечи пальто, без воротничка, сидя у печки, напоминает человека из ночлежки.

В двенадцатом часу дом затихает.

25 июля 1929 г.

Вчера, возвратясь после купанья, застали у себя Неклюдова.[5] Остался обедать и был интересный разговор. За год он очень подался. Уши совсем мертвенные, страшны также руки, да и в лице есть что-то отчужденно-умоляющее. Но в остальном все так же разговорчив, мил, весел, легок и прост,

[5] А. В. Неклюдов — бывший русский посол в Мадриде.

как и в прошлом году. Разговор, однако, беспрестанно возвращался к смерти, отчасти, впрочем, потому, что И. А. несколько раз принимался расспрашивать, как он себя чувствует, замечает ли, что стареет; правда всё это под видом шутки. Он отвечал, что в этом году что-то в нем пошло на схождение, что началось это с того, что он зацепился где-то на площадке за дужку крокета и упал, разбил губу; потом в день собственного рождения должен был идти на похороны брата и уронил часы. Они остановились на 8-м часе его рождения. «А главное, я начинаю чувствовать, что устал...». Потом разговор пошел не такой печальный. Как всегда, он легко перешел к рассказам о разных случаях из жизни высокопоставленных особ, потом, направляемый расспросами И. А., заговорил о положении России (я видела, что И. А. интересуется этим для проверки себя, для Арсеньева).

— Россия была испорчена литературой, — говорил он. — Ведь все общество жило ею и ничего другого не желало видеть. Ведь даже погода в России должна была быть всегда дурной, по мнению писателей. Я как-то указал кому-то, что у Щедрина во всех его сочинениях ни разу нет солнечного дня, а все: «моросил дождик», да хмуро, да мерзко. И что же? Так и оказалось. Просмотрели всего Щедрина — так и оказалось!

— Совершенно правильно! Совершенно правильно!, — горячо воскликнул И. А. — А всякие Шеллеры-Михайловы? А Щедрин? Ведь это в сущности сплошной фельетон и оборотная сторона «Нового времени»...

— В России страшно разлагалось низшее сословие. Я замечал это каждые два года, когда приезжал из-за границы. В семидесятых годах мужики еще были отличные. Крепостное право они и не вспоминали — им его напомнили позднее, искусственно. В восьмидесятых годах было уже много хуже, а в девяностых — совсем никуда. Главное, три четверти пили. Всё пропивали. Помню, приехал я в Тверь, вечером страшно было смотреть, что делалось! Все эти телеги скакали домой, и все было полно бабами и мужиками — пьяными. Ужасно пили.

— Но ведь Россия шла к необычайному расцвету в царствование Александра III и в последнее царствование, — говорил И. А.

— Да, да... — соглашался Неклюдов, — и ведь в 1911 году государь мне лично сказал: помните, Неклюдов, войны у нас не может быть до 1918 года. Это он мне сказал

лично, а уже было ясно — мы в это время изо всех сил старались завязать дружественные отношения между Болгарией и Сербией — что они соединятся и пойдут против турок... И к чему была нам эта Сербия! Один романтизм и больше ничего...

Потом говорили о разных лицах императорской фамилии. Неклюдов о каждом рассказывал что-нибудь. Он всех знал.

— Скажите в кого это пошел Николай I? От кого у него это олимпийство? — спросил И. А.

— А видите ли, был в Царском Селе портрет англичанина — доктора Грэвса; говорят, сходство изумительное... Говорят английская кровь. А вот о Павле рассказывали, что Екатерина была беременна от Чернышева, а Воронцова — от Петра III. Доложили Елизавете. «Ведь кровь-то ваша у Воронцовой, а не у Екатерины...» Она подумала. И приказано было — переменить. Вот у Воронцовой и оказалась впоследствии девочка...

Слушая его я любовалась его манерой держаться, говорить, есть. Он и сливу разрезал как-то особенно, не так как все, необыкновенно изысканно и красиво, и руки у него двигались особенно... Вообще он при разговоре делал множество мелких, чрезвычайно изящных движений, и я все думала, глядя на его сухую старческую голову, на бородку, на продолговатое лицо, на тончайший золотой обручик на левой кисти, что все это уже кончено навсегда, что эта порода людей вымирает на земле, что она больше не нужна и что все же это страшно жаль! Как приятно беседовать, обедать и завтракать с такими людьми! Они легки, просты, с ними никогда не может выйти никакой неловкости, что дается только воспитанием. Когда он ушел, я, сидя в саду, еще долго думала о нем, о его руках, изяществе его костюмов, изысканной простоте речи. Какую жизнь прожил он? Посол в Швеции, в Мадриде— сколько дворов, сколько блестящих людей!

14 ноября 1929 г.

Вчера, кажется, что-то поняла в Мережковских. Мы сами наивны, когда удивляемся, что они не чувствуют высокой красоты «Арсеньева». Или этот род искусства просто чужд им и оттого никак не воспринимается ими или даже воспринимается отрицательно.

Был разговор по поводу Сологуба, о котором кратко, но весьма для него не выгодно написал И. А. в прошлом фельетоне. Защищая род искусства, в котором действовал Сологуб, Мережковский сказал:

— «Вы можете любить или не любить, но вы должны признавать, что кроме вашего искусства, натуралистического, есть и другой род. В нем действуют не действительные фигуры, а символы, что может быть даже и выше первого. Для вас «манекены»? Но ведь и Дон-Кихот — манекен! А у Ибсена нет ни одного живого лица. А весь Гоголь — такие манекены. Но я не отдам одного такого гоголевского манекена из «Мертвых душ» за всего вашего Толстого! А Гамлет? Разве живое лицо?...»

Зинаида Николаевна[6] была мила, насколько это возможно для нее. За столом вскрикивала, как капризная девочка, любимица в доме, приставляла лорнет к глазам и тянула: «Что это там? Володя! Дайте же мне этого... Налейте же мне белого...» или вдруг кричала, требуя, чтобы угощали чем-нибудь И. А.: «Дайте же ему салата! А вот это что? Акрида? (креветка в майонезе). Как ее есть? Кто хочет взять у меня акриду?..»

Подавала за столом молодая кухарка, которой особенно хвалилась З. Н. в пригласительной записочке, обещая, что их «молодая ведьма обещает приготовить майонез, филе из молодого барашка, салат и яблочную тарту...». Приготовлено все это было действительно очень тонко; ведьма же оказалась очень недурной женщиной с красивым левым профилем — правый испорчен, — одетой, как барышня. Мережковский сказал по поводу нее целую речь за столом, указывая на ее ««профиль молодой римлянки», на тему о том, как тонки могут быть чувства, возбуждаемые такой молодой красивой женщиной в человеке пожилом и старом.

— Все воображение? Но ведь это куда тоньше того пожирания, которое подобно тому, что вы съедите это филе молодого барашка. Недаром в Библии сказано, что если ты посмотрел с вожделением на женщину, ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Остальное грубое и в сущности неважно. Если ты хочешь иметь детей, основать брак — это совсем другое. Но наслаждение воображением — это са-

---

[6] З. Н. Гиппиус.

мое тонкое, очаровательное. Самые глубокие, пленительные, настоящие страсти бывают только в детстве и в старости. Остальное — ерунда.

Гиппиус дала мне прочесть рассказ Сологуба «Жало смерти», с тем чтобы показать его значительность и пронзительность. Рассказ этот мы читали вслух вечером. Если даже допустить, что «два отрока» — символы двух душ, то сделано это все так, что действует как раз в обратную сторону. Одна В. Н. утверждала, что «если это символы, то в этом что-то есть», но слабо и должно быть больше из желания быть «беспристрастной».

Приятен у Мережковских некий эстетизм и вообще другой тон жизни. Меня мучит наша жизнь «спустя рукава». Но могу исправлять это в очень малой степени, да и то почти только у себя.

Возвращаться было утомительно в поезде с темнотой за окнами. В. Н. не умолкая говорила, как всегда в возбуждении усталости.

28 июня

Вчера ездили в Шато Клозон к К. М. Лопатиной. В поездке этой для меня было множество новых и интересных чувств. С внешней стороны все было довольно обычно: собрались с утра, по случаю нерасполагающей почти предгрозовой погоды решили отказаться от первоначального плана сделать часть пути пешком, и взяли автомобиль прямо до Биота.

Когда выехали уже проглянуло солнце и под душным жарким светом среди долин, взгорий, виноградников, каменных городков, где красным запыленным шелком бросались всюду в глаза расцветшие мальвы, поехали через долину, на которую мы смотрим обычно с площадки нашего сада. Небо было все в пухлых облаках, и все были немного отупелые, особенно И. А.

Подъехав к подножью клозонского холма, мы отправили шофера завтракать в Биот, а сами, пешком через лес, пошли в Клозон. Не доходя до него, в лесу позавтракали, приятно разговаривая. Илюша[7] говорил о том, как надо теперь строить будущую Россию и что было дурного в старой. И. А. возражал, но не очень.

---

[7] И. И. Фондаминский.

К Клозону мы подошли в то время, когда там всем полагается отдыхать.[8] Все окна были закрыты ставнями, перед домом на шезлонгах лежали дети, в одних трусиках или прикрытые чем-то серым. Ни один ничего нам не ответил на вопросы, не вскочил — это час молчания; у крайнего нас поразили яркие, светло-синие, как подснежники, глаза. Он молча улыбался нам. Мы с Илюшей постояли подле него, любуясь им. К нам подошла сестра, некрасивая, с кривыми ногами, но милая и попросила нас наверх в приемную. Мы вошли в прихожую; там на матраце тоже спал голорукий худенький мальчик, зарывшись стриженой головой в собственный локоть. В приемной, куда нас привели, было темно не только от ставень — их тотчас распахнули, но от густой точно подводной зелени деревьев, серо-зеленые стволы которых толпились за раскрытым окном.

Тут был овальный стол, кушетка (на которую И. А. тотчас же лег), пианино с картиной над ним, изображающей голову кающейся Магдалины, и белый бюст Эпиктета на камне; некрасивое, длинноносое, умное лицо. Мы все сели и тотчас же за этим вошла Катерина Михайловна, в своем белом сестринском одеянии, обрадованная, возбужденная и по обыкновению рассеянная. Она перецеловалась со всеми нами, поахала над неожиданностью нашего прихода, попеняла на то, что пришли мы, как всегда, на такой короткий срок, и стала говорить то о себе, то о делах, то о знакомых с обычной торопливостью и разбросанностью (сестра внесла нам угощение: варенье и воду, по восточному). И. А. весело насмехался над нею, войдя в ту обычную роль, которая ему кажется удобнее всего с нею, ответил на ее оханье по поводу того, что он лег, не открывши подушки («она право чистая, хоть тут и спал кто-то . . .»)

— Да ничего, авось я на постоялых дворах не раз спал!... сказал И. А., что вызвало у всех смех и такое восхищение Кат. Мих., что она бросилась целовать его. Впрочем, он тут же заснул под общую болтовню. Следя за разговором, я все время испытывала чувство, которого уже давно не помнила в себе: это было ощущение старого деревенского усадебного мира, который я знаю неведомо откуда, запах, прохладу затененных комнат, мирное течение дня, которое чувствовалось и в этих зеленоватых стволах за окном и в круглом ли-

[8] В Клозоне был превантoриум для русских детей, кот. заведовала К. М. Лопатина.

це Магдалины, вознесшей глаза к небу, и в банке варенья, и в разрозненных стаканах, стоявших на подносе. У воды был какой-то медный привкус, неизбежный в усадьбах. И все это было так успокоительно, так далеко от того ослепительного света, на котором стоит наш грасский дом, что какой-то частице моей души захотелось некоторое время пожить здесь...

21 июня 1930 г.

Второй день живет приблудившийся рыжий песик. Вошел он в сад, когда мы с Л.[9] сидели под пальмой, боком подошел, держа торчком остриженные уши и внимательно и испуганно кося на нас черные глаза. Морда у него была черная, точно на нее чехольчик черный надели, в отличие от всего прочего. Худ он был так, что все ребра видны. Дали ему белого хлеба и корку сыра — боится есть. Л. назвал его «Сухарем». Пробыл он у нас две ночи и два дня, первую ночь подвывал от скуки и одиночества, чем и навлек на себя недовольство. Вчера его изъявил желание взять почтальон, но прислуга отложила дело до сегодняшнего дня. И. А. с ним нежен, он его трогает, несмотря на напускной суровый и даже палаческий вид. «Вот бы написать о нем рассказ», говорил он.

Илюша пришел, принес мне книги — роман Рамюза и Морана, а за обедом, тотчас после первого блюда разгорелся жаркий спор, истоком которого была вчерашняя статья Вейдле. И. И. говорил, что в основе статьи его есть правда, что есть два способа писать и один способ несомненно новее, просто потому, что он исходит от людей более молодых и значит живущих другим воздухом, другим ощущением.

— Да вот, Иван Алексеевич, недавно я выступал в Париже, я как будто умею удержать аудиторию, помню, когда-то чувствовал, как три тысячи человек в моей власти, что нити, протянувшиеся от них, все собраны в моих руках и я их держу. А тут говорил, говорил и вдруг в конце одна дама говорит мне: «Да, вы очень хороший оратор. Но вы говорили старомодно. Вы — vieux jeu». Я вернулся домой, подумал и понял, что она права. Теперь чувствуют иначе. Вот

---

[9] Л. Ф. Зуров.

теперешняя молодежь прошла через войну и она уже совсем другая, чем мы. И вот я считаю, что для того, чтобы идти в ногу с эпохой, надо не подражать ей искусственно, а чувствовать ее так, чтобы она преломилась в вашей, пусть и «старинной» душе и дала свою проекцию на экран искусства. Пусть даже это преломление будет отрицательнным — надо, чтобы оно все-таки было.

Спорили об этом долго. И. А. не понимал, доказывал, что самое главное — талант, что важно, лишь бы человек говорил свое. Я видела, что тут ничего нельзя поделать. Илюша правильно сказал: «Вот я смотрю, что делает автомобиль с Амалией Осиповной. Ведь чудеса. Как вы теперь подойдете к женщине, которая правит автомобилем? Что вы с ней сделаете? Она совсем иное существо...»

Сухаря забрал сегодня почтальон, накинул ему на шею ошейник из своего кожаного пояса — какая тоненькая, жалкая оказалась у него шея! — и пытался увести. Но Сухарь стал биться и метаться и укоризненно глядеть на нас черными испуганными глазенками...

— Скажите, чтобы он взял его на руки! — крикнул из своего окна Л. — он не сошел прощаться с ним.

Почтальон взял его, огладил, поплевал ему на нос — видимо, чтобы знал хозяина — и захватил его подмышку. И бедный Сухарь робко забил хвостом... И. А. говорил потом, что ему так жалко, что хоть плачь.

27 июня 1930 г.

Вчера ездили с Алдановым к Ниццкой обсерватории, которая нужна ему для романа. Выехали часа в четыре. Амалия Осиповна[10] правила, с ней рядом сидел ее учитель француз, так что мы на заднем сиденьи были предоставлены самим себе. Правда, сидеть втроем с Алдановым было немного тесно; мы вдвоем с И. А. занимали места столько, сколько он один, так что временами И. А. садился на пол против нас по-турецки, особенно когда закуривал, чем вызывал возгласы удивления у Марка Александровича, которому такая легкость передвижения казалась подвигом.

---

[10] А. О. Фондаминская.

У обсерватории я была первый раз и на меня произвела известное впечатление мысль о том, что на этой уединенной огороженной горе живут люди, собравшиеся для того, чтобы следить за жизнью неба. Алданов хитро придумал поместить сюда своего Брауна после «Бегства».

— Верующие идут в монастырь, а неверующие сюда, — говорил он.

Уже объезжая гору, на которой видны три купола обсерватории, он стал расспрашивать, как называется то или другое дерево, какой лес на соседней горе, потом стал делать предположения, как доставляют сюда провизию, есть ли какие-нибудь развлечения. На воротах обсерватории висела доска с надписью: «Вход строжайше запрещен». Консьержка встретила довольно нелюбезно, сказала, что надо написать директору, просить разрешения посетить — без этого осматривать нельзя. Пришлось удалиться ни с чем. Алданов оглядывал гору, стараясь пока запомнить хоть бы внешнее: фигуры на воротах, скверный ресторанчик «Белая сирень», куда он даже хотел было заехать, чтобы посмотреть, мог ли бы жить там Браун. Вообще же он был настроен довольно грустно-мистически, говорил, что «как подумаешь, что в одном Млечном пути какое-то количество тысяч звезд таких, как наша земля...»

В Ницце мы отправились в кафе, под казино, и в то время, пока Амалия ездила к брату, закусили холодным мясом с вином. Алданов был в этот раз как-то покорно-кроток, мил, открыто-грустен, как часто последнее время. Выпив вина, как всегда, немного повеселел и стал разговорчивым. Говорил и И. А. и мне, что очень любит нас и вообще стал похож на того Алданова, который завтракал с нами в Ницце два года назад.

Всю дорогу туда и обратно он расспрашивал. Это его манера. Разговаривая, он неустанно спрашивает, и чувствуешь, что все это складывается куда-то в огромный склад его памяти, откуда будет вынуто в нужный момент. Расспрашивал он решительно обо всем: как мы здесь живем, охотятся ли здесь, ездят ли верхом, почему не охотится И. А., почему не ездит верхом, почему не ловит рыбу (все эти вопросы показывали полную неосведомленность его о нашей и общей жизни здесь), потом, как И. А. жил когда-то, тридцать лет назад здесь с Наживиным в Ницце, кто были его знакомые, как проводили время писатели в Москве в то время, жил ли И. А. всегда в гостинице, не скучно ли ему было

жить в деревне, как кутили Андреев, Горький. «Всего этого не только вы, но и я уже не застал», — оказал он, обращаясь ко мне. — «Настоящая жизнь была, конечно, только до войны». — Потом он сказал, что чувствует, что И. А. теперь нескоро приедет в Париж и что ему это грустно.

— Я вам завидую, И. А. Вы мудрый человек. А я вот боюсь одиночества и мог бы жить только в таком месте, где можно было бы встречаться с двумя, тремя такими милыми друзьями, как Фондаминские, вы. Но такое место только одно — Грасс. А это слишком далеко. Дорого ездить часто. Я бы на юге, правда, предпочел Канны, но там никого нет. Мережковские же мне несимпатичны. Я их не люблю и боюсь. Она всегда говорит неприятности. А в Париже прямо нестерпимо. Отрывают то и дело. Надо идти то на адвокатский обед, то на лекцию, чтобы не обидеть...

— Вы, Марк Александрович, больны, и в тяжелой форме, деликатностью. Кто вам велит ходить на все эти адвокатские обеды?

— Ах, Иван Алексеевич, а откажешь, придут, надо объясняться, обижаются...

Прощаясь, я ему сказала:

— Завидую вам, Марк Александрович. Вот вы сейчас придете к себе, выпьете чаю, сядете писать... Все у вас уже налажено, роман выдуман, только остается писать...

Он серьезно ответил:

— Хотите дам вам совет? Купите записную книжку и заносите туда все замечания, разговоры, планы. И из этого сам собой появится план романа...

Без числа

Сегодня вечером Алданов последний раз обедает у нас перед отъездом в Жуан-ле-Пэн, а Ил. Ис. будет читать нам законченную только что статью об Империи.

8 июля 1930 г.

После обеда в кабинет И. А. внесены были полотняные раскидные кресла, все уселись, И. А. лег на постель и чтение началось. Читал И. И. около часу. Основную идею его можно в нескольких словах пересказать так: Империя в России зиждилась на религиозном основании. Царь был Бог на земле и все подданные его рабами. Но состояние рабства самая ужас-

ная вещь на земле. Поэтому едва родилось осознание себя человеком, личностью, состояние рабства — невыносимо. «Орден» и принялся за работу пробуждения этого сознания в толпе бессловесных, почти восточных рабов, но недостаточно успел в этом; на свободу с революцией вырвались рабы и получился «бунт рабов».

Когда начались обсуждения, И. А. сказал, что написано очень неплохо, что все, что касается первой части, т. е. религиозного отношения к монарху, очень правильно. Разрушаться это отношение начало ко времени I-ой революции, и он сам слышал после японской войны, как мужик обозвал царя по-матерному.

Почти все время молчавший Алданов, на вопрос, что он скажет, ответил, что у него очень много возражений.

— Я вперед знаю, что скажет М. Ал., сказал Илюша, он находит, что монархия у меня очень стилизована, что все происходило много проще...

— Не совсем, но грубо говоря, так. Монархия действительно у вас «стилизована» и вы сами знаете, что происходило все это много проще. Прежде всего я не согласен с вами в том, что народ так уж любил некоторых монархов и что они были верующими... например Екатерина. А что делал Петр I? Не будем говорить здесь об этом, но ведь вы знаете, что он делал...

— Но ведь провалы свойственны русскому народу, — вмешался И. А. — Он молится, а потом может так запалить в своего Бога... как это свойственно всем дикарям, когда бог не исполняет их желаний. Но это не мешает ему потом опять поставить его перед собой, намазать ему губы салом, кланяться...

— Да, я же и говорю — Петр был первым комсомольцем, — спокойно сказал Алданов. — А больше всего я против того, что И. И. хочет вывести из всего этого. Он напирает на то, что вот, мол, есть Запад и есть Азия, т. е. Россия. На западе все было по-иному, по светлому, а у нас было рабство, дикость. Поэтому народу собственно и потребно такое правительство, какое сейчас он имеет, т. е. большевистское. Он собственно говорит то, что говорят о нас иностранцы, что сказал Эррио, например: «Для такого рабского народа — так и надо». А между тем на Западе было то же самое. Разве какой-нибудь Людовик не считал себя Богом? «Раб твой», подписываемое на челобитных, является простой формой вежливо-

сти. Я не согласен с тем сусанинским пафосом, который вы придаете всему этому...

— М. А., я ведь беру главное! Между Западом и нами все-таки было различие... Различие в оттенках...

— Нет, нет, самое ужасное, что вы роете этот ров между Западом и нами — «Азией». Все шло таким быстрым темпом последние несколько десятилетий, что удержись мы после войны — мы бы догнали Европу. Мы — не Азия, а только запоздавшая Европа...

— Правда, правда, М. А. — закричал И. А. — И революцию можно было предотвратить...

— А по поводу любви народа к монархам, вспомните, что еще Л. Н. Толстой писал в письме к Николаю II: «Вы думаете, что народ Вас любит, Вы увидите, что никто не пошевельнет пальцем для Вашего спасения». И это оправдалось...

Потом прощаясь, когда все вышли в сад, я спросила И. И., не смущают ли его возражения и считает ли он их правильными. — Я проверил себя, Г. Н., ответил он. — Я работаю над этим уже 10 лет и могу сказать, что умру, веря в то, что пишу. Я знаю, как мне будут возражать. Но это нисколько не колеблет моего убеждения. Я хочу, кроме того, показать, что монархия в России была трагедией...

3 августа 1930 г.

Возвращаясь вечером с купанья, заметили внизу нашей горы чей-то великолепный темно-синий автомобиль. И. А. пошутил, что это должно быть какой-нибудь американский издатель, приехавший к нему, а когда мы вошли в калитку дачи, навстречу нам с кресла под пальмой поднялась высокая мужская фигура, а за ней что-то голубое. И. А. ждал Рахманинова с дочерью (Таней), приехавших на несколько дней в Канны.

Сели, заговорили. У Тани оказался с собой американский аппарат, маленький синема, который она наводила поочередно на всех нас. Одеты оба были с той дорогой очевидностью богатства, которая доступна очень немногим. Рахманинов еще раз поразил меня сходством в лице (особенно где-то вокруг глаз) с Керенским. Галстук, костюм, шляпа, кожа рук — все у него было чистейшее, особенно вымытое, выдающееся.

Разговор вертелся вокруг Шаляпина и его сына, живущего сейчас тоже на Ривьере и предполагаемой постановки в

кино Бориса Годунова, сценарий к которому «развивает» с Пушкинского «Бориса» Мережковский. Через двадцать минут они поднялись, говоря, что им пора ехать домой обедать. Мы сначала неуверенно, а потом видя, что они готовы согласиться, с большей силой стали предлагать остаться на обед. После недолгих уговоров они остались.

Тотчас же были «мобилизованы» все съестные припасы в доме. Камий[11] послали вниз за ветчиной и яйцами, я побежала за десертом и через полчаса мы все уже сидели за столом. Р. попросил завесить лампу, жалуясь на то, что его глаза не выносят сильного света, и с его стороны был спущен с абажура кусок шелка.

Разговор был разбитый и малозначительный. Р., между прочим, все настаивал на том, что И. А. должен непременно написать книгу о Чехове, перед которым он сам, видимо, преклонялся. Был любезен, прост, интересовался тем, что пишет Л.Ф. Зуров, что я, как и кто работает и вообще как мы живем. Остановились они в Каннах, в Гранд Отеле. У него какие-то дела с Борисом Григорьевым, очевидно тот будет писать его портрет. Видно, что он очень любит дочь, это было особенно заметно по его рассказу о ее падении с лошади в Рамбуйе, где у них вилла.

Они уехали часов в десять, предположительно решив встретиться с нами на другой день в Каннах.

Во время обеда я часто смотрела на него и на И. А. и сравнивала их обоих — известно ведь, что они очень похожи — сравнивая также и их судьбу. Да, похожи, но И. А. весь суше, изящнее, легче, меньше, и кожа у него тоньше и черты лица правильнее.

5 августа

Вчера обедали на песке под лодкой с Алдановым и Рахманиновыми. Был настоящий песчаный смерч, так что нам ничего не оставалось, как забраться в это сравнительно тихое место и расположиться там. «Босяцкий обед», по выражению И. А., вышел оригинальным. Котлеты, помидоры, сыр и фрукты были с песком, и на всех было только четыре стакана. Рахманиновы подъехали тогда, когда все было разложено; у них были с собой бутерброды с ветчиной и бутылка Виши. И. А. представил Алданова и Рахманинова друг

[11] Прислуга Буниных.

другу. У Алданова был особенно небрежный костюм: брюки и рубашка сидели кое-как, волосы висели. У него только что уехала в Париж жена, и он был немного грустен.

Рахманинов был с ним исключительно любезен, даже пригласил к концу вечера его к себе в Рамбуйе гостить, уверяя, что ему там будет очень удобно, тихо писать, так как он сам очень много работает.

На другой день все мы были приглашены к Алданову в Juan les Pins завтракать. (На прощанье он успел шепнуть мне: «привезите непременно фотографический аппарат, не забудете?».)

Без числа

Сначала мы выкупались на маленьком пляже — вода была прозрачна, чиста, прелестна — потом пошли по направлению к вилле Алданова. Рахманиновы нас догнали на автомобиле. В. Н. и И. А. сели к ним, а Таня вышла к нам, и мы пошли, не торопясь, пешком.

У Алданова в салоне ждал нас накрытый круглый стол, уже заставленный закусками. Сели: с одной стороны И. А., Алданов и Рахманинов, с другой — я, Л., Таня и В. Н., завершая круг, рядом с Рахманиновым. В полуоткрытые двери приятно дул ветерок. Из уважения к «знаменитостям» нас отделили от прочих пансионеров, обедавших в соседней комнате. Рахманинов был очень мил, любезен, весел, поминутно обращался к нам, передавая то одно, то другое, сам заговаривал, помогал В. Н. раскладывать с общего блюда рыбу, курицу.

После жаркого нам подали десерт и кофе, закрыли двери и оставили нас одних. Рахманинов, мало пивший и евший очень умеренно, позволивший себе только лишнюю чашку кофе, стал рассказывать о своем визите к Толстому. Говорил он еле слышным голосом, почти шопотом, с придыханиями, произнося «р» вместо «л».

— Это неприятное воспоминание... Было это в 1900 году. Толстому сказали, что вот, мол, есть такой молодой человек, бросил работать, три года пьет, отчаялся в себе, а талантлив, надо поддержать... Играл я Бетховена, есть такая вещица с лейтмотивом, в котором выражается грусть молодых влюбленных, которых разлучают. Кончил, все вокруг в восторге, но хлопать боятся, смотрят, как Толстой? А он сидит в сторонке, руки сложил сурово и молчит. И все притихли, видят — ему не нравится... Ну, я понятно, от него стал бе-

гать. Но в конце вечера вижу: старик идет прямо на меня. «Вы, говорит, простите, что я вам должен сказать: нехорошо то, что вы играли». Я ему: «Да ведь это не мое, а Бетховен», а он: «Ну и что же, что Бетховен? Все равно нехорошо. Вы на меня не обиделись?». Тут я ему ответил дерзостью: «Как же я могу обижаться, если Бетховен может оказаться плохим?..»

Ну и сбежал. Меня туда потом приглашали, и София Андреевна потом звала, а я не пошел. До тех пор мечтал о Толстом, как о счастье, а тут все как рукой сняло! И не тем он меня поразил, что Бетховен ему не понравился или что я играл плохо, а тем, что он, такой как он был, мог обойтись с молодым начинающим, впавшим в отчаяние, которого привели к нему для утешения, так жестоко! И не пошел. Утешил меня потом только Чехов, сказавший по-врачебному:

— Да у него, может быть, желудок в тот день не подействовал — вот и все. А пришли бы в другой раз — было бы иначе.

Теперь бы побежал к нему, да некуда...

— Вот, Сергей Васильевич, этим последним вы себе приговор изрекли! — сказал И. А. — С начинающими, молодыми жестокость необходима. Выживет — значит годен, если нет — туда и дорога.

— Нет, И. А., я с вами совершенно несогласен, — сказал Рахманинов. — Если ко мне придет молодой человек и будет спрашивать моего совета, да еще не в моем, а в чужом искусстве, и я буду видеть, что мое мнение для него важно — я лучше солгу, но не позволю себе быть бесчеловечным.

Поднялся спор. И. А. защищал Толстого, говорил, что он думает о нем «давно, лет сорок пять» и что нельзя судить его по нашим обычным меркам, что музыку он понимал, если, умирая, мог сказать: «Единственное, чего жаль — так это музыки!» Рахманинов напротив утверждал, что музыку он понимал плохо, что в Крейцеровой сонате, например, нет того, что он в ней находит, а что сам он Крейцерову сонату не любит и никогда не играет.

В конце разговора он спросил меня: «а вы работаете?» Я сказала, что сейчас нет, что у нас «каникулы», что у меня сравнительно недавно вышла книга. «Как недавно? Это уже когда было!», воскликнул он. «Я ведь знаю, когда ваша книжка вышла. Надо работать каждый день!»

Между прочим он рассказал, что за столом у Толстого он ему сказал: «Я в себе сомневаюсь, боюсь, что у меня та-

ланта мало...» На это Толстой ответил: «Об этом никогда не надо думать. Это ничего. Вы думаете, у меня никогда не бывает сомнений? Наша работа вовсе не удовольствие... Просто работайте...»

Снимались в этот день бесчисленное количество раз. Рахманинов, между прочим, очень убеждал меня в том, что надо дать писать с себя портрет, если Сорин возобновит этот разговор. Его очень поддерживал Алданов.

Простились очень дружелюбно, хотя уже и в большой толпе, собравшейся в саду. Таня звала к себе в Париж. Рахманинов задержав мою руку, сказал, прощаясь: «Ну, работайте же, работайте... Смотрите...»

23 сентября 1930 г.

«Тридцать лет назад.

Уездный город. Гостиница. Номер первый, как всегда самый лучший. Я, конечно, занимаю его. Пообедал, потребовал бутылку удельного 18-ый номер. Сладко слегка захмелел, спать рано, куда деваться? Выхожу. Месяц, мороз такой, что извозчики, уткнув руки в рукава и голову в грудь, спят. Окликаю одного. Сажусь в насквозь промерзшие узенькие санки. Он дико оглядывается, спрашивает: куда?

Отвечаю: Не знаю куда.

— Ну, так я знаю...

И он мчит меня по спящему глубоким сном городу. Над собором блестит месяц, мы едем мимо спящих усадеб, каких-то занесенных снегом домов, пустошей... выезжаем за город, наконец он останавливается перед каким-то низким домом, извозчик слезает, звонит в колокольчик. Долго не отворяют, наконец слышим чьи-то шаги.

— Кто там?

— Да уж отворяй! Мы приехали...

Дверь отворяется, старуха впускает нас, входим в «зало», где фикусы и горит перед образом лампадка. Извозчик лезет за мной.

— Ты куда?

— Да я здесь, барин... погреюсь, посижу, покуда вы там управитесь...

— Я понимаю, куда он привез меня. «Управляться» я, конечно, не собираюсь, но все же хозяйка говорит мне: «Пожалуйте наверх, они там ...» И я иду. Иду по скрипучей

тонкой лестнице, пахнет уборной, кошками... вхожу в комнату, где при прикрученной керосиновой лампочке в нестерпимой вони и духоте спят две девки: одна в черном шелковом корсете и в красной из ломающегося шелка юбке; другая в запашной серой рубахе — какое-то большое бэбэ... Та, что в корсете, тотчас просыпается, садится и, громко зевая, любезно обращается ко мне: «Приехали, значит... Не угостите ли пивом?...» (По голосу слышу — сифилис!)

— Отчего же, можно и пива, говорю я.

Она предлагает «разделить с ней ложе». Я отказываюсь. Она удивляется: Отчего же? Вы, значит, так? Вы больны или так?

— Так, говорю я.

Приносят пиво. Она берет, отрывает кусочек газеты, скручивает сигаретку, наклоняется над лампой. Огонь бросается вверх, вспыхивает, газета загорается зеленым огнем... Сидим разговариваем. Потом я выхожу, извозчик опять мчит меня по спящему городу, месяц уже высоко, стал бледный, маленький...»

И это называется «веселый дом»!

Рассказ И. А. вчера за обедом.

1 октября 1930 г.

Завтракал Адамович. Сразу начался разговор с И. А. о Толстом и Достоевском. И. А., как всегда, говорил, что Достоевский не производит на него никакого впечатления. Он многое просто забывает, сколько бы ни перечитывал. Потом говорили о советской литературе.

Говорили о Катаеве, о некоторых других, но все как-то бегло. Между прочим И. А. сказал, что ему кажется, что надо писать совсем маленькие сжатые рассказы в несколько строк и что, в сущности, у всех самых больших писателей есть только хорошие места, а между ними — вода.

— Да, но тогда будет как с питательными пилюлями, сказал Ад., а хочется чего-то больше.

Уехал он рано, тотчас после завтрака, торопился в Каннэ к Мережковским.

Вечером уговорили Рощина прочесть главу из романа, которую он собирается читать на вечере в Ницце. Поломался, но прочел.

Какое-то любовное объяснение в номере гостиницы, разрыв, и потом соблазнение женщины идти в работницы Чека.

Уговаривает ее старый приятель, актер. Написано все с каким-то «пошлым блеском и умением», как сказал И. А. Все начало точно для сцены. Какие-то способности у него есть, но ни одного живого трогающего слова.

Потом ходили втроем: И. А., Л. и я гулять. Шли по Ницкой дороге. Была чистая луна, много звезд.

— Вот если бы Коля (племянник И. А. — Пушешников. Г. К.) был с нами, он бы нам все показал и рассказал о звездах, с присовокуплением разных легенд о них, — сказал И. А. Он часто последние дни вспоминает о Коле.

3 октября

И. А. прочел и дал прочесть мне «Семейную драму Герцена». Читала вчера на ночь и сегодня утром дочитывала. Чувство как при чем-то личном. Потрясает искренность и вообще веяние какой-то другой, более откровенной и полной натуры. И как описана смерть и это море, бессмысленно двигавшееся и мерцавшее за окном комнаты, в которой лежала умершая! И его «шипение» и то, что сказано о мертвой, что «кротко застыли скорби и тревоги, словно страдания кончились бесследно, их стерла беззаботная ясность памятника, не знающего, что он представляет. И я все смотрел, смотрел всю ночь...»

«Когда мы всходили на гору, поднялся месяц, сверкнуло море, участвовавшее в ее убийстве...»

Все это было здесь. И вот уже все опустело, как театр, и актеры исчезли, и все изменилось. И теперь мы действуем здесь, и все это пройдет так же скоро...

Весь день была под впечатлением прочитанного, ходила смотреть на Эстерель, на туман долины, в котором прятались огоньки Бокка, на черно-синие тучи, покрывавшие небо, в прогалинах которых ныряла белая полная луна, и все думала о том, что было здесь 80 лет назад. Вечером И. А., Рощин и я ходили по саду; И. А. говорил, отвечая на его слова о том, что все, что он пишет «пока» и «для широкого читателя», а настоящую книгу, хорошую, он напишет потом и «будет писать ее долго».

— Нет, не потом надо, а сейчас, — говорил И. А., со своей обычной энергичной силой в голосе, — сейчас, по-

ка еще нет такой книги. Смотрите, о войне у нас не написал пока никто ничего настоящего. А вы бы взяли и написали вот так, как вы сейчас рассказывали о войне, именно о ее буднях, а не захлебываясь лиризмом и патриотизмом. Нет, это все оттого, что вы русский человек, капитан, а русские запаздывают и в молодости. Вы должны были бы бросить этот ваш поганый роман и написать настоящую правдивую книгу. Только без лиризма! Без лиризма! Не надо «открывать читателю свою душу», не надо становиться с ним на равную ногу. Он уважать не будет. Надо его бить по голове, писать жестоко, спокойно, только это и производит впечатление...

— Да я напишу, И. А. обязательно напишу — истерической скороговоркой частил Р. — Но ведь жалко же, надо уж дописать... Ведь два года корпел...

15 октября 1930 г.

Ездили с И. А. в Ниццу. Подъезжать к ней, да еще солнечным утром, всегда приятно — какое-то особенно голубое и глубокое подле нее море, на котором особенно прелестна белая стая чаек, почему-то всегда собирающихся в одном месте, довольно далеко от берега. В автобусе говорили об «Алешке Толстом», и о его Петре I. Мне книга, несмотря на какую-то беглость, дерзость и, как говорит И. А., лубочность, все же нравится. В первый раз я почувствовала дело Петра, которое прежде воспринимала каким-то головным образом. Нравится она и И. А., хотя он и осуждает лубочность и говорит, что Петра видит мало, зато прекрасен Меньшиков и тонка и нежна прелестная Анна Монс. «Все-таки это остатки какой-то богатырской Руси, — говорил он о А. Н. Толстом. — Он ведь сам глубоко русский человек, в нем всё это сидит. И, кроме того, большая способность ассимиляции с той средой, в которой он в данное время находится. Вот писал он свой холопский 1918 год, и на время писания был против этих генералов. У него такая натура».

В Ницце особых дел не было. Пошли на базар. Какое богатство, великолепие и щедрость юга! Самые разнообразные фрукты, свежие и сушеные, масса винограда — такого скульптурно красивого, что он даже потом снился мне, — гранат, яблок, груш, фиг, арбузов, апельсинов, а дальше лук, свежий салат, разрубленная, истекающая малиновой кровью свекла, орехи, каштаны — всего не перечислишь. А на рыбном рынке особенно поразили корзины живых угрей, — полное впе-

чатление тихо текущих, перевитых, скользких, отовсюду поднимающих сплюснутые головы с раскрытыми ртами, змей. И над всем и на всем солнце, голубой блеск, теплота, и вдали над базаром раскрытая крона пальмы и желтый полосатый, как на востоке, навес на веревках над переулком... Минут десять посидели на камнях у самой воды. Позади сушили белье, сети, ходили, оправляя его, крупные темноволосые ницщарки. На тротуары вынесены были крутобокие лодки. И. А. на минуту зашел в один из рыбных ресторанов на набережной, чтобы узнать цены, оказалось: буйабесс — 40 франков, соль (камбала) — 35 фр. и т. д. Завтракали мы у Бутто, в старом городе, на углу улицы с пышным названием «Колонна д'Истрия». Дверь этого провансальского ресторанчика, — старинная, орехового дерева, затянутая изнутри красной материей, с фигурной ручкой, — открыта прямо на маленькую базарную площадь у старой церкви. Внутри — большой крытый очаг, на котором стоят всякие кувшины, подсвечники, висят старые ржавые фонари; потолок тоже деревянный, выкрашенный в черное, с балками, на которых рядами висят пучки чесноку, прекрасного крупного, в апельсинно-шелковой шелухе испанского лука, крупные грозди винограда и связки гранатов и еще каких-то мелких румяных плодов, похожих на райские яблочки. Под этой живописной декорацией очень приятно завтракать, тем более что там бывает интересный местный народ, а вино отличное и недорогое.

Я ела камбалу и мули, а И. А. — спрута в соусе, каких-то жареных мелких рыбок, жиго и телятину с горошком. Все это подается на маленьких тарелочках и все вкусно. Заключилось все это грушами и виноградом и рыжим невкусным — это им не удается — кофе. Сам папá Бутто слегка постарел и будто погрустнел с тех пор, как перешел в новое помещение. Забот больше! — решили мы.

После завтрака пошли каждый по своим делам. Я ходила в библиотеку. На вопрос мой, что теперь больше всего читают и спрашивают, библиотекарша ответила:

— Конечно, бульварное. А потом книги, где нет революции. Так и просят: «только, пожалуйста, без революции!» Хотят отдохнуть на мирной жизни. Очень читают Корсака «Записки одного контролера». Очень хорошо идет.

Я спросила о Сирине.

— Берут, но немного. Труден. И потом, правда, что вот хотя бы «Машенька». Ехала, ехала и не доехала! Читатель таких концов не любит!

На обратном пути — уже была ночь — автобус наш вдруг весь погас. Шофер застопорил. Оказалось, не посмотрел в гараже, сколько бензина, и его не хватило. Он поехал со встречным автомобилем назад в ближайший городок, до которого было километра два, а мы остались в темноте с нашим неосвещенным рыдваном — автобусом. Часть пассажиров вышла, их было немного, — и стояла, тихо переговариваясь. Мы с И. А. быстро ходили взад и вперед по дороге. Изредка налетали и освещали столбами желто-лилового света автомобили, замедляя ход и осторожно объезжали наш темный, уткнувшийся в дорогу автобус. Пахло сыростью, свежестью, вокруг были леса. Над темной вершиной сосны лежал звездный полукруг Медведицы. Чрез полчаса шофер вернулся с бензином и мы двинулись, причем весь обратный путь летели, как бешеные, только стволы мелькали в окнах, — шофер нагонял опоздание.

14 ноября

Были у Мережковских. Вышел Дм. Серг. в каком-то белом, в черную полоску фланелевом пиджачке, как всегда слегка согнувшись и что-то придерживая на груди рукой.

Беседа началась с того, что он рассказал, что-то неприязненное о Шестове, которого он упорно называет Ше́стовым, с ударением на первом слоге. Потом сообщил о полученном от Илюши письме. «Современные Записки» не взяли статью К. Лопатиной о ее брате, потому что она им «не подходит». (Илюша сам привез Кат. Мих. к себе, посадил и заставил написать эту статью, а когда она была написана, восхищался. Теперь оказывается — «не подходит».) Он предлагает Гиппиус переслать ее в «Числа». «Это ей подходит, как фокстрот монахине!» — сказал Мережковский. Долго об этом говорили и возмущались. В. Н., конечно, вся залилась краской за Кат. Мих. и готова была кинуться в бой. Об Илюше поговорили вообще, и оба — и и Дм. Серг. и Ив. Ал. — высказывали опасения насчет его здоровья. «Что-то уж очень он всем доволен. Откуда такому избытку благополучия? А у самого голова всегда кружится», — сказал Мережковский.

Вошла Зин. Ник. в коричневом, пятнами накрашенная. Как всегда, что-то тянула, жевала вместе со словами конец мундштука, и все поправляла волосы, подпирая голову хрупкой бледной рукой. Гостиная в первый раз была неубрана, пыль на столе, вода в кувшине с хризантемами не переменена, стулья сдвинуты. Горничная больна.

Вышли вместе. По дороге я почти все время шла с Мережковским, кое-о-чем спрашивала, и разговор перебегал то на то, то на другое.

— Неблагополучно у нас, — говорил он, — и все хуже и хуже. Людей нет. Талантливых много, да это что! Надо принести в мир что-то новое, хотя бы крупицу нового в какой бы то ни было области: в поэзии, в критике, журналистике, в воспоминаниях, в прозе . . . но непременно новое. Иначе получаются только имитаторы, повторители, подлинно никому не нужные. Вот Флобер, как ни писал ни оттачивал фразу — что мне в его великолепной фразе! В конце концов даже раздражает! — а нового не дал ничего. Другое дело Стендаль. Сколько с ним пришло нового! . . . Алданов, если бы занялся только журналистикой, мог бы занимать место в первом ряду журналистов. Где-нибудь в Англии он был бы первым журналистом. У него лучше всего политические портреты, записные книжки. А романы — эрзатцы . . . Сирин . . . знаете, есть такая мимикрия таланта. Как будто оно с сучком, сам сучок, а на самом деле нет! Может быть очень тонкая мимикрия! И это уже талант . . . Георгий Иванов настоящий поэт. Из двух — Ходасевича и Иванова, он подлинней . . . Я теперь все скучное читаю. И хорошо, что скучно. Вот теперь Жуандо. Так временами скучно, что брошу и за авантюрный роман! А потом опять принимаюсь. Что легкое читать! Вот «Капитанская дочка»! Она, как конфетка. Ее проглотишь и не почувствуешь. А мне гвоздь нужен . . .

Еще говорили, что не всякий может быть писателем, поэтом в наш век, но всякий при желании может быть пророком. А лицо эмиграции — среднее лицо, это Миронов — из «Иллюстрированной России» . . .

Гуляли по набережной. Он обращал мое внимание то на «райскую зелень газона», на которую сквозь пальмы падали закатные тончайшие лучи, то на прямой высокий парус лодки, подходившей к молу. «Совсем как бабочкино крыло!»

На прощанье пригласил нас завтракать.

И. А. на час куда-то уходил, пока мы заходили в меховой магазин и затем пили кофе в кондитерской. Он все-таки чувствует себя с Мережковскими не в своей тарелке, уж очень они ему во всем противоположны. Потом он говорил, что хотя Мережковский со мной был шармером, но многое из того, что он говорил — парадоксы.

14 декабря 1930 г.

После завтрака ходили с И. А. ненадолго гулять наверх. Говорили о Муратове, которым И. А. после каждой новой статьи очень восхищается, об Ольге Жеребцовой у Алданова и Герцена. По-моему, у Герцена она хороша, но у Алданова видна совсем по-иному и попутно с эпохой. Потом спросила, как И. А. писал «Деревню», с чего началось.

— Да так... захотелось написать одного лавочника, был такой, жил у большой дороги. Но по лени хотел написать сначала ряд портретов: его, разных мужиков, баб. А потом как-то так само собой вышло, что сел и написал первую часть в четыре дня. И на год бросил.

— А вторая часть?

— А это было уже через год. Простились мы с матерью — она была очень плоха, я был убит, и поехали мы в Москву почему-то в июне. Получались известия от брата, все более тяжелые. Я сел писать. И тут и получил известие о ее смерти. Ну, писал две недели и дописал...

Гуляли очень приятно, солнце, зелень как-то особенно светится над водой. И. А. стал отдирать один серый лист агавы от другого, еще плотно вложенный один в другой, как в футляр.

— Точно крокодилья пасть! — говорил он. — И какая сила! И все, чтобы не съел кто-нибудь.

Домой шли мимо любимой площадки Полины над нами. Увидели, что прелестную старую грядку из старых камней, отделявшую обрыв, сломали и строят безобразную бетонную с рыже-красными прутьями изгородь. Огорчились ужасно. Какое ослиное понятие о красоте надо иметь, чтобы делать такую замену.

— Да что! Всё здесь скоро испакостят! — с огорчением уходя сказал И. А.

9 марта 1932 г.

В воскресенье, шестого, ездили с И. А. гулять. День был совсем весенний — вообще начиналась весна — и мы пошли какими-то деревенскими улицами от Фурашо к каналу и долго шли среди сосен и вереска, забрались в чащу мимоз, желтыми вымпелами стоявших в голубом небе. И. А. был точно погружен в сон, потом — началось с Наташиной[12] свадьбы; в

[12] Дочь писателя Б. К. Зайцева.

этот день в 4 часа ее венчали в Париже, и мы невольно следовали за ней мысленно — я стала спрашивать его о его первой жене Анне Николаевне Цакни. Он сказал, что она была еще совсем девочка, весной кончившая гимназию, а осенью вышедшая за него замуж. Он говорил, что не знает, как это вышло, что он женился. Он был знаком несколько дней и неожиданно сделал предложение, которое и было принято. Ему было 27 лет.

«Когда я теперь вспоминаю это время — это было в сентябре в Одессе — мне оно представляется очень приятным. И вот нельзя собственно никому сказать этого — из чего состояло это приятное? Прежде всего из того, что стояла прекрасная сухая погода, и мы с Аней и ее братом Бобой и с очень милым пёсиком, которого она нашла в тот день, когда я сделал ей предложение, ездили на Ланжерон. Надо сказать, что в Ане была в то время смесь девочки и девушки, и «дамское» выражалось в ней тем, что она носила дамскую шляпу с вуалью в мушках, как тогда было модно. И вот через эту вуаль ее глаза — а они у нее были великолепные, большие и черные — были особенно прелестны. Ну, как сказать из чего состояло мое приятное состояние в это время? Особенной любви никакой у меня к ней не было, хотя она и была очень милая. Но вот эта приятность состояла из этого Ланжерона, больших волн на берегу и еще того, что каждый день к обеду была превосходная кефаль с белым вином, после чего мы часто ездили с ней в оперу. Большое очарование ко всему этому прибавлял мой роман с портом в это время — я был буквально влюблен в порт, в каждую округлую корму...»

Он рассказал, как начались вскоре у них недоразумения с женой. Ее очень настраивала против него мачеха — Элеонора Павловна, «которая сначала была просто до неприличия влюблена в меня, а потом так же неприлично возненавидела». Привело все это к тому, что после двойного отъезда он совсем уехал от жены, которая в это время была беременна, месяце на пятом.

Ребенок, сын, прожил лет до пяти. Был он хорошенький мальчик. Виделся он с ним раз пять в году, причем «в это время весь дом затворялся у себя и дышал на меня злобой». Мальчик выбегал, бросался к нему на шею и звонко кричал: «Папа, покатай меня на трамвае!» Это казалось ему верхом счастья. Умер он от скарлатины. Есть карточка его на смерт-

ном одре. Он в бархатном костюмчике, в лакированных башмаках, лежит очень вытянувшись...

— Вы его любили?

— Я мало в сущности его видел. К тому же я не очень сознавал в себе отца... А Анна Николаевна пролила много слез...

Я стала говорить ему о том, как все это хорошо должно у него выйти в «Жизни Арсеньева». Он сказал сначала, что не думал об этом писать, но постепенно разогрелся и в конце сказал, что об этом «уже и правда можно было бы написать».

Во время следующей прогулки — вчера — он заговорил об этом сам, рассказал о том, что отец Анны Николаевны Цакни был революционер, эмигрант довольно видный, что в Париже ему приходилось так туго, что он мел улицы, а зато потом в Одессе они были богаты. Мачеха А. Н. была богатая женщина. У них были имения, виноградники. «Подумать только, что я мог бы поехать под Балаклаву в имение, жить на виноградниках, управлять всем этим, стать богатым человеком. Но мне это и в голову не приходило. Связывать себя! Вот как я это принимал».

Я спросила, как отдали за него, ничего в то время не имевшего, богатую наследницу.

— Да я и сам не знаю! — сказал он. Отец ее был типичный интеллигент. Мы вместе ехали из Одессы к ним на дачу на паровичке. Стояли на площадке и курили. Я вдруг сказал: «Прошу у вас руки вашей дочери». Он сдвинул пальцами шляпу на затылок, посмотрел на меня и сказал: «Да я то тут, дорогой, при чем? Это, мне кажется, дело Анны Николаевны. А что касается меня — я ничего против не имею».

Когда они затем встретились — она уже вероятно знала об этом предложении. Они возвращались откуда-то из города — она и мачеха. Она в темноте протянула руку, нащупала его руку и вложила в нее туберозу. Это было сделано очень мило и невинно.

Рассказывалось это во время прогулки по пути к Турету. Обратный путь решено было сделать пешком. В Турете мы купили ветчины, рокфору и бутылку Camp Romain, вышли затем за город и, сев на горке над дорогой, поели. Место выбрали такое, что перед нами во все стороны был изумительный вид. Вдали голубые горы, они были в голубоватом тумане, над Ниццей тиара горы над Вансом, оливковые рощи, спускающиеся в долину. Прямо перед нами Турет, осве-

щенный сбоку уже клонящимся солнцем, тесно слепленный в одно каменное целое, со своими маленькими окнами, общим, несколько вдавленным очертанием похожий на гондолу. Особенность и красота его в этой стройной слепленности и еще в том, что стоит он на странном месте: почва вся в каменных разливах, гладких как отмели. Вокруг алоэ изящнейшими розетками украшают эту гондолу, наполненную домами. В то время, как мы сидели и смотрели на него, раздался редкий звон — незадолго пронесли перед тем «безобразно запачканный черной краской гроб» (выражение И. А.) кого-то клали в него.

«Сколько во мне жизни, говорил И. А., глядя на Турет, на горы, на Ниццу. — Вот я смотрю на все это, и для меня эта Ницца — это целый оркестр! И где-то там жил мой приятель Блох на своей вилле, где он изображал Петрония, где угощал меня великолепным вином, и это мировой курорт, и все это я чувствую, и все это хотелось бы написать, и так много я в этом чувствую, что и написать пытаться бесполезно!»

Потом мы прошли восемь километров до Пон-Дю-Лу. Идти было изумительно приятно. Дорога великолепная, дикая, пустынная, сбоку огромный овраг, на дне которого роется маленькая реченка. «Подобие Терека», сказал насмешливо И. А. Каменные, дикого цвета скалы над Горж-дю-Лу, как будто хранившие на себе последние отсветы солнца, были похожи на громадные фигуры, высеченные в скалах в Фивах.

В Турете женщины, сидя на площади, связывали букеты фиалок. Фиалки же продавали в табачно-бакалейной лавочке, их же упаковывали в лавке, вроде депо, в корзины для отправки. За городом оборванные девчонки протягивали их сидящим в автомобилях проезжим. Навстречу нам попалось несколько женщин с корзинками этих прелестных зелено-лиловых букетиков подмышками. Турет живет сейчас фиалками.

11 марта

Вчера вечером ходили по черному пустынному городу. Вдруг в одной из нижних улиц, сбоку, в темной булочной — ярко горящая множеством длинных золотых дров печь. Мы оба остановились, в один голос воскликнув: «Ах, как хорошо!» и долго смотрели; было что-то живое, прелестное и таинственное в этом весело и деятельно горящем низком

четырехугольнике в темной пустой булочной, в темном силуэте длинных хлебов на полках и в корзинах...

На обратном пути — мы только что входили в сад Монфлери, сырой, погруженный в темный туман — заговорили о объявившейся в этот день семье родственников И. А. (письмо из Харбина с просьбой о помощи). Я сказала, что в сущности у И. А. много родственников. И вдруг он внезапным быстрым голосом сказал:

— Если ты знаешь, что Евгений или Маша[13] умерли — не говори мне!

Я испытала такое чувство, как будто меня ударили в грудь — незадолго перед этим пришло известие о их смерти, которое скрыли от И. А.

Дальше, на подъеме, он говорил уже другим тоном о том, где они должны быть сейчас, рисовал улицу в Ростове на Дону, домик, лампочку, под которой должна сидеть сейчас Маша...

Сад был погружен в серый туман, в дым, в котором както страшно стояли деревья...

Г. Кузнецова

---

[13] Брат и сестра И. А.

**
*

Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короною скал.
(Занимаю тебя разговором —
Чтобы легче дышал, крепче спал).

Феодального замка боками,
Меховыми руками плюща —
Знаешь — плющ, обнимающий камень
В сто четыре руки и ручья?

(Но не жимолость я — и не плющ я!
Даже ты, что руки мне нужней —
Не расплющен — а вольноотпущен
На все стороны мысли моей!)

Кругом клумбы и кругом колодца,
(Куда камень придет — седым!)
Круговою порукой сиротства —
Одиночеством круглым моим:

(Так вплелась в мои русые пряди
Н е о д н а серебристая прядь!)
И рекой, разошедшейся на две —
Чтобы остров создать — и обнять.

Всей Савойей и всем Пьемонтом,
И — немножко хребет надломя —
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым — и руками двумя!

St. Pierre de Roumilly, *Марина Цветаева*
21-го—24-го августа 1936.

Это неопубликованное стихотворение М. И. Цветаевой прислано нам проф. русской литературы в Мичиганском У-те, А. Гумецкой. Оно было написано М. И. в Верхней Савойе, где она тогда жила. Обращено стихотворение к поэту А. Штейгеру, жившему в Швейцарии в санатории для туберкулезных, где он и скончался. Стихотворение хранилось у близкого друга поэтессы А. С. Головиной (сестры А. Штейгера). С его разрешения мы и печатаем это стихотворение. РЕД.

ЛИЦО ЖАР-ПТИЦЫ *

(Обрывки неоконченного анти-романа)

Глава VII

...еще только октябрь, а все дни сейчас у нас дождь и снег. И к душе подбирается что-то такое, чему еще рано подходить. Хочу остановить, затормозить все это, хочу безмятежности и никак не пойму, что это за тяжесть такая навалилась на мой загривок?

Я все больше и больше уверяюсь в том, что жизнь уже почти прошла. Если бы мне предложили умереть, чтобы вскоре родиться вновь — я бы с радостью согласилась. Я разучилась улыбаться, смеяться над шуточками Аркадия Райкина и день ото дня становлюсь все мрачнее, словно сердце мое ничему не радуется.

— Ишшь, товарищ Неулыба, — шипит Дашонка, совея у телевизора.

Давным-давно я знаю, что мне нужно пойти к психиатру. Нужно. Необходимо. Потому что во-первых, я начала чувствовать свои мозги, во-вторых, — ощущать, как у меня отрываются кусочки сердца, а в-третьих, — мечтать о ручном льве в пустыне...

Дашонке, за ее верную и преданную работу в поликлинике М. К. в течение тридцати лет не откажут в просьбе: покажут ее племянницу хорошему врачу, а потом положат в Кремлевку, в отделение для «чокнутых». Я не боюсь, а даже хочу этого: там лучше. Тише.

---

* См. кн. 73 «Нов. Жур.»

Объяснить, отчего это со мной сделалось, я могу. Когда я начала замечать «это» за собой, — я помню. Знаю лучше всех врачей, что признаки того, что я — кандидат в «дурдом», то есть к Кащенко, на Канатчикову или в Матросскую тишину — у меня явно есть.

Они такие.

В этом году я сбила порядочно денег и решила в июне в счет отпуска съездить на пять деньков к знакомым в Ленинград. Развлечься неизвестно чем и отвлечься непонятно от чего. И вот однажды там я пошла...

.....сначала в Михайловский сад. Был редкой силы дождь — косохлест, стеной, и в саду никого не было. Ни одной, ни единственной души, кроме меня. Я села на скамью в аллее, недалеко от огромных цветущих кустов персидской сирени под старый клен. Так сидела под зонтом три часа (по часам!) и слушала дождь...

Потом встала (ливень перестал) и побрела в Летний сад. Зашла в бывший Чайный домик, в нем теперь столовая. Съела одно второе и стащила четыре куска черного хлеба, для того, чтобы покормить сумасшедших воробьев. И вот вышла, стою и кормлю их... Вдруг подняла голову, увидела, что я около статуи богини Милосердия и что на носу у нее, на самом кончике, как у древних, выживших уже из ума профессоров — большая грустная капля дождя...

Потом позвонила Шурочке, старой знакомой из Театрального музея и с ней долго сидела в кафе «Лакомка». Там чудесно: так культурно, мирно...

Вот сидим, болтаем. Шурочка рассказывала последние сплетни об общих знакомых и я настолько увлеклась, что забыла даже подумать о том, хватит ли мне заплатить за нас двоих и сколько здесь полагается оставить «на чай».

Так как-будто все было очень хорошо. Нормально.

И вдруг... Я вспомнила богиню Милосердия с каплей дождя на носу.

Я не могу сказать, что «не помню, что со мной было». Я не кисейная барышня, мне врать такие вещи нельзя. Всё пре-

красно помню. Я сидела и хохотала смешным женским больным басом на все кафе. Потом рыдала, повторяя, что плачу оттого, что стыдно за смех перед этим. И все подскакивала на стуле, пытаясь увидеть свое отражение в зеркале и видела себя, похожую на молодую веселую лошадь, победившую на скачках.

Утром Шурочка несколько раз звонила с работы Августе Ивановне и спрашивала, как я себя чувствую.

Правда, недавно, в мае, меня подлечило посещение французской труппы под управлением Жана Луи Барро. Я видела несколько спектаклей, таких простых, чистых и глубоких. Музыка декламации довела меня до слез... Да, и кроме того. Самое главное: был у нас в СССР третий раз Ван Клайберн. Он так изменился! Какой трагический у него Шопен, — такого я слышала впервые. Вообще, становясь все более наблюдательной я пришла к выводу, что если человек — не подлец и не карьерист, то у него к тридцати годам — другое лицо. И я рада не столько оттого, что слышала Ванечку, сколько оттого, что видела его лицо.

Но вообще спокойствие духа бывает так редко! Чувствую, что долго так мне не протянуть, потому что постоянно в сердце — игла, а в мозгах — штепсель. Зачем я себя так грызу? Я не знаю. И начинаю думать, что пошлое «изречение», говорящее о том, что жизнь напоминает удава, медленно затягивающего своими петлями жертву — совершенно правильно.

«Зима тревоги нашей» Стейнбека и «Над пропастью во ржи» Сэллинджера прелесть...

Все вышеизложенное было написано точь в точь так, а не иначе в письме, адресованном «Мадам Жорж Фурниаль, Нейи сюр Сэн 9, Париж, Франция».

В посткриптуме же было сказано:

Если можешь — достань мне вязаную кофту-жакет с отложным воротником и большими накладными

карманами. Белую или голубую. Конечно, я могу и без кофты, но ведь хочется повоображать. Вообще я стала более прозаическая и боюсь, что ты теперь меня разлюбишь...

*

Ко всему вышенаписанному в письме я могу кое-что добавить. Немножко набросать пунктиром кое-что для того, чтобы через сто лет, когда раскопают эту рукопись — многое из забытого, несказанного, ненаписанного и полудописанного могло бы быть восстановлено.

Легкой иноходью пробегусь по клавиатуре мыслей и событий.

Во-первых: откуда, как, с чего и с какого времени началось это апухтинское «мление грусти»?

С пятидесятого года, когда у нас в Москве начали показывать франко-итальянские картины.

По три часа стояли мы с Птицей и Эмкой по очереди за билетами в «Колизей» и «Центральный» на «Рим в 11 часов», «У стен Малапаги», на «Адрес неизвестен»...

Эти картины совсем изменили нас. До этого мы были девочки, как девочки. Хохотушки. Три-пачки, три-щетки — так называли нас все, включая учителей, в школе. Радость во всех ее видах так и выскакивала из наших глаз. Мне в десятом классе за разговорчики и вечные подсказки на уроках глухой историчке Рахиль Моисеевны снизили по дисциплине. Птицу — за хулиганские песенки на мотивы фуг Баха, сочиненные ею самой, — срамили на комсомольском собрании. Всегда у нас было хорошее настроение, веселые лица, сияющие глаза. А уж щеки! Особенно мои. Кто-то сравнил их с розовым мрамором. О щеки можно было прикуривать. Казалось, что всю жизнь будет так, как заявила Птица, когда ей было двенадцать лет: «Девочки, а я не хочу вырасти большой. Не хочу быть взрослой, — сказала она. — Как было бы хорошо, если бы все всегда оставалось так, как теперь».

Но не тут-то было.

После картины «Красное и Черное» с Жераром Филипом у нас начал изменяться почерк и мы погрузились в постоянно-кислое настроение.

Птица у общего телефона в коридоре своей квартиры почти не снимала записку: «НИКИ НЕТ ДОМА».

Тамарочка робко входила в комнату и говорила:

— Никаша, он клянется, что не будет тебя никуда звать, только поговорит по телефону и все...

— Нет, скажи, что нет дома.

Мы сами чувствовали, что начинаем серьезно меняться. И удивляли друг друга каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение.

«В фаворе у меня все время был «Кремль», но сейчас мне больше нравится «Сказка», — писала мне из Ленинграда Эмка, на мой вопрос о том, какие духи у нее теперь в «фаворе». — «Белую сирень» я не люблю: ты же знаешь, что мне нравятся духи, пахнущие неизвестно чем, а они пахнут настоящей сиренью...»

Все должно было отныне пахнуть «неизвестно чем». Ничто не должно было иметь ни начала, ни конца, ни света, ни яркой краски. Ни громкого звука. Какое счастье, что тогда еще не было картины «Хирошима, любовь моя» и «Завтра моя очередь».

Птица начиталась Есенина и ходила, как пьяная.

Я призналась одному своему знакомому, восьмидесятилетнему старику Исидору, что последний раз была влюблена три года тому назад.

— Что вы, что вы, Владенька, в вашем возрасте это ненормально, вам лечиться нужно!

И тут же заявил, что я — единственная отрада его жизни и что он бы хотел... то есть было бы неплохо, если бы я, то есть он...

— Да в чем дело-то? Окончательно?

Окончательным оказалось то, что он бы хотел приехать ко мне в гости.

— Боже мой! Да приезжайте! Со своей Фаиной Адольфовной! Поставлю тесто, спеку...

— О нет! Ннн-еее-ттт, — мой престарелый итальянец сладострастно причмокнул, как будто бы он уже отведал моего пирога с капустой.

— Что такое?

— Я хотел бы приехать... мм... соло...

Этому селадончику, как я уже сказала — восемьдесят лет и давным давно его на том свете с фонарями ищут...

Все мы, три подруги — Птица, Кукуня и я потеряли «нить в жизни».

Однажды я по дороге с работы зашла к Эмке, но ее не оказалось дома. Воспользовавшись этим Яшка мне с удовольствием сообщил, что на-днях он двенадцать минут подслушивал разговор Птицы и своей сестры за шкафом и что будтобы Птица сказала: «Чувствую, что умираю. Тоска задушила. А Владька счастливая! Уже пришла в себя. Простейшее...»

*

Кто-то правильно заметил: русская жизнь, — что овсяный кисель. Проведи ложкой — борозда осталась, а через секунду — все опять гладко. Я тоже такая же. Я резиновая. Нажмите меня — поддаюсь, а потом мгновенно принимаю ту же форму.

Когда ТУ-104 увез мою Птицу — от меня словно отрубили половину.

Она ушла от меня навсегда, но... не умирать же из-за этого?

Мне тоже нужно продолжать свой путь.

Короче — я пришла в себя.

Анна Давыдовна Кукуй ошиблась. Мы все трое вышли замуж: и Птица, и Эмка и я.

Анна Давыдовна постоянно твердит нам о том, что все, что она пророчит и проповедует «нужно золотыми буквами писать на стене».

Но на этот раз она ошиблась и все ее пророчества оказались никуда негодными, а права оказалась ее трехэтажноносая дочь, а наша любимая подруга Эмка, которая в девятом классе заявила:

— А вот давай на спор! А вот увидишь — я выйду замуж за Ларика Турецкого, ты — за какого-нибудь войняшку или инженера, а наша Птичка — или за самого красивого артиста или за иностранца!

*

Полгода тому назад я решилась, наконец-то, выйти замуж за Геннадия Тиунова.

Я замучилась. Покою не стало от подруг и знакомых. Шурочка в каждом письме из Ленинграда насиловала: «Нет ли перемены жизни?» Московские знакомые, школьные и институтские подруги, встречая меня ехидно мигали глазами и задавали один и тот же вопрос:

— Ну как, замуж еще не вышла?

Если разговор был почти серьезным, я, как могла, всем давала понять, что замуж пока не собираюсь, так как мой принц под Алыми парусами где-то страшно застрял в пути.

Если несерьезный — пищала, что мой картофелеобразный нос, кажется, влияет на мою популярность среди мужчин в самом отрицательном смысле.

Не стало никаких сил и поэтому я и решилась, — а то и вправду подумают, что меня никто не берет.

Кроме того, вот уже несколько лет, покою не было от Дашонки.

Весь последний год она в каждом подходящем случае шипела:

—Сидишь? Ну сиди, сиди... Досидишься. Вон как третий-то десяток начнешь распечатывать, спохватишься, да уж поздно... Кому ты нужна будешь, старая дева?

Догадавшись «по ходу действия», что на-днях я собираюсь объявить ей о своем предстоящем «сочетании узами Ги-

менея» с Геннадием Петровичем Тиуновым, она решила опередить события.

И вот однажды вечером как-то хмуро сморщилась и начала:

Владь, а Владь! Так ты решила за этого, что ли?

За этого. Ну решила. А что?

— А то, что дура, вот что. — Дашонка посмотрела на меня, как мышь на высотное здание.

Я заклокотала, но старалась казаться равнодушной.

— Вот те и здрасти-пожалуста! То приставала — замуж, да замуж, а то... Чем же это он тебе не нравится?

— А тем, что на мышь заблудшую похож, — вот чем...

С Геннадием еще давно, при Птице, я познакомилась через Сосю Сюрмюль. Он из Новосибирска, кончил в Ленинграде Институт Механики и Оптики, а теперь работает в Москве в Разноимпорте на Каляевской и живет там же, недалеко, в чудесном доме, на Новослободской. В одной квартире с ним жила и Сюсина подруга детства, Зинуха Ножкина, которая узнала от Геннадия, что он давно ищет себе невесту, — девушку современную, интеллигентную, с широкими «теперешними» взглядами на жизнь. Зинуха немного удивилась, почему ему непременно нужно жениться, если он хочет современную девушку.

— С теперешними можно так...

Нет, нет. «Так! — ни в коем случае. Он работает в Разноимпорте, — каждую минуту могут отправить заграницу. Не женатых за кордон не пускают, — это раз. Второе — отцу дали недавно новое назначение. Он теперь председатель обкома. Третье — все эти «так», — вообще не для него. Всегда был и будет честным комсомольцем, честным партийцем и честным человеком.

— С этим ты пиво сваришь, — с удовольствием хохотала Сюся.

И правда. Сварила!

Сюся узнавала через Зинуху все новости и тогда, когда мы с Геннадием только еще «встречались» и «вместе прово-

дили время», часто специально вызывала меня к Жаровым, для передачи последних известий. Последние известия передавались мне тогда, когда в гости к моему молодому человеку приезжала из Сибири мать. Под предлогом того, что ей необходимо купить в Москве некоторые остро дефицитные вещи, а на самом деле разнюхать, — что и как у Геночки.

— Только ты на нее особенно внимания не обращай, — говорила мне Сюся. — Если расстроишься — дурой будешь. Вот она Зинухе и говорит: «Сама-то эта девушка еще ничего...» — Сюся покосилась, какое впечатление? — Ты не обижаешься? Да, говорит, девушка сама по себе ничего. То есть я думаю, что она ничего. А там — кто ее знает. Способная, все-таки... Попасть у нас в аспирантуру гуманитарного института — это не шуточка...

Сюся осторожно хихикнула и продолжала:

— Ну уж, а тетка эта ее, говорит, эта знаменитая Даша... Она, пожалуй, на свадьбу, если они захотят устраивать, будет сардельки отваривать...

Почувствовав, что я готова начать поливать свою будущую мамашу «какими только угодно» Сюся оседала:

— Да ну ее... Не обращай внимания. Псишка какая-то. Когда приезжает, то Зинуха говорит, что на кухню невозможно выйти: все четыре конфорки на плите занимает. А вообще ты плюй и не расстраивайся, — жизнь слишком коротка, чтоб тратить ее на угождение свекрови...

Умирающей от любопытства Анне Давыдовне (за кого же, в конце-концов, твоя подруга Владя Колотушкина выходит замуж? Что это за манера делать из всего секрет?) Эмка недовольно доложила:

— Ну за инженера! Тебе везде мерещатся секреты...

— «Ну за инженера!» Что это за ответ? Да разве этого достаточно?

Эмка помучила ее несколько секунд и присовокупила самое главное:

— Внешне довольно интересный, но лицо немного полноватое.

За неделю до того, как нам идти подавать заявление в ЗАГС, я решилась:

— Гена, знаешь, я все-таки должна тебя предупредить. Отец хоть и реабилитирован, но все таки он находится в заключении. Пятно. Как бы тебе это не повредило.

— Нет, нет, это ничего, — скоренько сказал мой жених. — Таких случаев теперь хоть пруд пруди. Наоборот пострадавшим и их детям теперь везде идут навстречу, дают льготы, компенсации. Ты по себе знаешь... Комнату новую тебе ведь не за прекрасные глаза дали...

Он помолчал, а потом вдруг просто сказал:

— Ты думаешь, мой отец не сидел?

Я радостно встрепенулась.

— Восемь месяцев сидел в 38-ом году, — равнодушно объяснил он. — Мало ли что бывает в сложной политобстановке? А если хочешь знать, то я даже и теперь не верю, чтоб страдали тогда так-то уж совсем безвинно... Мало ли что сейчас говорят. Это тоже политика.

Я подумала: как я хорошо начинаю разбираться в том, что происходит, когда Геннадий начинает мне объяснять. А самой мне трудно до чего-нибудь достичь — логика отсутствует...

Хотя я была вполне на стороне Сергея Татищева, когда он сказал Гале Долговой:

— Галя, я тебя люблю и всегда буду любить. Но я не могу жениться. Мне нужна девушка с чистой биографией. Если бы твой отец был только сослан, если бы был реабилитирован, как все теперь... Ну тогда еще... А то — расстрелян! Значит что-то серьезное. И себе карьеру испорчу и твоя жизнь пропадет. Войди в мое положение.

Она вошла и в его и в свое положение. Помню, как мы носили ей какие-то тряпочки для распашонок...

А некоторое время спустя, поздней весной, в 3 часа 16 минут ночи Галю Долгову нашли у Москва-реки за Мало-Каменным мостом, у Стрелки.

Она хотела топиться...

*

Да, отец... Я редко вижусь с ним. Он с братом Арленом, который называет себя теперь Ленькой, Леонидом, живет под Москвой, в Александрове.

Брата Арлена-Леонида я ненавижу. Он вор и хулиган. Все эти годы я видела его от случая к случаю.

После выхода из детдома он работал где-то за Уралом, потом служил в армии в Московском военном округе и за высокую, импозантную фигуру и красоту его даже ставили в караул у Спасских ворот Кремля и у Мавзолея. Мы с Птицей и Эмкой бегали смотреть. После армии он плавал матросом на рыболовецком траулере в Калининграде, а потом заявился в Москву, к нам с Дашонкой. Привел какую-то бабу с девочкой десяти лет. Женился! Брак был, конечно, «морганатический», так как с своей пассией Ленька не регистрировался.

— Прописывай, а то расшибу до полушки, — так рычал он, пьяный и вонючий, набрасываясь на меня и Дашонку, — всю рожу растворожу, если моего заявления не подпишите!

В заявлении Ленька указывал, что Дашонка и я согласны прописать его, как ближайшего родственника, на наших метрах. Тетка уже струсила, хотела было согласиться, но тут я сказала свое категорическое «нет».

На следующий день братец пришел пьянее пьяного, поставил мне два синяка во всю правую половину лица (я потом всем говорила, что упала на катке), стащил у Дашонки из сундука три с половиной метра креп-фая и исчез.

Мы выгнали бабу с девочкой, собрали подписи соседей-свидетелей и отнесли на Леньку заявление в милицию, с просьбой оградить нас от хулигана.

Потом время от времени он появлялся на Солянке (это еще было там). Бил стекла в нашем полуподвале, оставлял открытым кран, чтобы нас затопило и напускал полное помещение голубей, чтоб они загадили нам всю комнату.

Его визиты были в мое и Дашонкино отсутствие, но соседка тетя Дуся нам каждый раз передавала, что он грозился меня убить.

— Лично про тебя молчал — печально говорила она Дашонке, — а сестру, гыть, учти, так и так, — все равно зарежу...

— А под расстрел пойдешь, тогда как?

— Ххх... под расстрел. Тоже испугала! Под расстрел только евреев-фрацовщиков подводят. А наше дело такое — убил, ограбил, посидел пять лет, а то и меньше, а потом амнистия!

Как я рада, что недавно опять ввели за убийство смертную казнь.

*

Как-то проходя по улице вдоль Чистых прудов я увидела высокую фигуру брата. Он что-то читал, остановившись у стены невысокого дома. Я подождала, пока он уйдет, потом подошла посмотреть, что он читал. Это был стенд — «Объявление о найме рабочей силы».

Ленька искал места, он хотел работать!

Работать для того, чтобы нормально жениться, получить комнату, ездить летом по воскресеньям на футбол, а зимой на канадский хоккей.

Работать для того, чтобы пропивать получку. Чтобы быть у соседей на хорошем счету. Чтобы никто не мог упрекнуть его в том, что он, в двадцать семь лет гоняет по крышам голубей и ворует все, к чему не лень протянуть руку.

Я рассказала Дашонке, что видела брата. Она тогда не спала всю ночь. Провздыхала, провертелась несчастно с боку на бок.

Я тоже встала с иголками в глазах. Все думала о разном. О том, как однажды, когда я еще в институте чего-то никак не могла понять по политэкономии капитализма — Ленька лучше всех учебников объяснял мне, что такое «прибавочная стоимость» и «налог с оборота».

*

Теперь мой брат Арлен («Армия Ленина») живет с отцом в Александрове. Отец работает библиотекарем в клубе, Ленька — на заводе.

Отец изредка пишет, больше о том, как устроились, как живут. К нему там многие хорошо относятся, жалеют его. Брат ведет себя — как когда. То — «познакомился с девушкой из замечательной семьи. Отец партийный, сама и сестра — комсомолки...», то напивается пьяный, лезет к отцу драться и орет: «Ты мне своей автобиографией всю анкету испортил...»

Ну, за последнее-то я его не осуждаю. Так думают все. Хорошенькая дочь знаменитой, арестованной в 1949 году за связь с иностранцами, кино-актрисы ненавидит мать за то, что та ей подложила «такую свинью». Сын известного генерала-власовца, повешенного вместе со своим командиром, слышать не может упоминания об отце:

— Мало того, что сам подлецом оказался. Мать погубил, только недавно разрешили ей из Шарьи этой несчастной в Москву вернуться. Хорошо, что на моей карьере это почти не отразилось...

Прав Ленька. Правы они. И все другие, кто так думает, правы. Подложили нам отцы наши большую свинью...

Я и сама смутно помню, как, когда мне было около восьми лет, Дашонка водила меня куда-то на Пушечную, где меня раздевали, вертели, измеряли руки и ноги... Заставляли петь, подпевать, кружиться...

Потом, когда я уже выросла, Дашонка сказала, что она тогда водила меня в балетную школу Большого Театра. Ей посоветовал это сделать приезжий артист из Свердловска, который увидел, какие акробатические штуки я выделываю во дворе на нижних ступеньках нашей пожарной лестницы.

И все начальники там в один голос тогда сказали: «Самая первая кандидатура — ваша племянница: и музыкальные способности блестящие, и богатейшая фактура... Физические данные прямо изумительные...»

Так почему, почему же не взяли? — задыхаюсь я.

Почему! Дурочка ты, что ли?

Меня не взяли в балетную школу из-за отца.

*

Но это не страшно. Музыкальные способности мои продолжали развиваться. Я научилась сначала «с рук» Дашонки, а потом по нотам на вечернем отделении для взрослых музыкальной школы нашего района играть на гитаре-семиструнке и меня даже посылали на конкурс гитаристов-любителей, где я оторвала поощрительную третью премию за исполнение народной песни «Вспомни, вспомни» в переложении Сихры. Когда-то я приставала к Птице, чтобы она научила меня играть на пианино «ну хоть одним пальчиком!», а теперь роли переменились: она житья мне не давала — все просила показать ей хотя бы несколько аккордиков, аккомпанировать двоюродному брату Котьке его любимый цыганский романс «Чайная роза».

А мои «физические и внешние данные»?

Когда теперь я с кем-нибудь, кто меня знал с пяти лет, вспоминаю о своем детстве, то обычно начинаю разговор так:

— Помните, какая я маленькая была страхолюдина?

Собеседник смотрит мне в глаза, усмехается и говорит, что я нарочно, из каких-то одной мне известных соображений, всю жизнь принижаю себя и что это становится просто противным.

Только нянечка Катя принимает мою змеиную хитрость за чистую монету:

— Да что вы, Владенька! Это вы-то были страхолюдненькие? Да вы ничуть не хуже нашей Никочки были. Гости всегда вами любовались, такие вы были складненькие, да веселенькие. С лица никогда улыбка не сходила. Только уж вот больно вы были милиатюренькие...

А когда мы переехали на новую квартиру, я подслушала один разговор, который раз и навсегда положил конец тому,

что я сокращала свою жизнь завистью хорошенькому личику моей подруги Птицы.

Разговор происходил в кухне между нашей новой соседкой, стоматологом Евгенией Юрьевной и моей Дашонкой.

— Знаете, Дарья Федоровна, я на вашу племянницу Владю прямо налюбоваться не могу, — говорила Евгения Юрьевна, — в поликлинике всем уши о ней прожужжала. И в кого это она у вас такая? Ну прямо артистическая наружность. Вторая Дина Дурбин.

— Все бы ничего, Евдень Юрьевна, — радостно прохрипела Дашонка, — да уж больно во-о-льная она...

Артистическая наружность? Дина Дурбин?

Ах... Ах...

Вот уже лет пять или шесть, как я к этому совершенно равнодушна.

На третьем курсе института со мною произошло интересное событие.

Однажды в вестибюле ко мне подошел высокий мужчина в очень тогда модном болгарском тулупе.

Он предложил мне (все это слышали, я шла с девочками из нашей группы), оставить институт и перейти в экспериментальную балетную группу Большого Театра. Эта группа будет вся состоять из лиц, старше двадцати лет. Пересмотрел сотни людей. Остановился пока на трех. Вы не хотели бы? Я видел вас на занятиях художественной гимнастики и поразился... Давайте, рискнем? Посмотрим, что выйдет... У вас редчайшая, богатейшая фактура и исключительные способности.

Ну... я отказалась и равнодушно, потому что в то время меня гораздо больше стала интересовать библиотека Ивана Грозного и ее поиски в подземельях Кремля.

Но... «у вас богатейшая фактура»... Каким знакомым показалось мне это выражение!

Дашонка прекрасно помнила имя и фамилию «начальника», хвалившего мои «физические данные» и побоявшегося

меня, восьмилетнего ребенка, принять в балетную школу из-за отца...

Высокий красивый мужчина, который в вестибюле Московского Историко-Архивного Института дал мне свое имя, отчество и фамилию, а также номера своего телефона, домашнего и служебного — и тот «начальник» из детской балетной школы Большого Театра — было одно и то же лицо.....

Здесь я ставлю эмоциональное многоточие, которое я вообще люблю.

Совсем не затем, чтоб выразить в нем свое горе по поводу утраченной возможности блистать на сцене Большого Театра. Скорее, да, именно скорее — наоборот.

Когда мне было шестнадцать лет — я обожала Райку Стручкову. Какая удобная была у нее фамилия, чтобы кричать после спектакля «Струч-ко-ва-ааа!»

В девятнадцать лет — даже несколько более бурно, я была страстной поклонницей Майки Плисецкой. Вот когда я ругала отца, испортившего мне жизнь и возможную блестящую судьбу!

Теперь же мне безразличны, глубоко безразличны и Райка и Майка, и даже Галина Уланова.

Актрисой быть страшно — особенно балериной.

Вот умерла недавно Гельцер. Она лежала в гробу старая, желтая, а над гробом — ее прелестный портрет в молодости. Тут же вспомнился Всеволод Аксенов, скончавшийся внезапно года два тому назад от третьего инфаркта. Лицо, как он просил, было закрыто тонкой кисеей, а рядом лежала вылепленная маска его головы в молодости. Театрально, но в стиле всей его жизни...

Как все это ужасно и какое счастье, что я не стала актрисой.

И хорошо, очень хорошо, что отец «испортил» мне жизнь.

Но все-таки на моих свадьбах его не было.

*

Да, на «свадьбах», потому что у меня было две свадьбы.

Первая — для матери мужа и наших с Геннадием общих знакомых и сослуживцев. С венгерским «Токаем», салатом «Майонез», бужениной, заливной осетриной и черной икрой — все доставлено из отдела «Стол заказов» ГУМа.

На этой свадьбе номер один Дашонка сидела по правую руку от моей свекрухи Любови Иннокентьевны и подтаивала от волнения.

Слушали загранпластинки, какой-то невыносимый джаз. Пытались танцевать «липси».

Вторая свадьба была через день после первой, для наших общих знакомых попроще: ероя Тольки, мордвина Ивана и его жены Ульяши, няни Кати, Лели Сизовой, Насти Тюриной... и так далее (и тому подобное).

На этой свадьбе была водка «Белая головка», винегрет и колбаса ветчиннорубленая.

На эту свадьбу номер два я даже разрешила Ивану привести его дружка, слесаря Иллариона, если он даст слово, что «безобразия никакого не будет».

Слово слесарь Илларион сдержал. Уходя, он нежно пожимал Геннадию руку и бормотал, подпрыгивая на половике:

— Извините за компанию!

После водки, под аккомпанимент двух гитар, Дашонки Горячевой и Ивана Мордвинова, Леля с Настей пели душераздирающий романс: «Разбудил меня стон в эту бурную ночь», а остальная публика отплясывала «под-испанец-хорошенький танец», — парами. И расстояние между кавалером и дамой было в один метр.

Ульяша, жена Ивана, радостно выскакивала в коридор звонить какой-то своей подруге Фроське Звонаревой и, подтягивая сползающие подвязки, бодро голосила:

— Дарья сроду и не мечтала такого парня для своей Владьки! Вот парень, так парень! Не пьеть, не курить, по специальности монтер!

В это время монтер (он же мой муж Геннадий) вежливо танцевал в паре с Лелей Сизовой. Он уже три раза менял перегоревшие пробки в нашей новой квартире, — отсюда сообразительная молодчина Ульяша сделала заключение о его профессии.

Вообще, Геннадий вел себя идеально и первый и второй раз.

Остальные гости из моих знакомых, о которых я не упомянула, разделились так:

Конечно, Эмка была на обеих свадьбах.

Тетя Тамарочка, художница Сюся, Анна Давыдовна, старик Исидор с женой и Евгения Юрьевна — веселились на первой.

Фрау Ольга — на второй.

*

Началась совместная жизнь.

Как-то в мое отсутствие свекровь, эта прекрасная Инночентьевна, переставила в нашей комнате мебель. Через день, в ее отсутствие, я опять все поставила по-своему.

На ее замечание о том, что Пушкин, конечно, был исключительно интеллектуальным человеком и что каждый раз, когда она проходит мимо его памятника, ей хочется упасть ниц на мостовую и лежать, лежать... я злобно, громко и нахально фыркнула.

Когда она интеллигентным голоском спросила: «В чем дело»? — я медленно (так, чтобы она поняла, что я вру), — сказала, что вспомнила смешной случай на работе...

Пробегая ночью в уборную через нашу комнату она каждый раз говорит:

— Дети, я не смотрю... Зрение никуда.

И уже из этого заведения приглушенно доносится:

— Господи, и когда это я к глазнику соберусь за очками...

Совершенно точно знаю от Зинухи Ножкиной, что днем, в наше с Генкой отсутствие, она покупает себе ветчину и по-

глощает ее с калорийными булочками, а вечером, когда мы все садимся обедать и я говорю, что жалею ее, потому, что самое противное и трудное, — это доставать продукты и готовить, она закатывает глазки и томно стонет:

— Ради Бога, ешьте. Ну какой там труд? Все для вас ведь.. А я? Господи, ну сколько я ем?

Принесчастнится и нальет себе ровно в три раза меньше, чем мне и сыну.

Непрестанно повторяет, что она не собирается молодиться, так как годы не скроешь и что она уже больше решила не пудриться.

Как-то прибежала из кино.

— Ходила смотреть американский фильм «Марти», который в порядке культурного обмена. Ах, какая прелесть...

В чем «прелесть» — не говорит. Заинтриговывает, хочет, чтоб я спросила первая.

?

— Там точь в точь так же, как и у нас. Родители с детьми и там ужиться не могут. Это верно, верно. Я и сама на все сто процентов за то, чтобы жить отдельно. Скоро уж, скоро уеду домой и освобожу вас...

*

Если говорить честно — она мне ничего плохого не сделала. Ветчину она покупает и ест отдельно от нас... Ну и что же? Что это я так взбутетенилась? Ведь ветчину она покупает на свои? Да, на свои. А потом нарочно ест за столом меньше, чтобы показать, что она никогда не будет нам обузой.

Перед памятником Пушкина она хочет «падать ниц и лежать, лежать...» Но она же— это второе, неисправленное издание Сюси Сюрмюль, которая вечно повторяет, что ее мать кончила гимназию с французским языком и называет артистов Художественного Театра — художниками. Ну что с них взять? Простосплетенные, пустопорожние создания...

Одно время по три раза в день, все она же, Любовь Иннокентьевна, рассказывала нам с нежным хихиканьем о том, что муж ей всегда привозит из командировки подарки. Каждый раз белье. Каждый раз зеленого цвета. Каждый раз 42-ой номер. А у нее — 36-ой!

Генка подумал, что она намекает и принес ей чудесную капроновую кофточку из магазина «Подарки». Я надулась. А вечером она чуть не плача, совала эту кофточку мне, уверяя, что ее не поняли, что рассказывала она о зеленом белье нарочно, чтобы приучить Геночку относиться к жене не по-свински, то есть по-современному, а по-старинному.

Я ей верю, но злюсь, что она всех поучает, всем надоедает, во все ввинчивается...

— Ну, это уж вы, Владенька, напрасно, говорит мне зубной врач Евгения Юрьевна на нашей новой квартире, где теперь одна блаженствует Дашонка, — уж если он сын хороший, то значит, что и муж будет хороший. Это уж закон. Напрасно вы, напрасно...

— Она меня раздражает уже только тем, что живет почти в одной комнате со мной, — говорю я со слезой в голосе.

— Ну, конечно. Но знаете почему? Потому что досталась вам в свекрови, слава Богу, хорошая, добрая женщина. Ну, ясно, вы недовольны, везде ищете недостатки. А вот налети вы на Кабаниху...

И Сюся Сюрмюль точно такого же мнения. Однажды, через три недели после свадьбы номер один, я с измученным лицом ввалилась в уютную квартиру, где еще совсем недавно жила Птица Жарова. Минут пять не могла достучаться: Тамарочка и Сюся пили чай с московскими хлебцами (когда-то они назывались «турецкими», но в кампанию против безродных космополитов были переименованы в «московские»).

По случаю чаепития дверь была крепко заперта: Сюся и Тамарочка боялись, что в разгар пиршества ворвется Рафа-

ловская и потом будет везде звонить, что у Жаровых в будний день жрут пирожные.

Потом Сюся села за рояль и стала бешено наигрывать «эм-пром-тю» Шуберта. В этот момент я условным стуком забарабанила в дверь.

Они радостно душили меня в объятиях, а после этого я сразу приступила к делу: начала рассказывать о том, как я несчастна, как мне ужасно живется и как я себя грызу за то и за это...

Тетя Тамарочка уже собиралась начать рыдания. И вдруг Сюся трагически протянула руку вперед и, завывая, начала следующий монолог:

— Ну, конечно, она недовольна. Ну, конечно, она себя грызет. Как? Почему? — вопрос. Ответ: у нее плохой муж. Почему плохой? По следующим причинам.

Сюся начала загибать один за другим свои всегда идеально наманикюренные пальчики:

— Он ни разу не назвал ее дурой. Раз. Он никогда, даже мысленно, не послал ее к чертовой бабушке, хотя она этого вполне заслуживает. Это два. Не смотрит пока на чужих женщин, любит ее, любит свою мать. Это три. Одним словом, молодой человек целиком и полностью не из мира сего. Возможно даже, что он, как один из самых способных, будет послан заграницу, в Каир или Индию и эта холера поедет с ним, всем нам на зависть...

Сюся вобрала в свои легкие еще литр воздуха, чтобы продолжать тираду, но тут ее перебил радостный вопль тети Тамарочки:

— Сюська! Ой, Сюсенька! Я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать. Значит так: если бы у нее мужем был Митька-водопроводчик (что при других обстоятельствах было бы вполне вероятно), который бы напивался три раза в неделю, который бы колотил ее смертным боем и таскал за волосы, который бы бегал от нее к другим девкам... то...

Тетя Тамарочка приставила большие пальцы к вискам и подрыгала остальными (жест этот от нее в малейших дета-

лях передался Птице: они обе так делали, когда хотели показать, что не в силах больше продолжать разговор), — вот тогда бы! Вот тогда бы она была безумно счастлива!

Я хорошо помню, что в своей не очень пока еще длинной жизни я только три раза хохотала до того, что казалось: еще мгновение и порвется что-то в животе. Два раза — давно, в Художественном Театре, над Поповой-Марго в «Глубокой разведке», и над Комиссаровым-Керубино в «Женитьбе Фигаро». Третий раз над чем-то совсем не смешным на лекции в институте.

А четвертый раз теперь, над высказываниями тети Тамарочки и художницы Сюси Сюрмюль.

Они правы. Мой Геннадий, — прекрасный молодой человек, не «из» мира сего.

И Иннокентьевна совсем не так уж плоха, как я ее описала.

Когда их родственница, приехавшая к нам в Москву, привезла с собой какие-то сибирские «постряпеньки» и все уговаривала меня, чтоб я ела, ела и ела, свекровь сказала:

—Нет, Нюся, не соблазняй девочку. Ей надо сохранить хорошую фигурку...

Что в корне разошлось с мнением Дашонки, которая возмущенно высказалась так:

— Нéчего теперь бояться. Это пусть незамужние за фигурой следят. Тебе надо быть в своем теле, а то муж любить не будет!

Дашонка с моей свекровью в великой дружбе. При встрече они целуются, называют друг друга «сватьюшка» и пьют вместе чай. Любовь Иннокентьевна говорит, что Дашонка (это имя произносится с французским прононсом) немножко простовата, но что это только по одной причине: недостаток общей культуры! А в душе она вполне интеллигентна (эта интеллигентность у нее врожденная) и что вскорости, после небольшой полировки (отучить ее говорить «сгинается» «чажечка» и т. д.) — ее смело можно будет ввести в общество Ираиды Васильевны.

— И чего только ты на ее крысишься? — идет на меня лбом Дашонка, — тебе бы ноги ее мыть, да воду эту пить. Женщина хоть и образованная, а ничего из себя не ставит...

Она что-то вспомнила, повидимому тесно относящееся к делу:

— Вон, Сюся-то твоя, Сюрмюльская, бегает везде, как чумная, все блат ищет... А зачем? Племянницу свою, кобылу эту, Люку, в Институт Иностранных Языков хочет отдать. Что, может, как Ника... — Дашонка ехидно ощерилась, — да только напрасно, все равно лошадь эта никого собой не прельстит...

Ну какое же отношение все это имеет к тому, что у меня хорошая свекровь?

—Нет, уж, какое образование ты не получи, а дура ты была, есть и будешь, — вдруг неожиданно обратилась ко мне Дашонка, — и ничего ты из себя не докажешь...

*

Да, все это правильно. Свекровь у меня только с маленькими недостатками. Муж, Геннадий Тиунов, почти идеальный и сама я в смысле служебной карьеры и вообще положения в жизни (это уже ясно) — намного впереди всех своих подруг.

И чудная мебель... финский письменный стол и секретэр, самый хороший холодильник «ЗИЛ» и самый дорогой телевизор «Рубин» теперь у меня...

На «Антигону»! в постановке Охлопкова в зале Чайковского? Пожалуйста! Ночами люди стояли за билетами, а Геннадий достал мгновенно через парктом на работе.

На «Милого лжеца» во МХАТ? Сделайте ваше одолжение. Вот два билета в пятый ряд партера (я как-то с презрением обронила услышанную где-то фразу, что я драматического театра дальше шестого ряда партера не признаю).

В тур-поездку за границу? Извольте, матушка-барыня! Теперь это проще простого, не пятьдесят четвертый год. Бы-

ли бы деньги. А деньги у нас есть. И вот уже почти на руках две путевки.

О чем еще могла мечтать сопливая девочка из подвала?

И моя знакомая, Эрика Ивановна, эстонка, приезжая из Таллина, крепко, искренне, целует меня и покачивая головой с симметрично-аккуратными завитушками, по старинному приговаривает:

— Владенька, золотко мое, деточка моя, дуся моя, я так рада из-за вас!

Я, действительно, должна считать себя очень счастливой...

*

Но отчего же... отчего?

«.....много лет подряд у меня с середины декабря начинаются переживания и тоска. Так я встречаю первые шаги Нового Года уже очень много лет. Больше всего беспокоит меня настроение — проснусь и такая тоска сжимает сердце, что еле находишь в себе силы встать и бежать осматривать здешние «достопримечательности». Теперь у меня все есть и мечтать не о чем. А я мечтаю. О безлюдьи. О рубище. О Соломенной сторожке. Может быть спасение в том, чтобы забраться в каменную цитадель, отгородиться от гортанного джаза пуховыми подушками и перинами и читать Писемского? Сколько раз я ругалась с Тамарочкой и Сюсей, а теперь мысли о них и жалость доводят меня до исступления. Что делать? Панцырь не купишь, да и жизнь любую броню продырявит. И вот еще один Новый Год, потом будет еще один и еще один, и с каждым разом будет уходить из души самое хорошее, а свежими ощущениями, увы, не заполнятся образовавшиеся оазисы пустоты. Иногда я чувствую, что на меня надвигается тоска, граничащая с отчаянием. Я стала уже давно замечать, что мои дни постепенно теряют яркость, в душе гаснут какие-то огни и только любознательность, несмотря на мою природную застенчивость, заставляет меня

изо дня входить в новый день. Мое духовное обогащение только немного пополняется у меня свежестью впечатлений от людей и от новых мест. А самое главное, что меня теперь стало угнетать больше всего — это галоп времени. Наступили какие-то короткие времена. Мы перестали ощущать, что такое «вчера», еле чувствуем «сегодня», — едва-едва схватить это «сегодня» за ускользающий хвостик. И все, как один — мчимся в «завтра». Я тоже мчусь. Потому что теперь время не бежит, не летит, не скачет... Оно мчится. Со скоростью света.

Иногда, если у него хорошее настроение, ОНО решает пошляться между людьми. Я здесь часто встречаю его. ОНО такое высокое, прозрачное, с раздувающимися ноздрями. Устало — дышит, как паровоз. Постояло, постояло, покачалось на тоненьких ножках, поскребло в затылке, — и помчалось дальше...»

*

Прошло уже несколько лет с тех пор, как самолет ТУ-104 увез вместе с Птицей половину моей жизни.

Тетя Тамарочка, радостно причмокивая, читает мне все письма, наполненные счастьем и благодарностью всем Богам мира за свою судьбу. Она читает мне все Птицыны письма и просит показывать и давать ей читать все, что получаю от ее дочери я. Я даю ей длинное, смешное письмо, утаивая второй листок, на котором написано: «только для тебя». На этом втором листке все, что было написано на двух предыдущих страницах.

Я просматриваю все фотографии, полученные Тамарочкой и показываю присланные мне, с дурацкими, хулиганскими и остроумными надписями, утаивая только одну, на которой она сидит под экзотической пальмой, опустив свою голову с Дондер-Шишем.

На обороте этой фотографии написано:

Я верю, под одной звездой
С тобой мы рождены

Мы шли дорогою одной
Нас обманули те же сны...

Кружатся снежинки, не то грациозно, не то неуклюже, так медленно... В этом году у нас стоит колдовская, сказочная зима. Деревья в садах стоят хрустально поседевшие уже много недель, на лепке новых домов — сверкающая парча. Диво. Чудо. Безветрие.

Я бегаю по улицам, заползаю в промтоварные магазины и прижимаюсь розовым, горячим от мороза носом, к плотно заставленным всякой мишурой витринам магазинов на улице Горького. Я стараюсь избавиться от своей меланхолии, которая стала стандартной. Когда становится невмоготу от холода, я забегаю греться в магазин «Музыка» напротив Большого Мосторга. Из отдела пластинок доносится заунывная русская песня «Кари глазки, где вы скрылись...»

Отогревается мой последний палец на левой ноге, я выхожу из магазина и плетусь опять вверх по улице Горького к Гнездиковскому переулку. Там я долго гляжу в витрину магазина «Хрусталь».

Разглядывая с замиранием сердца хорошенькие вещички, я по чьему-то дыханию у самой своей щеки, чувствую что за моей спиной собрался народ. И слышу осторожно-восхищенное:

— А-а-ххх, какая прелесть эти статуи, какая роскошь... вот у них умеют делать...

Потом приглушенно-сдавленный контр-вопрос:

— И где ты видишь статуи?

Статуэтки все стоят в левом углу. Это подделка под богемское стекло. Не то фарфор. Из Германской демократической, импорт.

Вдруг вышла на витрину девушка, работница магазина и поставила в угол чудесную изящную вещичку. Это была красивая заводная игрушка «Жар-Птица».

Включалось электричество и ее перья начинали менять цвет и полыхать то красным, то зеленым, то фиолетовым. Хвостик переливался ало-голубоватым, ножки бежевым, а клюв...

Вместо клюва у Жар-Птицы было настоящее человеческое, девичье лицо. Оно то смотрело на вас и как-будто улыбалось, то хмурилось, то собиралось плакать, а однажды, на мгновение, когда световые блики побежали неровно — оно стало противным и злым.

Лицо Жар-Птицы, ее хвост, ее перышки, мерцающие и и переливающиеся, были похожи на те, собранные вместе, крошки, крупицы и кусочки миражей, снов, полуснов, мечтаний, иллюзий и фантазий, которые создавали впечатление сказочной красоты, терзающей нашу Птицу Жарову.

В те моменты она вдруг спешно начинала менять фотографии подруг на своем письменном столе и вместо Эмки Кукуй и меня ставила Клавку Березкину...

Или вдруг заявляла, что была бы самым счастливым человеком на свете, если бы у нее дома был камин.

Или аквариум с рыбами...

Чтоб перед глазами все время что-то плыло, чтобы не переставая за чем-то следить...

Как принцесса Мистлилис у Гофмана внезапно превратилась в фарфоровую куколку, так моя игрушка Жар-Птица в магазине «Хрусталь» на улице Горького внезапно стала:

Гамаюн — Птицей Вещей,

Сирин — Птицей Радости,

Алконост — Птицей Печали,

Щебечущей веселой Птахой, пожилым лысым попугаем, длиннохвостой скромной серой пичужкой, бестолково мечущейся курицей, — и, наконец, той Синей Птицей Счастья, без которого умирает дочка старухи Берленго...

Перед витриной магазина люди видят игрушечную Жар-Птицу, обернутую кусками ваты, а я вижу Нику Жарову, занесенную своей мечтой...

Она автоматически повернулась, улыбнулась, заиграла всеми цветами и тихо чирикнула:

«Ах, не называйте меня Жар-Птицей, зовите меня просто Нюрочкой...»

Над головами гуляющих под Новый Год огромная реклама с девочкой-толстушкой излучает:

«А я ем — повидло и джем!»

Свет от рекламы подобрался ко мне, побежали блики, я ловлю их на лице...

Тепло Жар-Птице в витрине магазина, холодно мне на улице под Новый Год, над верхней губой — беленькие усы...

Вытираю горячий розовый нос...

Стою, смотрю на мороз...

*

Я с удовольствием всем поддакиваю, что Птица, конечно, милое, но погибшее созданье.

— Шалая девка... Ну подумай, какую штуку отмочила? — говорю я нашей школьной приятельнице, Лиле Валицкой, работающей в Министерстве Иностранных дел.

Лилька, едва не умирая от зависти, пожирает меня глазами:

— Так неужели та история, с французом, именно с ней приключилась? У нас все в Министерстве только тогда об этом и говорили. Ну и история... Опупеть.

— Да, опупеть, — спокойно подтверждаю я.

— Неужели это правда, что он набросился на нее в тот момент, как увидел, прямо при всех на приеме и давай целовать?

— Правда.

— И прямо всем в лицо тут же заявил, что не уедет в свою Францию без нее? Но... уехал все-таки?

— Тогда уехал, а через год вернулся, — говорю я разбитным голосом, специально для того, чтобы доконать Лильку, — приехал и привез ей золотое колечко с зелеными хризолитами...

Это колечко теперь у меня, на правой руке, на безымянном пальце.

Вот, смотри.

— Так почему же оно у тебя?

Это колечко предназначалось для Птицы. Для самой красивой женщины, которую встретил в Москве Жорж Фурниаль. Ленька Галлендер, помните его? — узнал про это. Он ведь по-французски немного лопочет. Вот он Жоржу, мужу Птахиному и говорит: «Ника хоть и красивее Владьки, а в смысле русско-сермяжности — Колотушкинская сто раз переплюнет ее»...

И отдали они это колечко мне...

— Молодец, все-таки молодец она, — говорит Лиля, вяло сгребая мокрую сдачу с лотка продавщицы газировки, всегда она была оригинальной... Недаром в школе наша историчка говорила, что Ника Жарова или в тюрьму угодит или прогремит на весь мир...

Так это моя подруга Птица встретилась на каком-то приеме с французом Жоржем Фурниалем, предок которого сто пятьдесят лет назад похитил в московском особняке колечко с зелеными хризолитами, влюбилась в него, потом переписывалась с ним целый год и, наконец...

Да, она.

Так это она «как смелый Сокол, в борьбе с врагами истекла кровью», перелетела через океан и сидит теперь на кончике Эмпайр Стейт Билдинг?

Да.

Так это она пишет мне в письмах: «Я горжусь Гагариным и Титовым, но злюсь, что ты зовешь меня обратно, в случае если жизнь не удастся. Кричу, что никогда, никогда не вернусь обратно в наше аспидское болото, а сама люблю это болото больше всего на свете...»

Да. Да.

И неужели это Птица Жарова «погибоша, аки обры», исчезла без следа, для всех, кроме меня?

Да, она.

*

Не знаю, как мне описать историю моего возвращения к Дашонке, юмористически или серьезно?

Пятого декабря, в День Конституции, подождав, пока Гена и его мать уйдут на вокзал встречать родственника из какой-то немыслимой сибирско-алтайской Белокурихи, я быстренько свернула свое одеяло и подушку в валик, надела на все это чехол, перетянула его дорожными ремнями и отправилась на Тверскую-Ямскую.

Я возвращалась на Тверскую, я уходила на Ямскую. К своему дому, на ту улицу, которая названа в честь моих предков.

— А-а-а, — прохрипела Дашонка, открыв мне дверь, — ба-а-тюшки! Да она с узлом!

— А я что говорила? — бойко оскалившись затарахтела сидевшая за чаем тетя Дуся со старой квартиры, — пришла? Ну-ну... Много здесь вас, не надо ли нас? Так выходит?

Угораздило эту стерву придти именно в этот день в гости.

Правда, я так выразительно на нее посмотрела, что через пять минут она выкатилась из нашей комнаты, как мячик.

Дашонка тогда мне больше ничего не сказала и не потребовала никаких объяснений, но вечером того же дня долго плакала в кухне перед Евгенией Юрьевной и ее очень старой теткой Верой Конрадовной, которая из любви к животным оставила доходную профессию корсетницы и пошла работать в Зоопарк. За этот альтруизм один из тигров при кормежке проглотил ее перчатку...

Дашонка плакала в кухне, а я подслушивала из ванны.

— Ой, Евдень Юрьевна, ой-да Вера Кондратовна, — раскачивалась она от тетки к племяннице, — да разве я когда об этим думала, да разве я мечтала?

В новой хорошенькой ванне уже развесили старые корыта, тазы, кадушки, а выше всех, под потолком, я узнала наш порыжелый окоренок.

В один прекрасный день, когда никого их не будет дома, я позову с нашего двора бойких школьников, которые занимаются сбором металлолома, и отдам им все это допотопное барахло.

О чем это она там не думала, о чем не мечтала?

— В подвале жили, в обще-житии... Белый хлеб я ей только с получки брала, все в эти дни она меня никак дождаться не могла. Сама я тогда молодая осталась после мужа, мне бы жить... А как подумаю, что она у меня голодная сидит — никакие мужики на ум не йдут...

Реакции со стороны интеллигенции не было пока никакой, так как неизвестно было, чем моя Дарья закончит....

— Ну что, думаю? Счастливее меня человека не будет, если она хотя на кастиршу поступит учиться...

— Ну что вы, Дарья Федоровна! Какая там кассирша? Да даже я, со своей Томской зубоврачебной школой ей в подметки не гожусь.

Так сказала Евгения Юрьевна. Вера Конрадовна поддакивала.

— Это только у нас в стране возможно, чтобы девочка из такой семьи окончила аспирантуру, стала старшим научным сотрудником. А вид? Самый настоящий интеллигентный... Превосходная девушка...

Я со злостью вспомнила, как недавно, когда мы разговаривали, она вдруг мне тихо сказала:

— Владенька, не надо говорить «пора разбираться», если вы собираетесь идти спать. Это выражение вам совершенно не идет...

Таких замечаний я боюсь больше всего на свете.

И вся их беседа мне кажется нудной. Как жаль, что мне не десять лет...

Тогда, в один прекрасный день после грандиозной порки, Дашонка заперла меня в холодную кладовку, нарочно вывернув лампочку: знала, что этого я боюсь больше всего, потому что в кладовке жили крысы.

Долго я ревела в адской темноте и умоляла ее простить меня, давая честное пионерское, честное ленинское и честное сталинское под салютом «всех вождей», что это не я. И жалобно завывала при этом таким образом:

— Ой, я нечаянно, ой, я больше не буду, ой...

— Говори, кто тебя научил, тогда отворю... Если сознаешься, что Ника Жарова подговорила, тогда прощу...

— Нет не Ника, нет не Ника... Ой-й... Да... Да-а-а... Это она. Она-а-а...

Дашонка нарочно хлопнула дверью, чтоб я подумала, что она надолго ушла из дому.

Тогда я от злости взяла кусок кирпича, которым одна из старух нашего общежития придавливала кислую капусту в ведре и начала по очереди колотить им по висящим на стенах корытам и тазам:

Раз — до

Два — ре

Три-четыре-пять — ми-фа-соль...

Дашонка не выдержала, выволокла меня из кладовки и отстегала бельевой веревкой.

Из кухни кто-то радостной скороговорочкой жужжал:

— Так-так-так... Всыпь ты ей, Дарья, хорошенько, чтоб она чувствовала, какой-такой человек товарищ Сталин есть...

Кажется мы с Птицей решили осудить всех взрослых за то, что они подлизываются к товарищу Сталину. И так знаем, что он хороший...

Вожатая в школе на нас пожаловалась.

Прекрасная девушка, чудесная, просто образец новой советской русской молодежи, — продолжала Евгения Юрьевна, — только не пойму, почему ей ничего не нравится, отчего мужем она недовольна, что же ей еще нужно?

— Да идол только один знает, что ей нужно... — взвизгнулась Дашонка.

*

Но все Дашонкины лупцовки, все наши словесные перепалки и перестрелки — все, все забыто мною.

Я больше никогда не буду злоехидно вспоминать, даже в шутку, как она ругалась с санитарной комиссией, которая пришла обследовать гигиеническое состояние нашего подвала.

— И не подумаю форточку открывать, — заявила она, — я выросла в подвале и привыкла к спертому воздуху. И она пускай также растет.

Буду делать вид, что она никогда не говорила, что громко икать после обеда — это не то, что «ничего особенного», а очень даже хорошо, потому, что это «душа с Богом разговаривает».

Никогда никому не скажу, как несколько раз в жизни я умирала от стыда за нее. Первый раз — в школе, еще в третьем классе. На общем родительском собрании учительница наша, Надежда Фроловна, давая каждому ученику характеристику, заявила, что одна из лучших девочек в классе — это Владя Колотушкина: по поведению, по прилежанию, по послушанию и по успеваемости.

Просила тов. Горячеву, Дарью Федоровну, поделиться опытом воспитания девочки Влади с другими родителями.

Дашонка еле вылезла из-за крошечной парты, храбро моргнула и сказала:

— Дак, что ж там делиться-то... Вы, люди с высшим образованием, на них, на шыпану эту, время свое тратите, учите их, в музеи с ними да на всякие утренники да экскурсии ходите, — ну, и мы тоже им самовольничать не позволим. Она у меня без баловства.

Родители насторожились.

— С девочками, с разными, — говорит, — дружу... С Никой Жаровой, с Эмкой Кукуй. А я ей повадки на это не даю. Что, еще говорю, они из себя представляют, эти Ники да Эмки?

Дашонка гордо оглядела аудиторию.

— И вы, товарищ учительница, пожалуйста, с моей не церемоньтесь... Если забалует чего или на замечания отвечать вам начнет, прямо дайте линейкой по голове, да так, чтобы язык откусила.

Тетя Тамарочка, тоже бывшая на собрании, растрезвонила всю эту историю с выступлением моей Дашонки дома. Она возмущенно пищала, обращаясь к Владимиру Дмитриевичу:

— Что же это, сама тетка велит свою племянницу по голове бить? Вот что значит жить без родителей! — Тамарочка бросила победный взгляд на дочь. — Как там ни говорите, а какая бы хорошая тетка ни была, а все равно, далеко ей до родной матери...

— Нет, недалеко, нет недалеко, — вдруг смело тоненьким голоском завопила Птица. — Очень даже недалеко! Они всегда, когда кушают в воскресенье, то Дашонка ест хлеб с маргарином. А Владька-то мажет маслом...

Многое, многое я стараюсь забыть и простить Дашонке.

Но, по правде сказать, то, чего я стыдилась в детстве теперь меня смешит и начинает мне даже страшно нравиться.

Лет семь, восемь назад, я бы умерла от ужаса, а теперь я смеюсь и радуюсь...

Например такому случаю.

Любовь Иннокентьевна, моя почтенная belle mère пришла как-то после свадьбы к Дашонке в гости на Тверскую-Ямскую.

Осторожненько зачерпывала ложечкой чай и переливала его туда и сюда в стакан, чтобы он поскорее остыл. Дарья же моя обожает чай-кипяток, хотя давно уже все знают о том,

что очень горячий чай — главная причина рака. Тысячу раз я ей об этом твердила: как горох об стену.

Вот сидит Любовь, сначала остуживает чай, а потом глотает его с сильным горловым звуком.

Этот горловой звук выводит и меня и Дашонку из себя.

Наконец ma tante не выдержала, подвела брови почти что под самую новую прическу, сделанную в парикмахерской, в подвальчике, утром того же дня, чтобы выглядеть культурно, и сладеньким голоском деловито сказала:

— Да вы лучше с блюдечка, Любовь Иннокентьевна! А? С блюдечка-то хлебче!

— Конечно, хлебче! — совершенно естественным голосом подтвердила я и с удовольствием заметила, что моя богоданная маман — на грани обморока.

Я все прощаю своей тетке Дашонке, лупившей меня в детстве за то, что я выпивала с одним кусочком сахара не четыре стакана чаю, а два, за то, что она выдавала мои детские секреты всяким Настькам и Дуськам, за то, что она плевала мне в глаза, чтоб излечить меня от ячменя (а между прочим, ячмень на другой день... прош-ш-еее-л...) и за то, что она беспощадно гнала меня «взамуж», когда я выросла вот за что.

В те ужасные дни, когда кто-то решал вопрос о Птицыной жизни или почти смерти и она приходила к нам, садясь с жутким лицом на диван почти ничего не говоря...

— Ну что ты, дочка, что? — с абсолютно непритворной нежностью говорила Дашонка, — не денежный он, что ли? Так ты плюй, плюй на это... Самое главное, что человек хороший, вот что... Не то что наша гольтепа... А остальное...

Птица как-то необаятельно улыбалась.

— Ничего, ничего, — продолжала Дашонка, — в настоящий данный момент времени наше правительство лучше стало. Товарищ Хрущев-то... Это тебе не тот, разокаянный,

чтоб его на том свете... Хоть и не хорошо так про мертвого говорить, а...

Странно или нет? Эта болтовня (чтобы прекратить которую я в другое время бы просто крикнула: «да заткнись ты!») — как-то успокоительно действовала на нас, особенно на Птицу.

Так иногда бывает очень поздней московской весной: прошел голубоватый ледоход, стало сухо-сухо, — детей давно пускают на улицу без шарфов, рейтуз и варежек...

Сядешь у Китайской стены, нарочно закроешь глаза.

И все так спокойно...

И все безразлично...

А Дашонка все суетилась.

— Да на кой ты им? Ну на кой? Отпустят. Уедешь и все. Мне не веришь, ладно, а ты вот Ивана-мордвина спроси, он врать не станет!

Птица улыбалась уже более выразительно, а Дашонка все больше и больше воодушевлялась.

— А как объявят тебе, что ехать можешь, то тогда могарыч с тебя. Поставишь, нет? Поллитру? Только не белого, ну его к лешему. А сладенького, женского. Портвейнцу или наливочки, или лучше, знаешь, сливянки. Ох и люблю я ее, густая такая, а уж вкус, вкус... В старое-то время ее только богатые да цари наверно пили... Нет ее лучше. Уж богатые-то знают, что хорошо. И всего девяносто копеек бутылка, по новым-то...

Дашонка крепко и уверенно сложила руки на груди. Сделав вид, что она уловила в глазах Птицы желание с ней спорить, она продолжала:

— А я тебя категорически заявляю, что отпустят. Ту, из гостиницы «Москва» помнишь? Ольга Ивановна еще Владе рассказывала? За американца вышла ведь! За аме-ри-кан-ца! Нет их опаснее! Одни шпионы среди них. И то разрешили ей. А французы гораздо лучше... Нет, нет, ты и не сомневайся.

Потом садилась на стул и нарочно низко выгибала спину, чтоб ее лицо было точно на уровне Птицыного.

— А что не денежный человек, так ты на это плюй. За границей-то, говорят, все дешево и все есть, не то, что у нас.

Я поняла, что разговор только еще начинается.

— Да разбей их в дребезину, захожу это я в Кондитерские Изделия вчерась, хотела было...

Дашонка и сама почувствовала, что она отвлеклась.

— А как туда приедете, так сразу ты от него другое колечко обручальное требовай. Тебе надо теперь солидное. А то это какое-то скромное...

Я с завистью глядела на тоненькое изящное обручальное колечко, которое было привезено Птице из Парижа.

— И шубу цигейковую справь себе. Видела я тут на одной иносранке... Подкралась, пощупала... И-э-хх... Как настоящая...

За всю эту сцену, происшедшую на моих глазах (такого-то числа, такого-то года) — я прощаю Дашонке всё.

*

На аэродроме она останавливала на себе удивленные взгляды.

— Почему у русских женщин такие толстые ноги? — меланхолически пролепетала тощенькая американка, глядя на Дашонкины валенки, вернее чесанки, заправленные в галоши, — я вся буду с одну ее ногу...

Я любовалась пушисто-голубеньким бэби, которого в пластмассовой ручной кроватке нес некрасивый индус.

— Ой, Владь, да ты только посмотри, что выдумали... Надо же...

— Тише ты, неудобно...

Мы сидели в новом огромном зале ожидания Внуковского аэропорта. Вылет все откладывался, да откладывался. Через полчаса полетите. Потом еще через столько же, еще...

— Девушка, — жалобно вякнула я в окошечко «Справочное Бюро», — скажите, вылет откладывается из-за погоды, или...

— Какой аэропорт назначения?

— Париж.

— Нет, не из-за погоды, — величественно-таинственно отрезала девушка.

Какой ужас! Может быть передумали? Сейчас подойдут к Птице, отнимут заграничный паспорт. Его на самолет, ее...

По каше — грязи, смешанной с опилками — за спиной защелкали шаги: ерой Толька и мордвин Иван!

— Уф, насилки... Уж думали опоздаем... Машина забуксовала... — Иван с достоинством вытер мокрый нос своим клетчатым «под заграничное», кашне. Потом раскрутил его с шеи и стал обмахиваться...

— Тольк! Здорово! И ты приперся! По собственной инициативе или по заданию?

— Я вот те дам по заданию! Как двину — ни пуха ни пера не останется.

И двинул меня слегка под вздох.

«ГРАЖДАНЕ ПАССС...»

Мы, все трое, крупно вздрогнули.

Я.

Ерой Толька.

И мордвин Иван.

Дашонка в это время развлекала своим веселым бормотаньем Птицу, Тамарочку и Владимира Дмитриевича.

Птица держала ее за руку.

— Даш, ты рассказывай все время что-нибудь...

— А я что делаю? Да уж больше не знаю, про чего... Все пересказано...

— Ну опять про то, как Владька тебя в войну в тревогу бросала на крыше одну. Помнишь? Ты зажигалки тушила, а

она без тебя с документами в бомбоубежище бегала... — Птица всмотрелась вглубь аэропорта. — Ой, вон она с Толькой и Иваном идет... Какая она все-таки у тебя хорошенькая.

— Да что в ней хорошенького?

— Да-а, что... Даш!

— Аюшки?

— Я боюсь...

— А чего? Теперь уж все. Будет все так, как Дарья говорила. Приедешь, посмотришь... Оденешься, конечным делом. Щеколад будешь есть сколько хочешь без оглядки и на машинах ездить, как в заграничных кино-фильмах...

Потом вдруг ни с того, ни с сего, с видом «Маруся отравилась», постно прибавила:

— Ты смотри, не груби там...

— Кому?

— Свекрови. Кому же еще?

Птица, мило взвизгнув от восторга, перевела все «ему» и он в ответ что-то плавно и красиво пропел. И также, как Птица, прелестно улыбался и покачивал своей ежеобразной головой.

Дашонка поддакивала мычанием «угу», угу...», а в конце его тирады махнула варежкой направо — как будто все поняла — и заявила:

— Да-а, знаю я их... Что она, что Владилена. Пара пятак.

Птица вынула из кармана Тамарочки пятачок и объяснила ему, что значит на русском языке это идиоматическое выражение.

«ГРАЖДАНЕ ПАССАЖИРЫ...»

Я смотрю на кусочек желтого картона:

Самолет ТУ-104

Посадочный талон

Ваше место № 11-а

Подбирая пальто чуть не выше колен, чтобы не забрызгаться грязью, появилась... художница Сюся.

Я здесь раньше вас всех. Все не рисковала подойти. А теперь можно. В суматохе не заметно...

— Сюсенька, а вы не боитесь?

— Пусть они насыпят мне соли на хвост, пусть они поцелуют меня в одно место, — радостно заклохтала эта неисправимая Сюся...

Вдали замаячил мощный торс фрау Ольги. С накрашенными, губами, напудренная, при шляпе. Она подошла, осторожно покачиваясь на высоких каблуках.

Из большой сумки вытащила пакетик.

— Ника! Вот тебе. Пирожков на дорожку. Правда на этот раз неудачно. Ну никакой крепости в дрожжах... Прямо не пирожки получились, а моральные уродики...

И воровато прибавила:

— Ты ему не давай, еще отравится... А наших бортпроводниц угости. Это ничего. Это можно.

Потом незаметно поманила Птицу в сторону и несколько секунд что-то шептала ей на ухо. Птица вернулась, вся дрожа от возбуждения. Фрау Ольга важно осадила подбородок на шею и стояла с видом человека, сделавшего свое дело, а от Птицы к Тамарочке и Сюсе, как по телефону неясным бормотком понеслось: «ты, если захочешь опять сюда, мать с отцом навестить — выезжай только в том случае, если дадут тебе сразу въездную-выездную визу, а то опять волынка эта начнется...»

Граждане пассажиры.... ГРАЖДАНЕ ПАССАЖИРЫ.....

— Дети мои, мобилизуйте себя... Без слез, без сцен... Будет все, как по нотам... — Сюся командовала парадом, — ну дети мои, ну...

Ну!

Новое место, новое счастье!

Толпа отъезжающих двинулась к загородке, где проверяют паспорта и билеты. Их начали обнимать, целовать, давать советы...

А меня как молнией ошибло. Спряталась за Тольку, и молчу, как сундук, окованный железом. И не могу подойти, и ничего сказать не могу.

И Птица меня забыла, пока не услышала воркующее: «тэ з ами, тэ з ами...»

Это он ей напомнил про меня и она, со своим всегдашним прелестным оживлением, вытянула меня своим хорошеньким пальчиком за пуговицу...

Как-то нам было неудобно прощаться по настоящему. Все уставились... Сюська все приговаривала: «Ну... ну...»

Птица лихо хлопнула меня по плечу.

— Ну, Владька, гудбайчик... Давай сольемся в страстном поцелуе...

И я, не менее лихо, ответила ей любимой шуткой нашей юности «Хохмой», взятой из арсенала бесконечных прощаний (Москва-Ленинград) с Эмкой Кукуй:

Шрайб открыткес... Мелким почерком...

*

И опять я живу с Дашонкой, в новом доме на 5-ой Тверской-Ямской...

Поем вместе по вечерам дуэтом прелестную старинную песенку «Я выхожу на белую дорогу», которой Дашонка выучилась в трудколонии. Автор ее нам неизвестен.

Ходим вместе по субботам в баню — несмотря на то, что у нас есть ванна. Обязательно в Сандуны и обязательно в самую дешевую, за десять копеек.

В парилке я ей кричу:

— Дашонк, а ведь здесь, в Сандуновских-то, еще Пушкин мылся!

— Да ну?

На полу, на чугунной решетке для стока воды, выбито: «Санкт-Петербург, 1825 год».

В конце апреля, взяв по ведру, мы отправляемся на угол, в Цветочный магазин покупать свежую землю, чтоб переса-

живать фикусы, забранные с Солянки. Без них, как без сплетен, я никак не могла привыкнуть к новой квартире.

— Что-кась? — радостно рычит Дашонка, — комната без цветка — не комната! И кровать без подушки — не кровать! Не могу я этого снесть!

Все верно. И я не могу этого снесть.

И мы водрузили на свои кровати по восемь думок.

По вечерам Дашонка спит у «еле-визора» — и читает запоем. «Анна Каренина» ей совсем не понравилась:

— Глупостями раньше занимались. Из-за кобелей этих да под поезд кидаться? Поработала бы с мое, так...

Я покупаю огромные соленые помидоры бочечного засола и всасываясь при Евгении Юрьевне в них на кухне, точно так же, как и Дашонка, с упоением говорю:

— Помидорчики кисленькие давали в Бакалее... Ну как не взять?

Как я ни пытаюсь поскорее выскочить из круга, пока кольцо еще не замкнулось, как ни пытаюсь сделать ручкой «адью» своему прошлому, у меня ничего не выходит.

Я опять живу с Дашонкой и счастлива.

И никого я так не люблю, как ее.

*

В Пушкино, в бывшем Царском Селе, в лицее, где учился поэт, висят портреты его товарищей по учению. И под каждым — какое-нибудь «изречение». Под Илличевским, кажется, написано: «Мы счастливы, что тень славы Пушкина пала и на нас...»

Я не знаю, удачно ли я рассказала историю Птицы, хорошо ли отблагодарила ее за то, что и на меня пала тень ее славы?

Ведь до сих пор меня распирает гордость от того, что мне непрерывно звонят на работу почти незнакомые писатели и журналисты, не только иностранцы, но и наши и просят

дать им какие-то сведения, какие-то подробности, которые кроме меня никто не может знать.... Они хотят писать о ней роман.

Роман пишу я, но я совсем не уверена, что рассказала ее историю хорошо. Многое осталось недосказанным и нерасшифрованным в моей голове.

Например: как понять загадочную надпись на барельефе дома улицы Скворцова-Степанова

ВСЯ НАША НАДЕЖДА ПОКОИТСЯ НА ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ САМИ СЕБЯ КОРМЯТ.

Как объяснить, что мечта о Соломенной сторожке обуяла нас с Птицей после того, как однажды, крошечными девочками, в деревне у няни Катиной сестры тети Рюни мы увидели живую кикимору?

Я не знаю.

Воспоминания мои соты, не все заполненные медом.

*

Втянув, как черепаха, голову в свой каракулевый воротник, я, подталкивая ногами снег, бреду вдоль по тихому Гнездниковскому переулку. Останавливаюсь перед всеми зеркалами на улице, чтобы поглядеться. Становится совсем темно, вот-вот зажгут свет. Из соседнего окна слабо доносятся звуки: кто-то медленно и осторожно, печально печатает на машинке. Постучит, постучит, а потом несколько минут молчит — наверно любуется напечатанным. Не достали замазки — не заклеили на зиму окно, и поэтому мне все слышно на улице.

Перед отъездом Птица отдала нам, мне и Эмке, все свои хорошенькие вещи — в ее шапочке и шарфике не то я это, не то... Тетя Маша кричит:

Ой, обознатушки! А я думала, что это она...

Кто она?

Да Ника Жарова. Вернулась...

В предновогоднем воздухе носится какая-то неопределенная тоска. Освещенное окно, не закрытое занавеской, другое окошко, на нем криво висит соломенная маркиза, мальчик на тротуаре почти что плачет — никак не может отвертеть с ноги конек, а рядом со мной ползет в своем фиолетовом шарфике и шапочке неуклюжая, горестная, нет горькая, страдающая тень Птицы. Я остановилась — и она. Я пошла — и она тронулась. Ее шаги сливаются с моими. Ее тень — моя тень. И чем становится темнее, тем длиннее становится эта тень, тень, которую я никак не могу потерять...

В Новый Год, который наступит через два дня, я буду сидеть дома одна. Под Новый Год я не пойду ни в одну компанию.

Вчера зашла к Сюсе. Она лежала под шубой, в комнате был страшный холод. В голове ее торчали тряпочки, Сюся закрутила волосы к празднику.

— Сюсенька, где вы встречаете?

Она посмотрела на меня и задумчиво прошептала:

— Что мне сулит Новый Год?

Мне он не сулит ничего. И что за радость сидеть одной у пустого стола после того, как все напьются и разбегутся по углам целоваться или выяснять отношения? Как мне стали глубоко противны все эти компании и выпивки вскладчину, все эти сборища, крики, ухаживания каких-то пижонов. А раньше я это так любила! Особенно, когда из-за меня дрались...

На этот раз я буду сидеть дома одна с Дашонкой, Иваном и еще какими-то вахлаками, буду бодро топотать, вытанцовывать под одобрительные визги гостей «сербияночку» и также, как и они, выть «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда!»

Потом, после того, как компания разойдется, я нарочно долго буду убирать со стола, тихо стаскивая пустые бутылки в кухню. Буду прислушиваться, как в ближайшей квар-

тире бушуют еще неразошедшиеся соседи и Нинка Коноплева, табельщица с Серпа и Молота с чувством поет «Гвоздички алые»...

Помнишь, Птиц? Ведь нам дали две комнаты в новом доме, одну на десять, а другую на двенадцать метров? И Дашонка была на этот раз так необычайно благородна, что согласилась убрать в сундук икону, чтобы не срамить меня перед знакомыми. Икону снять согласилась, а отпуск в деревню взяла специально на Пасху, чтобы там справлять. Даже прислала вдруг открытку: «Дорогая племянница Владя, поздравляю тебя с праздником Пасхи и желаю тебе хорошо провести эти святки...»

Наверное, какие-нибудь старухи научили...

А за исключением этого, внешне Дашонка совсем преобразилась. Я подарила ей свое зеленое пальто, венгерское, драповое, велела перелицевать и носить. Заставляю ее делать раз в две недели маникюр светлым лаком.

И хотя теперь она выглядит почти как дипломированный медперсонал, — на вопрос моих новых знакомых о том, как ее имя-отчество, она машет рукой и отвечает:

— Да ну! Зовите просто Дашей — и все.

Что бесит меня до крайности.

Иногда она стонет:

Эх, приварок-то у нас никуда. Гусятинки ба...

Ну пойди да возьми полгуся...

Возьми! А на какие вши? На сколько еще он потянет? У денег твоих глаз нет...

Как-то я нашла у ней под матрасом в старом чулке аккуратно распрямленные рубли, но не стала с ней заводиться. Поняла, что копит тайком от меня. Боится, что брошу ее к старости и перестану помогать.

Нет, она неисправима.

А я попрежнему работаю старшим научным сотрудником в Ленинской библиотеке, кончаю заочную аспирантуру, очень

хорошо зарабатываю. В этом году ездила в тур-поездку по Финляндии, многое увидела своими глазами. В общем, ничего особенного, я ожидала большего, но отдохнула очень хорошо, или, как мы теперь говорим, «образно». И вообще все у нас стало чудесно. Почти треть Москвы переехала в новые квартиры, люди устали от новоселий... Все теперь хорошо и будет еще лучше.

Птиц, а Птиц, вернись?

По вечерам мы будем сидеть в нашей новой квартире, и, тупо выставив лбы, смотреть телевизор. В летние сумерки будем гулять по любимой нашей сонной Малой Ордынке. Будем ездить на 3-ем троллейбусе на Каляевскую за горячими бубликами. Будем бегать на самую маленькую улицу Москвы, Ленивку, четыре дома справа и три слева, к нашей милой Антонине Ивановне, вышивальщице, и рассказывать ей свои любовные истории...

Приезжай обратно! Птица, приезжай!

Если, конечно, ты жива...

Художники Возрождения любили изображать себя самих на своих картинах в качестве свидетелей или участников происходящих событий. Одни из них — сладострастно подсматривают из-за занавески, как старцы за купающейся Сусанной, другие только присутствуют в качестве равнодушных участников, а третьи...

Рядом со мной по московской улице ползет горестная, страдающая тень Птицы, тень, которую я никак не могу потерять...

*

Иногда, меланхолически прогуливаясь одна по улице Горького, по нашему, московскому Бродвэю, я встречаю Птицыну любовь — Игоря Маянца. Еще издалека узнав меня, он начинает кашлять, вынимает носовой платок и трет глаз.

Он не хочет здороваться. Боится, что я остановлю его и начну разговор о Птице.

Равнодушно и медленно придумываю я эпитеты для Игоря Маянца.

«Барахлюк», «кусок», «довесок», — самые невинные среди них.

А может быть я только и мечтаю, чтоб он меня не останавливал? Только и думаю о том, чтоб он, действительно не заметил меня и прошел мимо? Потому что волнуюсь и не знаю, что именно мне начинать плести, если он захочет поинтере-соваться тем, как она сейчас живет и «с кем живет». Но я не имею представления, в каком виде история Птицы, облетев всю Москву и весь мир дошла до него, что именно он знает о ней и чего не знает, а когда я не уверена, откуда ветер дует — я не знаю, чего врать. Не трещать же мне ему, как я это делаю другим, что Ника очень хорошо «устроила свою жизнь», что ей «попался» прекрасный муж и что она всегда, в любую минуту, когда приходит в гости к свекрови, может даже остаться там и пообедать?

Что нашла она в нем, что? — думаю я, вспоминая, как часто я стояла «на часах» внизу парадного на Нарышкинском, дрожа, чтоб Тамарочка не решила заскочить на обеденный перерыв домой и не застукала там свою дочь и Игоря.

Если бы он захотел! Если бы только он захотел!

Слова Дашонки сбылись: однажды, знаю это из досто-верных источников, он даже плакал, вспоминая о Птице. И хотя щека у него теперь все время непрерывно дергается, когда в салоне Шкуняевых начинают разговаривать о ней, он остается верен себе и тянет с дешевым пижонским видом:

— Да-а-а ... Ника Жарова! Вот это была вещь!

Нет я не хочу, чтобы Игорь Маянц останавливал меня на улице деланно веселым кивком начинающей лысеть головы (Владе — наш экзотический виват!)

Пусть лучше кашляет. Пусть лучше делает вид, что ему соринка попала в глаз ...

Если бы он захотел. Если бы только он захотел!

Мне надо ему отомстить.

За то что однажды, еще в самый разгар их романа, когда Птица, сильно покраснев, начала ему рассказывать о том, что она понимает любовь только так, как показал это Стефан Цвейг в своей новелле «Письмо незнакомки», — Игорь расхохотался на всю комнату и сказал:

— Цыпленок, так ведь это же в книжечке!

Недавно я увидела его впереди себя в толпе, давящейся перед Диэтическим магазином. Ждали открытия после дневного перерыва. Зная, что в наших химчистках не умеют вывести ни одного пятна, я скоренько доела жареный пончик с повидлом, а постно-масляную руку плотно под шумок приложила к его шикарному ратиновому пальто...

*

...В этот Новый Год я не пойду никуда. После того, как они разойдутся, я одна сяду за стол. За стеной завывает Нинка Коноплева, в кухне резонируют тонко, как японские гейши, пустые бутылки из-под водки «Московская». На столе стоит пиво «Бархатное»... на новой кровати спит Дашонка и лицо ее с каждым годом все больше и больше начинает походить на ту икону, которую она так благородно спрятала в сундук. Это сравнение лица русской пожилой женщины с иконой очень затрепано, но что же делать? Это так...

На стенах примостилась спать темнота и хочется потушить электричество и зажечь свечу. Я зажигаю ее. Моцарт сочинял музыку при свечах. Хочется следить за тем, как ропщет пламя свечи...

Или глядеть на зажженный камин или аквариум с рыбами...

И смотреть, как что-то переливается перед глазами.

Хочется опустить голову на руки и дождаться того, как перед глазами забегают оттенки всех на свете цветов. Как хвост Жар-Птицы.

Хочется наслаждаться своей тоской и предаваться легкой грусти — самому очаровательному занятию.

И радоваться тому, что жизнь... так коротка.

*

Обо всем, что было написано до этого — я вспомнила сейчас, вот только сейчас, сидя в Москве, на Москворецкой набережной у оставшегося куска Китайской стены. Вспомнила, глядя на черноглазого ребенка Александра Львовича, наблюдая за бедно одетой женщиной, кормящей голубей, слушая поскрипывание голубовато-зеленого льда на Москва-реке.

Возвращаюсь к действительности.

Я, конечно, очень скоро вернусь к Геннадию. Как так? А вдруг все и вправду подумают, что это не я его, а он меня бросил? И вообще зачем я устроила этот спектакль? Кому нужна эта самодеятельность? Разве не противны мне самой все эти «поиски себя в жизни»? .....

.....Итак, не то мой супр придет за узлом с подушкой и одеялом, не то я сама потащу этот узел обратно...

Свекровь, наконец-то, уедет и я опять буду делать перестановку в комнате с помощью художницы Сюси. На ее изумительный вкус можно положиться и когда она стонет: «Владька, собака, смотри, ведь эта вазочка ну так и просится на пианино, так и просится, как-будто здесь рождена!» — я ей доверяю.

Я успокоюсь: перестану ломать голову над тем, эпоха ли создает людей или люди эпоху, сниму тяжелый кирпич, придавивший мои мозги, стану называть Геннадия «Гуленькой», буду каждый вечер ходить с ним в салон Шкуняевых, где собираются поэты и поэтессы, беллетристы и беллетрессы, критики и критикессы, — и заживу также «бодро-весело», как все.

Потом... муж встанет в очередь за «Москвичом», купит его и мы будем каждое лето ездить своим ходом в отпуск в Коктебель.

Затем... через знакомого директора магазина, отца своей секретарши, Геннадий мне устроит нейлоновую шубу. И я, договариваясь с ним по телефону, буду изо всех сил прижи-

мать трубку ко рту (чтоб Зинуха Ножкина не узнала, что мы пользуемся блатом) и шипеть, что я хочу не темно-коричневую, а светло-бежевую, серебристую, такую же, как я видела на Юле, внучке Никиты Сергеевича...

Хоть сама я больше люблю мальчишек с лохматыми головами и в модных американских джинзах — я ничего не буду иметь против, если моя свекровь будет наряжать нашего будущего Андрюшку в бархатные панталончики, завязывать под воротничком бантик и отращивать ему кудри до пят. Да, я ничего не буду иметь против этого: надо же как-то отличить моего ребенка от других... грязных...

В нейлоновой шубе я буду ездить гулять с толстеньким Андрюшкой, с самым хорошеньким ребенком в нашем дворе, к Китайской стене. Он будет делать куличики, а я сидеть на скамеечке, разложив на шубе жирненькие пальчики с импортными кольцами. И голоском, таким же жирненьким, как пальчики, визгливо кричать:

— Андрюша! Андрюшенька! А ты не водись с ним! Не водись! И не смей давать ему наши формочки и совок!

В магазине «Хрусталь» я куплю ему дорогую игрушку, Жар-Птицу. Или лучше на Кузнецком в Зоомагазине живую птицу — заграничного попугая Какаду с обручем в клетке.

Геннадий будет пошло шутить «Американский какаду какает на ходу», — а я, развлекая сына, буду плясать вокруг клетки и припевать:

Вот моя клетка — стальная, тяжелая,
Как золотая, в вечернем огне
Вот моя Птица, когда-то веселая,
Обруч качает, поет на окне...

А когда постарею, стану точно такой же свекровью, как моя Любовь Иннокентьевна...

В общем, я буду продолжать ЖИТЬ. Так, как все живут: кружиться и вертеться, как детский воздушный шар,

потом лопаться на неопределенное время, а потом опять наполняться воздухом и продолжать кружиться...

И все забуду.

Забуду, как мы с Птицей зимой часто ездили на каток в Сокольники и как там к нам приставали какие-то хорошенькие грузины, Амиран и Гоги.

Забуду, как мы с ней писали анонимки в юмористическом духе одному дураку — известному драматургу за воспевание новой советской молодежи.

Забуду то, как Ника, однажды, вспомнив, что у нее под пальто только майка, отказалась войти в зал на концерт нашего незабвенного Вертинского. А билет у входа был добыт с таким трудом...

И в конце-концов — забуду, кто был из нас Макс, а кто Мориц...

Наверное, когда-нибудь приедет она и, сквозь свой, начинающий заплывать жиром мозг, я подумаю о том, что лучше бы не приезжала, потому что я и не знаю, о чем мне теперь говорить с ней. А молчать неудобно.

Только иногда сейчас во сне я жутко вздрагиваю и ору, когда мне грезится, что приехала Птица и увидела меня такой...

*

Зачем мне все это? Ну зачем? Обручальное кольцо — первое звено в цепи супружеской жизни, пылесос «Днепр», холодильник «ЗИЛ»? Зачем завистливое лицо Марианночки:

— Ой, Владенька, какая у вас с Геной хорошенькая машинка! А ты сама водишь?

Зачем рев на полтора часа из-за того, что в ГУМе разобрали все тряпко-держатели и когда я туда прибежала, вся мокрая под нейлоновой шубой, то мне достался только «фиг с маслом»?

Зачем теперь, когда Птицы нет, я по ночам одна обливаюсь слезами в снах о Соломенной сторожке?

Зачем все, в чем почти все наши знакомые видели счастье, нам с Птицей всегда казалось жалким прозябанием?

Отчего и зачем — «собака, кошка, мышь жива, а нет Корделии?»

*

— Да-а — кряхчу я в гостях у моей пожилой приятельницы, Ольги Ивановны Шкапкиной, проживающей в Последнем переулке на Сретенке, — представляю, как она жалеет, что уехала... Свои родные березки это не шутка... Скучает...

— Да ну тебя и с березками с твоими, — мрачно отрезает мне фрау Ольга, — все это ерунда, березки эти. Ты в Вене жила?

— Ну, нет...

— Тогда молчи. А я жила! По себе знаю.

Фрау Ольга задумалась, вспомнив своего прелестного австрийца Герберта.

— Не по березкам она скучать будет, а по своему двору, вот по чему! По тебе, по отцу с матерью, по подругам... По своему двору, словом...

Опять будет весна. Ледоход. У обломка Китайской стены женщина будет кормить голубей.

Я сижу на скамеечке, закрыв глаза. Мне все безразлично...

Подойдет черноглазый ребенок Александр Львович и осторожненько спросит: «А как тебя ваут?»

В руке у меня записка: «Владька, сегодня в пять вечера. Приходи». Куда — не написано, но это я знаю сама.

Птица вернулась!

Точно так, как предсказывала художница Сюся: не на реактивном самолете, не на пароходе «Квин Мэри», а пешком в лаптях, с посохом в руке крепко повязанная под самый подбородок нейлоновым платочком и с карманным телевизором в руках.

Побегу в Соломенную сторожку, на остановку трамвая, который всегда развозил нас с ней в разные стороны. Буду бояться и ужасно волноваться, не перепутала ли я место нашего свидания.

В этом замкнутом, сказочном дне мы опять будем переживать спокойные, забытые наслаждения нашего детства. Будем ощущать вокруг себя сонную тишину дома, заросшего до окон травой, мир мокрой собаки и самоката Вити Ксенофонтова, мокнущего в луже. Из окна домика будет выглядывать Марья Афанасьевна, которая, наконец-то села в пустой трамвай, доехала до Соломенной сторожки и нашла своих детей...

Она будет сидеть у окна и процеживать напиток морского гриба, стоящий в огромной банке на окне...

— Марья Афанасьевна, — скажет Птица, — я пришла попросить у вас отросток этого гриба...

Так вот оно что! Значит это правда? Ее звали сюда не родные березки, а этот мохнатый подсолнечник, этот мокрый Витин самокат, эти, любимые ею селедочные хвостики, политые уксусом!

Этот отросток морского гриба, вкус которого преследовал ее по ночам!

Брошу Андрюшку, мужа, дом-полную чашу, не возьму даже узла с постелью, помчусь, сшибая прохожих, в Соломенную сторожку...

Услышу за спиной ее нежный смех, «Владька!», — сердце оборвется от счастья, крикну в ответ изо всех сил: «Птица, Птиц...» — оглянусь.....

.....Никого нет.

Алла Кторова

ПИСЬМО АНТИПОДУ

Уже над миром ночь
Играет в белый мяч.
Скитайся, одиночь,
По улицам маячь.

Помедли где-нибудь
У пристани речной,
Где блещет Млечный путь
И небоскреб ночной.

Бумажную труху
Несет по мостовым.
И спутники вверху
Летают по кривым.

А человек внизу,
А человек на дне,
И жмется навесу
Над ним стена — к стене.

И у бетонных плит
Стоит он одинок,
И звездами облит
Он с головы до ног.

Вот так и я стою
Под звездами один
В моем глухом краю
Заборов и рябин.

Как город мой хорош!
В нем улеглась метель.
А где-то ты живешь
За тридевять земель.

И между нами тишь
И между нам гладь,
И если ты кричишь,
То мне не услыхать.

Ты от меня далек,
Ты в городе своем,
И между нами лег
Могучий водоем.

Кораллы там цветут,
Там плавают киты.
Когда я крикну тут,
То не услышишь ты.

В снегу тут ель и вяз,
Тут снег на сотни верст.
Мой дом в снегу увяз,
Мой дом в сугробы вмерз.

А там, где ты живешь —
Тень пальмовых ветвей,
И звезд иной чертеж
Над головой твоей.

К лотку я подошел,
Газету я беру,
Хоть знаю хорошо,
Что это не к добру.

Пускай я наугад
Газету разверну,
Я знаю — там трубят
Про новую войну.

Я на любой волне
Включаю аппарат,
Но знаю — о войне
Там тоже говорят.

Принадлежит статья
Не моему ль перу,
И разве же не я
По радио ору,

Выкрикиваю ложь,
Несу галиматью,
Что ты меня убьешь,
Что я тебя убью.

Как бы двойное дно
Устроено внутри,
Подумаешь одно, —
Другое говори.

Как бы двойное дно,
Как будто две души,
Подумаешь одно, —
Но о другом пиши.

И ты проходишь там
Под звездами один
В своем краю реклам,
В своем краю витрин.

И ты берешь с лотка
Газетный динамит,
Где с каждого листка
Поджогами дымит.

Газетчик за пятак
Тебе всучает бред
С угрозами атак,
Со схемами ракет.

И ты читая ложь,
Несешь галиматью,
Что ты меня убьешь,
Что я тебя убью.

Пусть спутник надо мной
Все выше, все сложней,
Но спутник мой земной
Небесного важней,

И знаю я одну
Из всех земных забот,
Кто не убьет войну,
Того война убьет.

Иван Елагин

ИСКУС

Шаблюкин, на правах друга дома, на правах крестного хотя крестным он никогда не был, а был, да и то не очень достоверно, другом покойного, рано умершего Кирова отца, был вернее всего просто ошеломляюще настойчивым знакомым, — наезжал всегда неожиданно, всегда шумно, и матушка — очень осторожная, очень благоразумная женщина — принимала его со скрытою, неизменно через силу улыбающеюся опаскою: по правде сказать, смущенно призналась она однажды Киру, она ведь почти совсем не знала его, а то, что слыхала о нем, — тут она с зябкой щепетильностью поводила плечами — было так странно, так странно; а что — странно, так и оставалось неизвестным: матушка захлопывала дверь к тайне перед самым Кировым носом.

Странным же, пожалуй, могло быть всё, вся жизнь Шаблюкина, и прежде всего его не совсем обычные, постоянно меняющиеся занятия и увлечения: в годы раннего отрочества Кира он промышлял продажею велосипедов, сам участвовал в гонках, был даже, а может-быть и не был, каким-то чемпионом, и как-то летом поразил матушку и Кира лихостью езды с выкрутасами: сделал кислое и отдаленное лицо знаменитости, со сложенными по-наполеоновски руками на груди, вея холеными, до ушей, и каштановыми (тогда еще) усищами, он мягко, ровно и неторопливо, слегка наддавая кверху коленями, перебирал, уминал сопротивляемость педалей, и легонькая, блистающая на солнце сеющим металическим отсветом спиц машина, покорная его повелительному умению, умненько и без понуканий делала по двору и в палисадничке круги, восьмерки, повороты, — и вдруг ни с того ни с сего взбеленясь, вскинула его через руль в пылающую розами

клумбу. Попозже, в классе эдак в пятом, Шаблюкин держал оперетту, где на качелях с шаловливой из-под усов музыкой, тихо и плавно покачивалась повидимому прехорошенькая веселая вдова, с которою он и не преминул Кира заочно и на слух познакомить: он был ужасный обезьянщик. Он орал, за-давался князем Данилой, голосил вдовой, в оркестре стоял музыкальный гам коромыслом: закатывались во всю жестяную длину своих глоток кларнеты, похрипывал бас, пропойца и грубиян, бухал присяжный тупица содружества барабан, зми-ями извивались напропалую безумствующие скрипачи — Шаб-люкин поспевал всюду: завывал, рявкал, бухал, извивался. Матушка во время этих представлений не спускала с него че-рез силу улыбающихся глаз: она боялась, чтобы он, безоглядно прикидываясь веселою вдовою, не очень перекривлялся бы в выражениях вызывающей женственности: Кир приближался к переходному возрасту. И когда стихал наконец музыкальный кавардак, и Шаблюкин, он же князь Данило, он же веселая вдова, канальски подшаркиваясь, вел самого себя под ручку и их под ручку к рампе, к восторженному обвалу финальных аплодисментов, она облегченно вздыхала — слава Богу, кон-чилось. Кир хлопал ручищами, заваливался на стуле и вски-дывал колени до подбородка: ничего подобного ему до сих пор ни слышать ни видеть не приходилось.

При переходе из пятого в шестой класс — Шаблюкина посадили: схватили, подняли и шмякнули задом — в тюрьму за какие то векселя, за какие то долги: не то за через руль головой в клумбу велосипедные, не то за тихо и плавно по-качивающиеся опереточные, не то вообще за какие то вексе-ля, за какие то долги. И это было так странно, так странно — ма-тушка мазала виски и лоб пряным и прохладным мигреневым ка-рандашиком; Шаблюкин же приходил теперь в сопровождении городового; и пока тот надувался чаем на кухне, он в столовой обличал и ставил в тупик перед матушкой следователя, истин-ного, вот вам святой крест, иванушку дурачка в мундире. По всему видать, что Шаблюкин был прав, тысячу раз прав, и все же глаза у него были затаенно вопиющие, и может быть

поэтому представление удавалось не очень: матушка сидела пригорюнившись, Кир горбился. Погодя умолкал и Шаблюкин и начинал собираться к себе в свои зарешеченные восвояси; припадая при прощании с матушкой к ручке, он солиднейше отхакивался и выходил из комнаты как то уж чрезмерно молодецки — слишком сам с усам во вздернутой кверху локтем слишком молодецкой руке. Потом его взяли на поруки: кто то обязался держать его под руки — и чтобы он не упал, и чтобы не сбежал, и чтобы не держался за ус; и самое удивительное — матушка себе не верила — человеком, обязавшимся держать его под руки, оказалась она сама, она так всегда со вдовьей опаскою избегавшая всякой казенной бумаги, которую нужно было подписать — и стало быть погубить себя и ребенка. И все таки она, выслав предварительно Кира из комнаты, подписала ту ужасную в радужных разводах как на деньгах бумажку — не выдержала, не выдержала старая дура: в тот день особенно несчастный, сутулый, гремящий кандалами Шаблюкин, сквозь свои слезы, сквозь ее и Кировы слезы, пешочком по старенькому ковру в столовой ковылял в Сибирь, и на одном из этапов смертельно занемог. Последние, уже с паутиновой улыбкой отрешенности от всех долгов, от всех векселей, мысли его были о покойном Кировом отце, о ней, вдове его единственного друга, о милом длинношеем, длинноногом Кире, которому он так хотел помочь на пороге к взрослой самостоятельной жизни, и, вот Марь Николавн, не пришлось, не пришлось; с тем Шаблюкин и помер. (Здесь перекошенный, едва не всхлипывающий, с одервеневшим кадыком Кир был выслан из столовой вон). Вернувшись через полчаса, он застал матушку плачущей над чернильницей; в одной руке у нее был комочек платка, она им, как промокашкой, осушала слезы, а в другой, опущенной стальным острием книзу безмолвствовала обессиленная зеленая ручка: все было кончено. Шаблюкин запихивал что то в карман, и запавшие и одичавшие глаза его шныряли во все стороны и вероятно ничего не видели. На другой день он явился без городового;

ему не терпелось как можно поскорее и елико возможно посценичнее бросить в глупую рожу следователя подписанную матушкой бумажку, бросить и выйти из камеры с закинутой назад спесивою головой оскорбленного и мстительного лихача и гордеца. И он проделал это как нельзя лучше: он бросал бумажку раз, бросал два, бросал три, и трижды уходил за кулисы — каждый раз все удачнее — все спесивее, все горделивее, все усатее. Матушка и Кир молча глядели на него, одинаково осклабленные, завороженные им. Вызванный на это время к столу с самоваром призрак следователя не знал, куда деваться от стыда и злости. Под конец он съёжился до карликового роста. «Сволочь» — через плечо доконал его Шаблюкин, и поспешно с усами и с носом полез в чайный стакан: обычно кроткая матушка блеснула глазами, как кошка. Она не любила, когда выражаются, да еще при Кире.

После этого Шаблюкина не было до перехода в восьмой класс; матушка зябко недоумевала — все это было странно, очень странно. Иногда ее вызывали то в банк то к нотари-усу, и она там опять что то подписывала — а что и для чего, знать об этом Киру было рано: матушка неумолимо сжи-мала губы, и, больше ни слова, мой друг Кир. Кир дергал носом и оставался с носом.

Шаблюкин объявился летом, на каникулах, как всегда шумно, как всегда совсем неожиданно, но с некою необычною солидною одутловатостью в изрядно одряхлевшем, пообвисшем за последние годы лице — оказывается, что за это время, Марь Николавн, в его жизни произошли большие перемены: во-первых, можете ли вы себе, солидною фисту-лою, представить, он женился, женился на простой прелест-ной, прелестно улыбавшейся из под седеющих усищ девуш-ке, имеет прелестно аукнувшего из под усищ ребенка (если ему подлецу сделать козу рогатую); а во-вторых: Шаблю-кин уселся, положил возле себя что то гостиничное, заверну-тое в газету, а усевшись с отдаленным и рассеянным взо-ром озабоченного властелина принял на себя с год тому на-зад, дорогая Марь Николавн, заведывание огромным скла-

дом универсальных — и для меда и для засолки и для всего, чего угодно — бочек самобранок, собрать которые не представляет, как сейчас сами убедитесь, никакого, абсолютно никакого труда, попрошу только молоток. Принесли молоток. Шаблюкин развязал газету — оттуда вывалились на ковер дубовые ребра и два донышка предполагаемого маленького боченка; и долго ли умеючи, долго ли умеючи: вот эту дощечку сюда, эту сюда, а эти сюда и сюда — и готово; Кир, вдарь-ка. Кир схватился обеими руками за молоток, перекосился, ну и удавив же к човтовой бабушке: Шаблюкин с картавым пальцем во рту затоптался перед ним, попеременно поджимая под себя то одну то другую ногу, как маленький, когда нестерпимо хочется. Кир тоже сунул палец в рот и тоже начал топтаться и поджимать ноги. Марьюшка собрала дощечки в фартук и унесла их в кухню. Матушка передохнула: слава Богу, пальцев калечить больше не будут.

Шаблюкин с влажными глазами отсосал палец, и озабоченный и скорбный принялся за дела, которых у него было на поларшина выше головы. Прежде всего его донимала огромная и сложная переписка: он раскинул перед собой стол самобранку, обложился бумагами и принялся щелкать на счетах и писать, писать, писать — и в Гельсингфорс, и в Ростов и в Иркутск: и финны и ростовчане и сибиряки просто съума сошли, требуя по две, три тысячи бочек самобранок. Дело росло и ширилось с размашистостью чудо-богатырской — не по дням, а по часам, и все время нужно было держать ухо востро с приставленной к нему для резонанса ладонью, а поклевывающий и вынюхивающий нос держать по ветру, тем более, что — Шаблюкин кхакнул, выпучился — все приходилось решать ему самому, на свою ответственность, без указаний и помощи хозяина москвича, который полгода тому назад уехал в Москву — и сгинул; и ни письмами ни депешами добраться до него не было никакой возможности: поезда в Москву не ходили, оборванные провода безмолвствовали. Хлопот хоть отбавляй было и по хозяйству — и здесь на каждом шагу требовалось хму-

рое, зоркое и рачительное попечительство Шаблюкина: он поспевал всюду. В коровнике его встречали густым очень похожим мычанием исподлобо томные, медлительно усатые коровы, в свинарнике задирали морды, замечательно похрюкивали хавроньи усачи, но не очень удачно выступили поросята: сгоряча, не разобравшись, они заукали было младенческими голосами и мигом заткнулись — Шаблюкин сделал водяни-стые глаза, и вместе с матушкой и Киром поспешил в конюш-ню, где сразу же, без заминки, раздалось согласное ржание жеребца Киргиза и кобылы Маруськи, лошадей, равных ко-торым ей Богу поискать; а кучер Опонас, бельмастый и рас-косый хохол распояской и в чоботах уже докладывал, что все де благополучно, и не без опаски выводил жеребца на во-допой: бешеный, поскрипывающий из-под усов зубами — у матушки и Кира изморозь шла по коже — зверь просто волок его на поводу к колодцу, и, случилось, с повода срывался — такой скаженный. Но охо-хо охо-хо, с усмешливой одна-ко же безусловной повелительностью охлопывал его в воздухе по ретивой вые Шаблюкин, и жеребец бил копытом в ковер и прятал здоровенные давно нечищенные — один золотой — зубы: с таким не пошутишь, понимал он. Возле него кис, держась за узду Опонас. «Проснись» так же, как и жеребцу, усмешливо и твердо говорил ему Шаблюкин, и хохол встряхивался: с таким не пошутишь, понимал и он. Шаблюкин же скуповато усмехаясь шел дальше, и под ноги ему бросалась Маруська, повидимому его любимица, повидимому умница — редкостная, я извиняюсь, сука: по коротенькому, только из угла рта, повелению встать, она вставала на ноги и с прижа-тыми к бокам локотками топталась на ковре, шумно и часто дыша от собачьей, вывалившей язык астмы; следовало новое, столь же небрежное приказание умереть, и она с послушной поспешностью валилась навзничь всеми четырьмя ногами —две в поношенных парусиновых туфлях — кверху, с тем, что-бы немного спустя — и опять по наказу — вскинуться к рез-вой, повизгивающей, подрагивающей на всех четырех ногах жизни, и скакать собачьим галопом за палкой, которую Шаб-

люкин, предварительно поплевав на нее, забрасывал в угол столовой. Он был нынче в ударе, как никогда, и матушка уже больше не смеялась, она почти плакала, а Кир дергался, бился на своем стуле в корчах репящего смеха с отвратительным — противу шерсти — повизгом: у него ломался голос.

Кончил же Шаблюкин тем, что на четвереньках подошел к матушке, почесал за ухом парусиновой лапой, и мотая из-за себя хвостом рукой, сказал: «Марь Николавн, отпустите крестника погостить!» — и матушка, несмотря на то, что времена были не такие, чтобы гостить, заранее обрекая себя на муки согласилась, согласилась старая дура на это путешествие: Шаблюкин мог бы заморочить голову хоть кому.

Кира наспех собрали, и через полчаса он и Шаблюкин ехали уже на извозчике к вокзалу. Шаблюкин, все еще не остывший после успеха — горбоносая шляхетского образца голова его с панскими усищами была вельможно закинута назад: и сам чорт был ему сейчас едва по плечо — хвастался, как он ловко объегорил матушку, и какая у него будет Киру лафа. Потом вдруг заскучал и поник головой; но когда на вокзале в блестящей, металлически режущей глаза путанице рельс не оказалось нужного поезда, он опять горласто оживился, метнулся туда, метнулся сюда — и разузнал все: где то в раскинутой обеими руками перед Киром степи какие то зеленые, при помощи натуженно горбящихся и покряхтывающих волов, наскоро развели железнодорожные рельсы, и сейчас же после того из-за поворота показался паровоз, наматывающий поршнелоктевым движением страшную курьерскую скорость; из окошечка выглянул было машинист, и ужаснувшись закрылся руками — конец: паровоз с разбегу ткнулся фыркающей мордой в уготованную ему ловушку, вскинулся кверху ногами, зашипел и повалился на бок, а за ним с зубовным скрежетом, исказясь в лице, влево и вправо начали валиться под откос вагоны с пассажирами — то, что и нужно было затаившимся в лесу бандитам. С ружьем наперевес и с ножами в зубах они бросились к вагонам — грабить и резать: Шаблюкин схватил Кира за горло, занес над

ним руку, в которой предполагался нож. Кир попятился; вокруг них быстро собрался народ, любопытствуя на цыпочках, за что бьют морду гимназисту, и Киру было ужасно совестно, а крестному — нисколечки: он еще раз, уже для всех, прикинулся поочередно степью-волом-паровозом — еще раз зарезал Кира, и высоко кидая перед собой белые башмаки, вея усищами, опять побежал куда-то: еще кое-что послушать, еще кое кому рассказать. Кир, прищурясь, вытянув шею, с близорукой опаской, бочком затрюхал за ним на своих голенастых полусогнутых в коленях ногах, и вскоре потерял в толпе и белые башмаки и усы: крестный провалился вместе с ними сквозь перрон. Кир заробел — он не привык, чтобы на вокзале его оставляли одного. Матушка никогда не оставляла его одного.

Он сел на скамейку под колоколом и начал дергать носом, и загодя изысканно терзаться грядущими ужасами: зябко сведя лопатки, он так и эдак, и через голову и с боку на бок, весь окровавленный и раздробленный до мозга костей, катился, перекатывался в воющей и вопиющей разными голосами, со всех сторон напиханной тычками и ударами тесноте низвергающегося под откос вагона — и весь покрывался гусиной кожей, когда зеленый солдат заносил над ним шаблюкинский нож: все это было воистину страшно. Но ему уже давно вот как надоела жизнь под мягко, но неумолимо повелительным попечительством матушки, вот так надоела: вгорячах он чиркнул себя ладонью поперек большого репящего кадыка — и затерзался еще невыносимее: милая моя матушка, милая моя матушка, — гнутый, голенастый, с рыхлыми глазами стыдливого блудника и плаксы, убивался он, и гнулся еще гнуснее, и совал под скамейку ножищи, и не знал куда девать свои бесстыжие глаза, милая моя матушка, милая моя матушка, со слезою шопотом, с полным и теплым носом, причитал он — и все же, ах негодяй, ах негодяй, был готов и на пытку стыдом и на пытку страхом: лишь бы уехать.

И все таки они поехали: не успел он отсморкаться, не поспел, не сходя со скамейки, но внутренне коленопрекло-

ненный, выклянчить у матушки прощения, как из-под колес поезда, стоявшего насупротив, со страшной поспешностью выдрался Шаблюкин, потный, с мазутными пятнами на спине, на штанах; был он под счастливым хмельком и опять с чортом за панибрата. Он еще раз наспех, на глазах у Кира распил только что выпитые полбутылки водки с симпатягой пистолетом и сукиным сыном машинистом, пообещавшим доставить его товарным поездом до Кущевки, и снова нырнул сам и потащил Кира за собой под колеса, ужасающие душу своей чугунолитейной неумолимостью (матушка не подпускала к ним Кира и близко). И что же делать, податься Киру было некуда — он пал на четвереньки и, подпихиваясь одной рукою, другой волоча за собой чемодан, полез под какими то, облитыми не то смолой, не то маслом, чудовищных размеров мерцающими крюками, рессорами, гайками; он полз, задыхался, одно большое сердце его билось, разрывалось в груди, два других маленьких колотились в висках, вспотевшие волосы выбивались из под козырька фуражки, лезли ему на лоб, чесались на макушке; он все время мучался мясницким хряпом нерасторопно задержавшейся и хряпнувшей под колесами ноги — и обязательно в самом чувствительном месте: в щиколотке — и не чаял унести отсюда своих ног и догнать расплывшегося в потных очках крестного, который впереди, в туманном отдалении, неутомимо вскидывал задом и перебирал под собой белыми парусиновыми туфлями. И что всего обиднее — спешили, задыхались, лезли под вагонами они совершенно напрасно: до отхода поезда симпатяги, сукиного сына и пистолета машиниста было еще далеко — его только что начали обряжать в путь: вдоль состава похаживал маслянистый железнодорожный старичок, и длинношеим и тонкоголосым молоточком выпытывал у колес, выстукивал их — здоровы ли? Паровоз пил воду. Потом старичок скрылся, от паровоза отняли хобот водокачки; но поезд опять не трогался: теперь ему не давали какого то благословляющего его в путь дальний жезла. Было несносно: солнце пекло, как через лупу, при помощи которой Кир, по

настоянию матушки, воспроизводил иногда на деревянной дощечке обезображенные черной оспой лопухи и китайские пагоды. Кир маялся на открытой платформе, верхом на чемодане.

Шаблюкин содрал с себя пиджак, выпростал из штанов длинную рубаху, и став по колени белым и коротконогим, два раза лазил на паровоз спрашивать насчет жезла, и там вымазался и совсем напился: медленно с сумрачной вдумчивостью глядя себе в башмаки, он едва дошел до вагона, едва перелез через борт платформы, и, привалившись к ней спиной, запрокинул навзничь пепельное лицо и захрапел, как повешенный: с открытым ртом, с закатившимися под лоб глазами. Кира обдало внутри душным ужасом; он отшатнулся от умирающего. И если бы машинист, тоже, конечно, хмельной, не подернул в это время у него из-под ног платформы, он наверное кое как соскочил бы с нее и бросился бы сначала куда глаза глядят и не видят, а потом домой к матушке, чтобы припасть к ее ногам, покаяться перед нею во всем, облиться своими и ее слезами и, счастливо отсморкавшись, заняться марочной коллекцией или морокой с выжиганием; но состав рванул так, что он замахался руками, а правая его нога задралась выше головы и сама собою молодецки притопнула: он едва усидел на чемодане. Крестный смирно, как кукла свалился на бок. Поезд с головы до хвоста перечесался буферами, и его с ржавым скрежетом подернуло вторично. Кир опять замахался, задрался, притопнул; а когда он наконец справился с чемоданом, с ногами и поправил пенснэ, прыгать с платформы было уже немыслимо: внизу под вагонами округло враскат рокотали ужасные колеса, мимоходом с глаз долой смахивало фонари, стрелки, стороной, стороной хоронился, отплывал за хвост поезда вокзал, а крестный, как ни в чем не бывало, сидел на прежнем месте и разбирал обеими руками усищи, как ни в чем не бывало шляхетски вальяжный и может быть даже не пьяный. Впрочем, вскоре голова его опять запрокинулась, и он опять захрипел-захрапел висельником. Кир опять было ужаснулся, но не так, как в прошлый раз, до душного онемения, а совсем в меру — по-

мирать то крестный повидимому не собирался; да и не до крестного было ему теперь: поезд разошелся, разрокотался уже во-всю — телеграфные столбы только отпрядывали от него. Продольный, соломенной сухости ветер хлестал, сек Кира по щекам, завиваясь погрохатывал в ушах, трепыхал, рвал с носа пенснэ, Кир одной рукой все впихивал, все всаживал пенснэ поглубже, по самую дужку в переносицу, другою держался за чемодан, сжимая его ляжками и не чувствовал его под собой, не чувствовал самого себя — невесомого, зябкого, неведомо куда со свистом и грохотом летящего...

О самой Кущевке Шаблюкин упомянул как то мимоходом: местоположение курортное, воздух — изумительный, — и наврал, ах как наврал: она была ужасна эта Кущевка, этот захолустно попахивающий полынью с бурьяном, запросто поквакивающий вокруг, запросто погавкивающий со всех сторон,подвально отсыревший к ночи поселок. Ужасен скудостью своего фасада был и дом, полутораэтажный неудачник, с очами крест накрест заложенными тяжелыми болтами; ужасна была даже луна над его трубой: Кир отродясь не видал таких захолустных лун — багровая слегка дымящаяся, издревле степная, она остывала и дымилась тут с времен татарских наездов, и томила души собак, лягушек и случайных проезжих длинною тоскою. Кира так и подмывало взрыднуть против визгливой шерсти: такая дичь, такая дичь. Шаблюкин лягал ногами, бухал кулаками в ворота, внутри во дворе гавкала, скреблась лапами в калитку собака, и с улицы и вскачь и рысью подоспели какие то другие собаки; они яростно горбились, припадали к земле клацающими мордами, сверкали глазами, кипенью зубов, захлебывались, норовили куснуть — помертвевший Кир загораживался от них чемоданом: матушка в свое время предупреждала его также насчет икр и насчет бешеных собак. Шаблюкин искал на земле камней, камни под руку не попадались, он ругался,

умолкал, лез на ворота. И им едва отворили: нестерпимо до задыхающегося исступления (которое переливалось в почти свирельно нежное воркование) ненавистный Опонас, эта чортова мазница туда его мать Опонас — едва волок и едва приволок за собой свои медлительные загребающие по булыжникам чоботы до ворот, едва нашел сонным ключом влагалище замка; Шаблюкин тяжко дыша пролез в распахнувшуюся калитку во двор, но задушить хохла не поспел: распластанная в воздухе собака бросилась ему на грудь целоваться. Он пихнул ее к чорту рукой, пихнул ногой: она бякнулась на гулкий бок, потом вскинулась на четвереньки и убежала во тьму двора, причитая, какая она визгливо бедненькая, бедненькая собачка. Это была Маруська.

Шаблюкин, а за его мелькающими белыми башмаками едва поспевающий, совсем осовевший Кир, поднялись по высоким — Кир из последних сил задирал ноги — ступенькам, миновали застекленную галерейку, покрытую на полу лунной сетью удлиненных и скошенных ячеек от оконных рам, и вошли в непроглядную, густо настоенную на яблоках комнату: здесь крестный долго чиркал, слепил глаза спичечными вспышками, плевался в обожженные пальцы — искал лампу, будь она трижды анафема проклята. Кир посапывал, ноги его подгибались в поджилках, он оглядывался — куда бы рухнуть, приткнуться, забиться — и так, покачиваясь и посапывая, может быть, и вздремнул на мгновенье: лампа, когда он вяло тому удивился,пылала уже во-всю бушующим внутри стекла чадным смерчем, а резко, до сокровенных пор, до глубины морщин, до длинных мешков под глазами разоблаченный и состарившийся Шаблюкин прикручивал, укорачивал ей не в меру длинный язык — и прикрутил, укоротил таки его: лампа одумалась и засветила тихим, домашним светом кротости и постоянства. Лицо Шаблюкина помолодело, смягчилось, он загрустил: за день набушевался, притомился и он.И сейчас же из дверей, о которых и спросонья и сослепу Кир и не подозревал, вышла женщинка в черной с головы до полу шали, бело- и мелколицая, и такая маленькая, такая

маленькая, что Кир, несмотря на свою посапывающую со слюдяными очами истому, вяло оживился: да не может быть. Кажется, и вероятно впервые, удивился тому и Шаблюкин. «Моя жена» — тесным, для пущей светскости — голосом сказал он и водянисто уставился перед собою. Женщинка, подумав, высунула из-под шали ручку; Кир ринулся вперед, согнулся вдвое, очень, очень приятно клюнул ручку носом и навис над женщинкой согбенный, длинный, осклабленный поперек веснушчатого, довольно пригоженького рыльца, весь вежливенько кхе-кхе-сотрясаясь: он ждал ответной очень-очень-приятности. Но женщинка безмолвствовала, и тогда Шаблюкин через пень колоду, абы как, лишь бы отвязаться, полез к ней обниматься; при этом он нерадиво бормотал всякие приветственные междометия. «Мифа» погодя гундосенько сказала женщинка у него из-под усов «ты опять пил?» — Я? — вяло не очень, так себе вскинулся, удивился Шаблюкин — Я? «Босявка, босявка» сердитенькой гундосенькой скорописью зачастила женщинка — «У тебя же ребенок!»

Препираясь, они, кажется — Кир, прозевал, проспал ушли, а Кир сел на приглянувшийся ему диванчик, взялся за свою — и его и не его — гулкую, пылающую обветренными щеками голову и кое-как пристроил ее у себя между ладонями; но забыться хоть на минуту ему не позволил в тот же миг возникший перед ним Шаблюкин. Бормоча что то о том, что не женись брат, ну его к чорту, не женись, он помог Киру вылезти из рубахи, выпростаться из штанов, содрать с ног полурасшнурованные ботинки, и дунув в лампу, сгинул вместе с нею в керосиновом чаду кромешной тьмы. Кир согнулся на диванчике поворковывающим от сонного вожделения калачиком, натянул на себя оставленное ему навек не с руки, навек не по душе ему одеяло, уткнулся в навек чужую, навек из души вон, кисленькую подушку — и тотчас же под веками, в самой глубине зажмуренных глаз его, еще глубже — в мозгу, еще глубже — в мозжечке его, полыхнуло зарево заката, и замелькал черный частокол нынешнего, давно верст за сто отсюда отмелькавшегося, но

все еще мельк-мельк-мелькающего призакатного, прижелезнодорожного леска, на давно верст за сто отсюда угасшем и все еще нестерпимо пылающем небосклоне. И избавиться от этого наваждения не было никакой возможности: Кир отмахивался от него головой, переваливался с боку на бок, открывал глаза — тошнехонькое мельк-мельк-мелькание пересекалось; но стоило ему опустить веки — сгинувший было частокол снова, с только что прерванного места, обретал свою рвущуюся поперек заката прыть. Кир опять переворачивался; и пока он хитрил и увиливал от наваждения, у него по самые колени — как тут ни хитри, ни подбирай под себя озябшие ступни — укоротилось одеяло и выскользнула из-под самого носа кисленькая подушка: ее — он ощупью тыкал пальцами вниз — не было ни справа, ни слева от него. Растерянно репя горлом, он слез с дивана и, как лунатик, с вытянутыми вперед руками и запрокинутой головой, замедленными полушажками пошел по направлению к двери на галерейку — подзанять оттуда лунного свету. Но с комнатой в кромешной тьме что то произошло, — она таинственно раздалась во все стороны: он подшаркивался, подшаркивался, а дверей в емкой тьме все не было и не было; он останавливался, потыкивал руками — пусто; он свернул в сторону, заспешил и окончательно заплутал: всюду было емко, пусто, непроглядно. Сгинул, как только Кир отвернулся от него, даже диван.

Кир заметался по комнате, и на каждом шагу ожидал подвоха и удара — и дождался: его вдруг пребольно клюнуло в самый чувствительный палец на босой ноге — средний, а когда он, ахнув, нагнулся, чтобы схватиться за бедный пальчик, со вспышкой и хряком полыхнуло по лбу; он еще раз ахнул, попятился и задом наперед вперся, нарушил хрупкое благоустройство сложенных горкой яблок — холодное яблочное стадо, обтекая его икры, кинулось в гулкую и глупую повсей комнате рассыпную; и он молитвенно сцепленными пальцами слушал (хотя и старался при помощи давней с раннего детства взлелеянной сноровки, сужая некую внутреннюю раковину в ухе, приглушить уж слишком расшумевшуюся беду)

этот ужасный, дурацкий, перекатывающийся гул — и ждал: вот сейчас откроется дверь, и на пороге с лампою в руках возникнет гундосенькая недоброжелательница. Однако же гул благополучно докатился до самых дальних углов, постукался там и утих, а гундосенькая не появилась. Кир передохнул.

Потом он опять искал двери, искал диванчик, и все время наступал и оступался на яблоках, твердых и холодных, как биллиардные шары; и дверей он так и не нашел, а диванчик, одумавшись во тьме, сам ткнулся, поклонился ему в ноги. Страшно обрадованный Кир схватился за него обеими рудами, осторожно наощупь взобрался на него, и не помышляя более ни о подушке, которой попрежнему не было, ни об одеяле, которое тоже успело улизнуть, кое как, с коленями, с носом, с головой, зябко и поглубже влез в самого себя, скрюченного калачиком — но было уже утро: в стене свежо голубели два отрешенных от давешних болтов и ставней окна, по полу босой, в белой до пят рубахе, ползал на четвереньках Шаблюкин: он руками и ногами загонял обратно в стадо разбежавшиеся ночью по всей комнате яблоки, будь они трижды анафемы прокляты. Поутру комната совсем утратила свою ночную загадочность и емкость: спозаранку и на поверку она оказалась самой обычной, даже ниже среднего и у́же среднего комнатушкой; и было просто уму непостижимо — Кир диву давался и глазам, очам своим не верил, где и как он мог тут плутать, ужасаться, искать и не найти дверей, тыкать пальцами в пол и не наткнуться на подушку, не доглядеть за одеялом: двери на веранду были в трех шагах от него, подушка белела брюшком на полу на полшажка от изголовья, а одеяло вообще никуда не рыпалось: скомканное, серенькое и смирное оно не дышало у него тут же под боком. Преглупо, конечно, получилось и с яблоками — разбежались, будь они трижды анафемы прокляты; и еще глупее, еще несноснее было то, что они никак не желали собраться в согласную кучку снова: помогая крестному укрощать их, Кир осторожно пальцами за хвостик одно за

другим пристраивал их сверху — но чорт побери, какая же ты все-таки шляпа, бесился крестный: проклятые яблоки, как живые, как на зло скатывались обратно на пол, и их приходилось догонять на четвереньках, на коленях унижаться перед ними, и все это до слез, до сердцебиения было несносно. Кир едва не ревел. Да и все остальное с самого утра было не то, совсем не то, что наобещал ему крестный — все было хуже и неудобнее, чем дома: не успел он не дыша отчураться от яблок и выйти на цыпочках на галерейку, там, вместо привычной с детства лицом к лицу зеркально чистой встречи с умывальником, ему пришлось близоруко столкнуться с жестяной рожей какого то бака, которому было решительно на все наплевать: он брызгался, поливал струйками во все стороны и особливо подло в рукава под рубахой, и пересыхал, умолкал, как только Кирова ладонь, вместо того, чтобы подпихивать кверху его медный, столь неряшливо все вокруг орошающий пестик, была занята чем нибудь другим, ну, скажем, намыливанием — и тогда брала оторопь: как же быть? Не было в доме и клозета: из дальнего угла двора нет-нет да и несло пресной вонью давным давно заслуженного нужника. Дуя самому себе под нос, Кир едва оттуда выбрался. Они то и были, пожалуй, омерзительнее всего, эти откровенные — и не только из нужника — без зазрения совести вывороченные наизнанку деревенские запахи: кисло ячменный из свиной закуты, где с десяток, в ряд, подряд, влёжку с грязцой и сыпью сквозь щетинку розоватых поросят высасывали здоровенную свинью, закатывающую под лоб счастливейшие бельма (здесь Кир зарекся никогда, никогда не есть свинины); парной и молочный с утробным и затхлым теплом дымящихся лепешек, которые, горбясь от натуги, вываливали из себя слюнявые по колени коровы (тут Кир и сам обслюнясь, клялся никогда, никогда не пить молока). И, конечно, его сейчас же позвали на галерейку завтракать — и конечно же: на столе стоял кувшин с молоком, и от молока несомненно попахивало выменем и — подозрительно

— навозом, а от сала, нарезанного ломтиками — вне всякого сомнения поросячьей щетинкой.

Кир кое как, с обильною слюною пополам, глотал молоко, совсем не ел сала, и едва видел, едва слышал, — словно был он без рассеянно позабытых где-то очков, а в ушах у него была зубоврачующая вата, — крестного, задушевно и убедительно наставляющего за трапезой матушку, как быть ей с процентными бумагами, куда направить Кира на его первопутку к самостоятельности (Кир в следующем году кончал гимназию). Крестный советовал матушке политехнический институт, озабоченная матушка, вдумчиво покачивая головой, с этим соглашалась; разговор их подходил все задушевнее, и всякое мило женское — от несмышленности — матушкино возражение, почти без сопротивления сдавалось на снисходительную милость неопровержимых доказательств крестного. Разговаривая и за нее и за себя, он за нее и за себя пил гукающими глотками молоко, один за двоих пожирал сало, утирал усы корочкой и кидал корочки в шумный, с сапом жующий рот; рядом с ним сидела его надутенькая гундосенькая жена недоросток, а на руках у нее повякивал младенец, точь в точь такой же — и ротиком и носиком — как она, и совсем уже никудышный: подслеповатый, старенький, ростком в поларшина. Щедро, с излишком, с утра напуганный деревенской напоказ беззастенчивостью, Кир терзался ожиданием самого худшего: когда младенец сделает бяку и его тут же за столом начнут разворачивать, утирать, разглядывать пеленки, и, конечно, дождался: разворачивали, утирали, и у него к горлу, еще выше — к гортани подкатывало скисшее молоко, во рту пенилась слюна. И по горло и даже до гортани занятый всем этим, он совсем выпустил из вида и Шаблюкина и матушку, и окончательно оглох для их разговора; женщинке же вообще гундосенько было начихать на всякие брехни — и разговор, лишенный животворящего и благосклонного подзуживания со стороны, хирел, хирел и захирел вчистую: доселе творчески удачливый и непогрешимый Шаблюкин где-то замешкался при перемене

личин, все чаще оступался в диалоге, с лица матушки постепенно сходило очарование женской доверчивости к его всезнайству, она начинала злиться, говорить ему колкости, и он не оставался перед нею в долгу — тоже огрызался. Под конец они почти возненавидели один другого: дух матушки снялся и отлетел от стола, а Шаблюкин насупился и сытно, с отрыжечкой, со спичкой во рту заскучал. «И все ты врешь!» сказала гундосенькая. «Я?» — как накануне, не очень возмутился, не очень удивился Шаблюкин. Женщинка молчала: ей было начихать. «Унылый чорт!» — взгрустнулось Шаблюкину.

Потом осматривали конюшню, и конюшня оказалась вовсе не такой, как в столовой, в день отъезда, когда матушка и Кир, загодя запуганные конновзбрыкивающими опасностями, осторожно жались к стенке, подальше от ясель, от перегородок, за которыми, сотрясаясь, грызя цепи, скрежеща зубами, раскидывая кремовые клочья с удил, бесновались жеребец Киргиз и кобыла Маруська; конюшня, если пренебречь едким запахом извозчичьей стоянки, что неподалеку от Кирова дома — была даже приятно сухо пахучей, уютной и непроглядной тайной сеновала, двумя палевыми лучами, в полумраке пронизывающими ее из солнечного сквозняка в черепичной крыше до земляного пола, до ярчайшего пятна на нем, где в угольно черной жижице ослепительно плавилась золотая соломинка. И лошади тоже были, как лошади, такие же, как у извозчиков на углу, на стоянке: они и не думали сотрясаться, ржать, бешено грызть удила — преспокойно поматывали себе хвостами, переминались на всех четырех своих ногах и что-то жевали, двигая челюстями не так, как мы, вдоль лица, а совершенно верно, совершенно верно: — Кир вытянул шею, закивал головой — поперек, да поперек, согласно учебнику естественной истории; а обещанного хохла в конюшне и вообще не было — и было просто уму непостижимо, куда же он будь он трижды анафема проклят провалился: Шаблюкин орал из дверей конюшни, сбирая вопли между приставленными к щекам ладонями, орал просто так во всю

глотку — и все понапрасну: хохла не было — провалился. Вести же лошадей на водопой, кроме хохла было некому, и поорать, кроме как на хохла, тоже было не на кого, и некого было хозяйственно осадить твердым усмешливым голосом, — плюнув, Шаблюкин сам пошел за перегородку к лошадям, чтобы хоть там хозяйственно и для себя и для Кира побушевать. Очень неплохо, со всеми повадками дошлого лошадника, прикидываясь почти что барышником, он и охохокал лошадям, и охлопывал их, как надо и где надо, и, самое удачное, — бурча хватал их за ноги, доискиваясь у них под копытами каких-то мокрецов. И Кир и верил и не верил в его почти барышническую расторопность, а главное ему было жаль лошадей. Большие, добрые и настороженные, они долго терпели всё — и беспокойное и отвратительное присутствие человека под брюхом, и пинки, и шлепки, и хватание за ноги, и всякие другие глупости; но когда Шаблюкин, подзадоренный их лошадиной безответностью, начал проделывать с ними Бог знает что — раздирать губы и заглядывать им зачем-то в рот — припертая к стене Маруська вскинулась на дыбы, замахалась поднятыми кверху руками, и как знать, не удержавшись на натуженных ляжках, может быть и рухнула бы всем своим огромным, вздыбленным телом на крестного, если бы тот, задрав башмак, не поспешил в один бело-кругообразный миг перевалиться через перегородку: он здорово струхнул (так же, как и Кир). Ослепленный и оглушенный позором, он всё охохокал и охохокал, не зная, как же быть ему дальше — плюнуть ли и выйти из конюшни или еще охохокать: уходить было все-таки не того. И он охохокал и охохокал всё тупее, всё невозможнее, а Кир терзался и за него и за себя, и выйти из мучительной конюшни не было никакой возможности: ни ему ни Шаблюкину. Мучились они (а может быть Кир за двоих) ужасно.

«И шо вы коней мордуетэ?» с неспешной брезгливостью и без особого любопытства вопросило вдруг над ними. Шаблюкин и Кир одинаково вздрогнули, одинаково с облегчением — разрешенные от мучительного ни туда и ни

сюда столбняка — вскинули головы к сеновалу: там в полумраке между поднятыми и сдвинутыми до ушей ситцевыми плечиками — он лежал на пузе, упершись локтями в доски под сеном — серело мелкое и скопческой и монгольской кислости, чуть тронутое белесенькими книзу усиками лицо хохла. Глаза его, один с бельмом, глядели врозь и с отвращением: ему давно остобисило на этом свете всё — и волочить за собою ноги в чоботах, и лежать на пузе, и глядеть на Бог зна що. «И шо вы коней мордуетэ?» еще раз спросил он и совсем расслаб от вяленького отвращения — так ему всё остобисило. «Я?» — неопределенно, прислушиваясь к самому себе, спросил Шаблюкин. Хохол молча закрыл глаза: очи бы вас мои не бачили. Он задремал. И уже сколько ни орал потом, стряхнув с себя малодушную оторопь, крестный, сколь ни преувеличивал он в нарастающей гамме свое уязвленное разгневанно вопиющее я, — связанный тягостью дремотного онемения, хохол и ухом не вел и глаз не открывал — дремал себе и дремал: неподвижная, вяленькая, носом в сено, бесчувственность его не дрогнула даже после того, когда его трижды — и каждый раз всё — медноголосее и показательнее — за шиворот и коленом в задницу — вышибали из конюшни: он тогда дремал себе на сене и дремал. И тогда уже не выдержал Шаблюкин — затряс кулаками и бросился из конюшни вон. На пороге ему подвернулась под ноги Маруська, он сладостно пихнул ее в морду, она шарахнулась, заойкала; Шаблюкин пугнул ее матом и еще машистее бросился дальше; и Кир в вязкой тоске непротивления, бочком, с вытянутой шеей поспешал за ним: он не мог оторваться от того незримого вервия, на котором второй день уже страшноватый ему крестный, неизменно поспешая с неутомимой и неумолимой стремительностью волок его за собою: по перрону, под колесами вагонов, ночью с вокзала, и вот куда-то волок и сейчас. К дому? Нет, не к дому: Шаблюкин промелькал башмаками мимо крыльца, кинулся в уменьшившуюся против вчерашнего вдвое калитку, и согнувшийся вдвое Кир по-

корно пролез за ним на улицу, так же, как и всё в Кущевке, к утру после лунного наваждения измельчавшую — укороченную и суженную. Бешеных ночных собак там уже не было: по дороге завивались, ходили вприсядку, пыльные бесы. Было безлюдно.

Шаблюкин всё с тою же размашистою поспешностью, всё на том же невидимом вервии волок Кира через весь поселок и приволок его на почту, а зачем? Кто же его знает, зачем — пожалуй, только для того, чтобы затеять тот непонятный, тронутый налетом некой скверны, бранчливый разговорчик с почтмейстером Чекмарем, который Чекмарь, весь с ручками и носиком, с глазками, затаившийся в черноморовой бороде, малюсенький лысый поганец, отлично понимал, одобрял и которым наслаждался; он ловко, налету подхватывал, разгадывал самую замысловатую заковыку, и отвечал на нее Шаблюкину еще пакостнее, еще сокровеннее закутанною в семь одежек заковыкою; и вежливо и улыбчато переминающемуся Киру нечего было и думать разобраться в ернической замысловатости этой беседы. Скверно шаловливая, она кишела шутками и прибауточками то вокруг да около каких-то комиссионных за проданные каким-то мужичкам боченки — повидимому не очень то чистого дельца, смухлеванного не так давно крестным и Чекмарем в четыре руки; то — Кир из вежливости улыбался: понятно, мол, — вокруг да около каких-то дутых векселишек которые кротко и присноблаженно с головкой набок потрескивали, ах как потрескивали в раме почтового окошечка: Чекмарь просто таял от издевательской святости. «Брехня, брехня», — водянисто наглея отбивался от него Шаблюкин, но Чекмарь еще присноблаженнее вздыхал: «расскажите вы ей, цветы мои»; и Кир опять улыбался — понятно, мол, — хотя ничего понятного во всем этом не было, и Шаблюкину и Чекмарю совсем ненужна была его улыбчатая лепта. Было им не до него: после комиссионных, бочек, мужичков, после иконоподобно потрескивающих векселей и оперных цветов, о которых Кир наслышался зимою от певца на концерте в

пользу недостаточных учащихся, они, не мешкая, дружно занялись поклонением каким-то мощам: «Прикладывался, прикладывался?» с теноровой иерейской благостностью вопрошал Чекмарь; «сподобился, сподобился», — и консти и диаконски, выгибая выю, вырыкивал Шаблюкин — и это было, пожалуй, как ни улыбайся, самое потаенно гадкое из всего того, что переминаясь пытался понять и не мог понять Кир: что-то исподтишка его касающееся, чем-то ему враждебное. Он задергал носом, собираясь начать терзаться; но тут Шаблюкин схватил его за локоть и потащил к окошечку — знакомиться с Чекмарем; и Кир охотно и наспех, позабыв терзаться, раздался в добрющей — вареником кверху — улыбке и закланялся находу. «Истина, добро и красота», — орал Шаблюкин и усато носато шляхетская голова его заваливалась навзничь от клокочущего из него гогота. «Очень приятно, дрей-унд-дрейсиг», — загадочно сказал Чекмарь, и, показалось Киру, протянул ему руку; Кир осклабленный от вежливенькой и потряхивающейся от очень-очень приятности сунул было в окошечко свою простосердечную лапищу — и ошалел, ослеп, оглох: протянутая рука Чекмаря как-то дьявольски проворно спряталась ему в бороду, словно (а может быть и на самом деле) он никогда ее Киру и не протягивал. Кир, недоумевая, как же быть теперь со своею обманутою рукой, весь в багровом жару, с иголочками стыда, которые лезли у него из лопаток, ягодиц, икр, со слезами из-под устыженных вспотевших очков, попятился — и снова ошалел: рука Чекмаря опять тянулась к нему, как ни в чем не бывало — словно (а может быть и на самом деле) она никогда в бороде и не пряталась. Кир почти ликующе, и про обиду на радостях позабыв, опять шагнул к окошечку, кхе-кхе-кхе очень-очень приятно закланялся, и рукопожатие, слишком уродливо поспешное с его стороны — за которое он с запозданием на пол-сотых секунды оскорбился — и вяло пренебрежительное со стороны Чекмаря — за которое было ужасно совестно тому же Киру, а Чекмарю хоть бы хны — наконец состоялось. И всё это

было так странно, так нехорошо, — Кир терзался: сначала с закушенным пальцем на ногте, а потом с распяленными врозь руками на улице, на шатких кочках, не поспевая за Шаблюкиным и Чекмарем. За разговором Шаблюкин ухитрился уже взобраться там на вчерашний паровоз: правая рука его наматывала сбоку бешеную, верст на сто в час, скорость, и паровоз, почти не касаясь колесами рельс, летел, свистел, качался; и летел, свистел, качался посредине улицы и Шаблюкин, а возле него едва стоял на ногах пьяный, понимаешь ли, в дымину машинист. Губы его висели, он покачивался, и оставить его наедине с машиной нечего было и думать; и, отстранив пьяницу, Шаблюкин сам взялся за рычаги, с зорко приставленной ко лбу ладонью всматриваясь вперед, чтобы не налететь или на бревна, положенные поперек пути или не уткнуться в гибельную пустоту между разведенными рельсами, как тот поезд, который, между прочим, через плечо видели мы с Киром на третьем или четвертом перегоне. Шаблюкин нагло мельком взглянул на Кира, — Кир оступился, и, не помня себя, пал на одно колено и начал завязывать башмак, хотя тот и не пытался развязываться. Щеки его обвисли, рдели, он что-то делал со шнурками, с башмаками, и не видел шнурков, не видел башмаков, и ничего не мог поделать со своими растерянными, невесть что плетущими и заплетающимися пальцами, тем более, что на них сверху неотрывно связующе глядел приостановившийся и загадочно безмолвствующий в своей бороде Чекмарь. Было ужасно — тягостно, вязко, и, как давеча в конюшне, — ни туда и ни сюда; и слава Богу, что Шаблюкину, которому тоже было не того, снова взобрался на паровоз и без оглядки заработал локтем верст на сто в час: всё равно куда, лишь бы не стоять на месте дурнем, а там — что будет. Он мотал локтем, из-под ладони озабоченно вглядывался в даль — не видать ли волов, развороченных рельс, бандитов; раза два он останавливался, понапрасну пытаясь заглянуть в глазенки попрежнему отвратительно безмолвствующему Чекмарю (Чекмарь заглянуть се-

бе в глаза не давался, прятался в бороду и безмолвствовал). Шаблюкин, весь в поту, с отчаянием всеми оставленного набедокурившего шалопая, орал, мотал, катил по рельсам дальше; и остановиться, пристать к конечной станции взбалмошного повествования, передохнуть, он не мог, ну ни-как не мог: подло податливое, подмывающее молчание Чек-маря рождало в нем всё новые и новые позывы — мотать, орать, катиться к неминуемой погибели. И если бы Чек-марь хоть раз не выдержал бы — и ему, видит Бог, было нелегко — и обмолвился и поддел бы его пусть бы самой подлой, самой унизительной заковыкою, занедуживший без-молвием Шаблюкин мигом бы обрел прежнюю резвую свою сопротивляемость и слово по слову, зуб за зуб вернул бы подлецу обиду сторицею; но Чекмарь до конца донес, сберег внезапно обретенную им нынче благодать неуязвимого и неторопливого шажок за шажком достоинст-ва: у шаблюкинских ворот, сдержанно кобенясь, он припод-нял над маленькой голой головой огромный форменный кар-туз почтово-телеграфного ведомства, и пошел прочь на пря-мых ногах, ибо от гордости — окостенел. Шаблюкин, упи-ваясь подонками самоунижения, всё еще что-то сулил ему в спину, — а что сулил, Кир не слыхал: он опять невыноси-мо терзался сам, терзался за крестного, терзал шнурки ботинок. Когда же он под малокровный головокружительный перезвон разогнулся, Шаблюкина возле него уже не было, а голова Чекмаря — картуз с бородой — торчала на колу плетня, что за поворотом. Затем, разминаясь от окостенения, Чекмарь скоком боком выскочил из-за плетня на дорогу, скоком-боком прошелся по ней, и его подхватил, завертел, запорошил Киру глаза большой завивающейся воронкой, во всю разошедшийся пыльный бес. И понятное дело: пока Кир потом отплевывался, да протирал стекла пенснэ, да тер кулаками глаза, их и след простыл: и беса и Чекмаря. И всё это было так странно, так странно — пожимал плечами, прилаживал пенснэ на носу Кир; а может быть ничего этого и не было? — рассеянно, одна нога во дворе,

другая еще на улице, дергал он носом в калитке, и, наконец, в тягостном раздумье вторую ногу за собою втянул — и тут спохватился: а где же крестный? На улице его не было, во дворе тоже не было: скрюченный позором, он где-то кряхтел, кусал себе палец — Кир покряхтел и немного покусал согнутый в суставе указательный палец — или еще хуже: Кир обмер и опережая опасения затрюхал к конюшне, где на сеновале — там-то, судя по повестям из крестьянской жизни, всегда это и случается, — в сумеречном воздухе под балкой белел летними штанами вытянувшийся на смертном смотру, с руками по швам, Шаблюкин; голова его была завалена, рот широко, с клекотом и храпом полуоткрыт, как вчера на платформе. Не стерпев позора, он только что повесился, и, может быть, даже и не хрипел уже — рассмотреть что-нибудь со свету на сеновале было невозможно, а лезть туда запыхавшийся Кир посовестился; да неизвестно, пустил бы его на свои сенные полати Опонас: он только что сполз оттуда и собирался вести лошадей на водопой — думал, думал и надумал: напуваю. Попрежнему, и даже пуще прежнего вялый и брезгливый, он отвязал жеребца, пошел к выходу и по дороге мазнул Кира плечом или случайно, или оттого, что и Кир ему остобисил. Кир сказал «пардон» и попятился: за Опонасом шел, тяжело топая копытами по настилу конюшни Киргиз, освобожденный беспечным хохлом от цепей, каких-то там уздечек и недоуздков и всего прочего, сдерживающего его затаенное буйство. Возле Кира он остановился — у Кира по телу полезли, откуда полагается, иголочки; но жеребец, слава Богу, не укусил его — только понюхал, пожал плечами и затопал за Опонасом к колодцу; а за ним, с опаской — не подходи мой друг близко к лошадям — пошел к колодцу и Кир: все идут, пошел и он.

Там оскалясь и искривясь от любопытства, он долго, с длинною шеей, глядел, как жеребец пьет воду: а тот пил, тянул в себя сквозь зубы всласть, не спеша, словно была в ведерке не вода, а какой-то особливо вкусный и студеный

лимонад — пил, и внизу у него, в ложбинке между щеками и вдоль горла под шерстяной кожей волнообразно после каждого глотка переливалась вода, и даже, если прислушаться, побулькивала, но не так, как утром булькало за завтраком молоко у крестного, с каким-то гукающим звуком, а только слегка, прохладно и вкусно; чудесно было также неторопливое достоинство милого зверя: славно и сладко вытянув с полведра, он поднял из посудины и отвел в сторону мокрую до замшевых ноздрей морду — малость передохнуть, немного подумать; и он вздыхал, думал, и то на шее, то на груди, то на боках сбирал кожу подрагивающими морщинами — там, где ему хотелось почесаться, а почесаться было нечем; мягкие — черные с серым — губы его в редких усах и с непротивными бородавками пошевеливались, будто пришептывали, и с них падали длинные, недопитые, чистые капли. И повanивало и попахивало от него чем-то кожано-ременным (хотя никакой сбруи на нем не было) и чем-то темно коричневым (хоть и был он серой масти) и вообще чем-то не до жирного свинского до отвалу, а в самую меру — плотским, подобранным и крепким, от чего Кира так и подмывало лошаднически поохохокать и осторожно, чтобы жеребец все-таки не куснул — потому что лошади кусаются — похлопать его по вые, восхитительно пахучей, восхитительно могучей и каучуковой наощупь. И он похлопал и поохохокал. Жеребец — ничего: молчал, думал, ронял капли; рядом с ним и глядел и не глядел на него, на Кира, на всё на свете, и плакал одним глазом над цигаркою прищурившийся Опонас. И всё бы и обошлось по хорошему, если бы в дело не вмешался бы чорт, тот самый, с которым крестный был за панибрата: он-то и подбил Кира — так же, как утром и крестного — оборотиться почти барышником. Кир и оборотился, и, казалось бы, очень удачно оборотился: «Справный жеребец», — неплохо совсем неплохо начал было он, щетинистым репящим баском, но, конечно, тут же и сорвался с баска на омерзительный повизг и густо и душно по самую зачесавшуюся макушку

налился жаром; но и это было еще так-сяк, хоть с трудом — терпимо, самое же невыносимое произошло потом, когда Опонас с дурацкою (однако же чем-то и милою) вкривь, вкось, вниз, слегка слюнявою с цыгаркой в уголку рта улыбкою, и со слезами в одном глазу, не спеша, выворачивая е обычное в э оборотное, и усекая жеребцу хвост мягким знаком малороссиянина, оборотил жеребца Киргиза, бо не жэрэбець, а кобыла — в Маруську: мужественная морда доселе несомненного жеребца в одно волшебное мгновенье обрела вдруг нечто женственное, кобылье, и даже в походке лошади — на обратном пути в конюшню — появилась поигрывающая, повиливающая хребтом и бедрами изящная четвероногая женственность. Это было невероятно — такой скандал: Кир закусил палец, и объятый одуряющим пламенем стыда, отошел от колодца, потом, кажется, миновал двор, кажется, поднялся по ступенькам и, споткнувшись на пороге яблочной комнаты, наконец вполне обрел себя в двух шагах от крестного: Шаблюкин и на самом деле — голова запрокинута, глаза закачены под лоб, рот полуоткрыт — хрипел захлебывался перед ним в кресле, может быть и на самом деле полумертвый (не повесившийся, а, скажем, отравившийся). Кир выпустил изо рта палец, зарепел горлом, попятился, а крестный без всякого стеснения, без всякого замешательства — будто бы он и не хрипел и не закатывал глаза — шляхетски вальяжно одной рукой вдоль усов приосанился и сказал, что эту гниду Маруську нужно обязательно трахнуть: он словно продолжал давний, только на одну минуту перед этим вздремнувший, разговор. И Кир легко, уже по привычке оправившись от начального душного страшка, не очень удивился его столь мгновенному не то пробуждению, не то отрезвлению, не то воскресению из мертвых — не впервые; разобраться же в том, какую Маруську — собаку ли, двуликую ли кобылу — нужно трахнуть нечего было и думать: Шаблюкин заслюнявившимся голосом орал уже про обед, потирал руки и потряхивался от мелких страстишек — хлопнуть по рюмашке, запихнуться малосоль-

ным огурчиком, навалиться на борщок. Следов терзаний после поражения, нанесенного ему Чекмарем, на нем не примечалось: за обедом он и водочку вплескивал себе в рот и огурчиком хрустел с отменнейшей охотой, вполне безмятежного обжоры и мухобоя, а когда водку со стола убрали («Мифа довольно», — прогундосила женщинка) припал к тарелке ярко-рыжего борща, и не поспел Кир протереть очков и взяться за свою ложку, как он, с заржавевшими от помидоровой накипи усами, сальной самозабвенной скороговорочкой потребовал: еще одну тарелочку, еще одну тарелочку. И, дейстсвительно, борщ был очень хорош: ах Маруська, ах Маруська — ел да похваливал, и не мог нахвалиться, не мог наглядеться из-под задранных бровей Шаблюкин на кого-то, возникшего или возникающего у Кира за спиною. Кир обернулся — и, вот оно, вот оно, крупно забухало у него большое сердце в груди; вот оно, вот оно, забились два помельче — в висках: со двора на галерейку под это сердца буханье, под это сердец биенье, по ступенькам толчками поднималась сначала рыжая голова, затем голова и туловище с кастрюлей и расставленными врозь локтями, а затем вся от рыжей головы до голых по щиколотку ног, новая, третья, неизвестно откуда взявшаяся Маруська, вероятно здешняя Марьюшка, только, конечно, совсем, совсем не Марьюшка. И — вот оно, вот оно, бухало сердце, стучало в висках у Кира; он горбился, прятался в тарелку и прикрывался еще сверху над головою ладонью, как крышкой; он страстно умолял, заклинал себя, падал сам перед собою на колени, чтобы только не покраснеть, только бы не покраснеть — и как всегда при таких оказиях тщетно: кумачевая, ополоумевшая кровь сдуру, сгоряча кинулась ему в щеки, застлала глаза, наглухо заложила уши; он поспешно вырвал из кармана носовой платок и высморкался — нос и тот заложило; пряча платок, репя горлом, он еще страстнее, еще убедительнее наказывал себе на Шаблюкина не смотреть, и, полоненный чужой в упор волей, заранее предопределенный расплыться в возмутительно на всё согласной, возмутитель-

но доброй улыбке, конечно, всё таки посмотрел — и распялился. И это было еще не всё: погодя Шаблюкин подмигнул ему, и он, отчаявшись столковаться с самим собою и окрепнуть в мужественной непреклонности, махнув внутри себя отчаянною рукою, почти не помня себя, тоже подмигнул в ответ мокрым, жарким и жалким глазом — понятно, мол, — подмигнул, и едва не захныкал, до того невыносимо было всё это: и дрожь загнутой уголками кверху улыбки и унизительно послушная — только мол подмигни — отзывчивость на чужое приглашение: потешить кого-то, потешиться над собой.

И всё же, всё же это было то: то самое, чего матушка начала опасаться с четвертого класса, после представления оперетты, когда Шаблюкин уже слишком разоткровенничался в роли многообещающей веселой вдовы; это было то, отчего она (матушка, а не веселая вдова, конечно) погодя и походя, с такою хитрющею будто бы между делом, между прочим настойчивостью бередила в Кире охоту к корпению над марками, к выжиганию по дереву — тишайшим, посапывающим себе под нос занятиям, которые еще некоторое время могли баюкать вялую дрему его беспорочного, однако же самого последнего сроку — на шестнадцатом годочку — отрочества; это было то, отчего она в шестом классе — в том классе у Кира вдруг вылез кадык и заклокотало в горле — обратилась за помощью к снисходительно и до тонкостей всевидящим педагогическим брошюркам, а затем к двум томам глянцевито плотной ученой неразберихи, с рисунками столь откровенными, что она не знала, куда от самое себя девать свои глаза, куда девать книги, между тем, как Кир давно и втайне и в скверне с этими рисунками дружный (доверчивая матушка не очень то толково, опасаясь, запихивала в конце концов книги, ну их к Богу, всё туда же, за пазуху шкафа, за давно недвижные штабеля «Нивы»), пользуясь ее нечастыми отлучками из дому, весь в зябком и потном жару, гнулся, припадал к ним с тряской благоговейной жадностью и наглядеться на них всласть и досыта

никогда не поспевал: прислушивающиеся к нему шорохи, которыми полным полна была затаившаяся квартира, вздрагивающие скрипы половиц, даже дальние затрапезные запахи из Марьюшкиной кухни — всё это мешало, мучило, настораживало, пугало его до полуобморочности; и случись в ту пору внезапный звонок, он наверное просверлил бы его сердце навылет. Он был осторожен и осмотрителен чрезмерно; и даже в минуты самой вдохновенной трусости, даже и тогда он и не пытался, ну хотя бы на одно плечо примерить на себя невообразимо зябкую шкуру застигнутого на месте преступления: невообразимо ужасаясь этому, он убирался из комнаты задолго до прихода матушки. Но всё равно: она и без того отлично видела его всего — с его черной сердцевиной — наскозь. Невидимо и неотступно укоризненная, она таилась за спиной его самых сокровенных, самых из-под полы мечтаний, то намеренно для вящей и гнусной наглядности замедленных неспешной развалкой воображения, то обуянных галопом такой залихватской разнузданности, что он, дыша как загнанный, и сам едва поспевал за ними — всё более и более частых мечтаний всё о том же, всё о том же: о том, как он, весь прегадким извивчиком подавшись и нагнувшись вперед (и внутри самого себя еще раз, еще вожделеннее, еще пронырливее подавшись и скрючившись) с неутолимой и во веки веков жадностью всё прикрадывается и прикрадывается ко всему тому, самому прелестному в мире, самому стыдному и запретному, о чем приходилось столько слышать, столько подозревать, и чего сколь ни припоминай вгорячах фото-соблазны из глянцевитой книжки, никогда не удавалось довоплотить до последней очевидности: выбившееся из последних сил воображение его до этого не дотягивало — задыхалось, обмякало, никло. Он гнулся, стежками в последний раз передохнув, опускал головушку, и в черной сердцевине его начинал навзрыд каяться проживающий там для таких случаев его ровесник и вечный спутник, покаянный нытик, а за спиной тихо возникала невидимая и всевидящая матушка, следующая по пятам всех

его проступков, где бы они ни совершались, где бы она в то время ни находилась: в своей ли комнате, на улице ли, в банке ли, куда ее вызывали по делу о шаблюкинских векселях. Она была неотступна, и вездесуща. Но здесь ее всё-таки не было, и Кир, потерзавшись в тарелке и отмахнувшись от нытика, осторожно из тарелки вылез и исподтишка осмотрелся: и конечно, конечно же это было то, теперь уже несомненное, очевидное то, о чем он тщетно и мечтательно задыхаясь хлопотал дома, на что хитренько, себе на уме, и в черной своей сердцевине надеялся и под вокзальным колоколом и сквозь шаткий рокот колес в вагоне, и наконец, если Шаблюкин не очень мордовал его, здесь в Кущевке — то, несомненно то, хотя и было в этом внезапном воплощении желаний, в этой на диво земной, на диво ражей девке некоторое несоответствие по сравнению с прежде задуманным ее обликом: тот был, пожалуй, понаряднее. Но Кир не очень-то привередничал при торге со своею давно заждавшейся мечтой: на слишком торопливых смотринах он опять отмахнулся от нытика, кое-чего просто не приметил, а когда спохватился и приметил — и прежде всего нехватку двух пальцев на левой руке стряпухи — было уже поздно: торг совершился, отказаться от Маруськи было уже немыслимо. Проворно цапая со стола небрезгливо сальною трехпалою клешней грязные тарелки, она собрала их в стопку, и по древесно ноющим под ее голопятой тяжестью ступенькам спустилась за спиною Кира вниз, во дворик, в летнюю кухню. Сытно, по самое горло переборщивший Шаблюкин коекак отпихнулся от стола и ушел к себе — храпеть, как повешенный; за ним, не дожидаясь задумавшейся, дергающей носом Кировой благодарности, с угрюменьким от сытости личиком ушла и хозяйка — так же угрюменько поспать; а погодя поднялся со своего места и Кир: все идут спать, ну и он пошел спать. Но едва он прилег на диванчик и подлым извивчиком начал было подбираться к расплывчатой, похорошевшей без очков под дремотными веками Маруське, как его за плечо затряс Шаблюкин, сначала спросонья и без

очков тоже расплывчатый, а затем — при скорой помощи насаженного на нос пенснэ — в один миг опухший от только что очнувшегося висельнического храповицкого. Он посапывал, во рту у него была спичка. Кир кротко, через стекла глядел на него; он заранее шалел от той новой выходки, которой намеревался его озадачить крестный — и ясное дело; ему и в голову не пришло, что вместо того, чтобы дрыхнуть тут, он лучше поискал бы ее. «Кого?» — дрогнул, спустил ноги с дивана Кир: то, что нужно искать Маруську, а не чорта лысого — я не знаю, о чем этот человек думает? — ему тоже в голову не пришло: крестный выдернул из зубов спичку, вскинул плечами. Кир покорно пошел из комнаты — искать стряпуху — и дошел только до порога — здесь его скрючило: под самую притолоку вися на крюке недоумения, стыда и страха, он искоса пробулькал: «Мне неудобно... Зачем же Маруську?». — и медленно, боком, на полусогнутых ногах начал пятитья на галерейку от своего двойника, расхлябанного, ошалевшего, тоже что-то булькающего про неудобно, про зачем и про Маруську: крестный бочком неотрывно завораживал его раскосой ошалелостью взора, и сам завороженным дурнем, враскачку, на кривых ногах пер на него. У Кира лезли, росли из спины ежовые иголки, он пытался отчураться, откупиться от крестного льстиво понимающим — занятная, мол, шуточка — улыбочками, пытался было даже приосаниться, приостановиться, однако Шаблюкин ни на шутку, ни на лесть, ни на осанистую серьезность не поддавался — пёр себе и пёр. Пятился и Кир; и так оба они взаимозамороженными дурнями, бочком, бочком выбрались на двор и там ловили Маруську (да не ту). И было непонятно, для чего нужна такая чертовщина: на одной стороне двора, нарочито, вопреки естественной согласованности движений, скакал, вихлялся, раскоряченный весь — руки, ноги врозь — крестный, на другой точь в точь так же весь врозь, весь вразброд скакал, вихлялся Кир словно дергал их за обоюдосвязующую веревочку скверно разрезвившийся дьявол; между ними коротконогой кро-

кодильей рысью молча металась, припавшая животом к земле, Маруська; плакать, причитать всласть, пока ее еще не взяли за шиворот, ей было совестно. Она ждала, когда ее совсем затравят, чтобы заголосить с правом и чистосердечно; и ее наконец затравили — она опрокинулась на спину: берите. Рыча и пуская слюни, Шаблюкин схватил ее за загривок и поволок к сарайчику; она вяло упиралась, цеплялась за булыжники, хныкала пока вполголоса — всё еще совестилась; возле нее с пустой рукой — второго загривка не было — не спуская глаз с крестного, вровень с ним, помогая ему тужиться и рычать, рысил Кир: он очень, очень подличал и старался. Потом, уже на пороге сарайчика, они долго руками и ногами запихивали сучку будь она трижды анафема проклята во внутрь, Маруська руками и ногами, как могла — и все же с рабской осмотрительностью, чтобы все-таки не поцарапать высоких мучителей — отбивалась от них, запрокидывала назад свою слюнявую, мерцающую заплаканными глазами голову, и высоким, долгожданным, наконец-то разрешенным от стеснения голосом, причитала, умоляла пустить ее, пустить ее, почти на подлинном русском языке умоляла она. Кир понимал ее с полуслова. Он и сам был готов повалиться на порог и запричитать — столь всё это было невыносимо. Но, конечно же, он и не запричитал, и не повалился, и оттого что боялся крестного, как собака, и оттого что Шаблюкин огорошил его новой выдумкой. Безотлагательно загоревшись охотой воплотить в истинную правду свою вдохновенную и наспех разродившуюся перед матушкой брехню об ученой собаке, о собаке умнице, он с нетерпеливой и страстной поспешностью начал внушать Маруське то, что у него было решено наедине с самим собою после обеденного храповицкого, а еще прежде преподнесено матушке: по первой его коротенькой из-под усов команде собака должна была умереть, затем бодро — и опять по команде — воскреснуть и броситься за щепочкой, предварительно им заплеванной. Дело было несложное, уж воистину плевое, но вот поди ж ты — на поверку Маруська ока-

залась совершенно бесталанной дурой: она решительно ничего не понимала из того, что ей, стерве, говорили русским языком, и никакими увещеваниями ее нельзя было заставить умереть, воскреснуть и принести щепочку. Шаблюкин выл, Кир хватался за голову, Маруська ползала крокодилом — и податься было некуда: ни крестному, ни Киру, ни собаке. И Маруська, которой было хуже всех, наконец решилась — кинулась Киру между ног, и шасть в открытую дверь; Шаблюкин (Кир за ним) метнулся на двор, метнулся (Кир за ним) туда, метнулся (Кир за ним) сюда — собака сгинула; и виноват во всем этом был Кир: он не запер двери сарайчика, хотя ему русским языком было сказано, растяпе: закрой дверь. И вот пожалуйста: Шаблюкин плевался, дергал плечами и не знал что и думать по этому, брат ты мой, поводу, и глаза были у него водянистые. Пятясь от него, булькая, что вот вам честное слово, и вот вам святой крест, Кир с чистосердечной, с баска на писк страстностью отпирался от всего: и ничего ему баском про дверь не говорили, и ничего он пискляво про дверь не слыхал — глупейшее, между прочим, братец, оправдание, потому что изволишь ли видеть: Шаблюкин быстро возвращался в бывшее за десять минут перед этим прошлое, снова перетаскивал Маруську через порог сарайчика и отшвырнув ее ногой в угол, приказывал Киру через плечо: закрой дверь. Но, конечно, растяпа оставался растяпой: оборотясь Киром, Шаблюкин с распяленной пятерней на сердце булькал про честное слово и про святой крест — и снова оборотясь самим собою и даже лучше самого себя, снова бросал собаку в угол сарайчика и снова, несомненнее прежнего приказывал Киру: закрой дверь. После того, как он с новыми, одна другой убедительнее подробностями по третьему разу прошелся в прошлое, горячечная уверенность Кира в своей правоте — что закрой дверь не было — тронулась: теперь он уже не совсем был уверен, что было и чего не было. Он затоптался на одном месте, и в душевной сумятице начал подлизываться к своему нытику, наспех, подбивая его на то,

что закрой дверь — было, тем более, что — распинался он перед ним — закрой дверь может быть и на самом деле было, а если и не было — хитренько юлил, ластился он — и то не беда: главное — задобрить, утихомирить крестного, чтобы тот, чего доброго, не полез бы через порог сарайчика и в четвертый раз в прошлое. И глядя и не глядя на нытика, который все еще кочевряжился, и глядя и не глядя на крестного, который не спускал с него вытаращенных глаз, он так и сделал — потупился и пробулькал: да, закрой дверь, — было. И удивительно: крестный, вместо того, чтобы подобреть и обрести довольство и осанку человека, никогда и не сомневавшегося в своей, я же тебе, дурень, говорил, непогрешимости, вдруг, показалось Киру мельком в глазах, и вструхнул. Тогда не в силах во всем не следовать за ним, искоса вструхнул и Кир. Затем крестный исчез — а куда и как, Кир отсмаркиваясь, и не приметил.

Он до самого вечера понуро слонялся по двору, соображая, куда же ему приткнуться, и как ни приноравливался быть здесь своим и ко двору, приткнуться ему было некуда: колодец, когда он, подыгрываясь к нему, оперся на его сруб и попытался было предаться возле него непринужденному, посвистывающему и независимому безделью, оказался для этого неподходящим: Киров локоть никак не мог примириться с деревянным бесчувствием сруба — соскальзывал с него, уставал, жаловался на боль внизу в косточке; и со свистом тоже ничего не получалось — свистать Кир не умел: это неприлично. Он присел на какой-то завалящий камень около конюшни, но сидеть на камне тоже было неудобно: камень был мал, тверд, увертлив и всё норовил увильнуть из-под мнительного зада. Так с ним и не столковавшись, Кир попробовал просто присесть на корточки, и обхватив снизу ноги, положить подбородок на прижатые одно к другому колени — и как будто бы нашел наконец желанный покой; но и этот уютнейший самоузелок только вначале казался ему чуть ли не на век удобным: через две минуты он едва разогнулся и долго стоял раскорякой и старчески

держался обеими руками за поясницу, и всё вокруг него сумеречно зыбилось от головокружения.

День поспешно кончался: от довольно нарядного, с размахом разлюлималинового зарева, куда занесло в час заката колодезный журавель, вскоре не осталось и следа — дылда со своей веревкой на шее отощал там и почернел в пепельных облаках, как пугало; холодеющий между лопаток дворик оплывал черносливными потемками; в непроглядной тьме настежь распахнутой конюшни незримый Опонас препирался с незримыми, бухающими копытами, лошадьми, оборотившимися под вечер Сатаной и Скаженным Чертякой; в летней кухоньке под навесом то мерцающая, то багровеющая во тьме Маруськина рожа на корячках дула печке в пасть. Потом рожа дула в самовар, а потом Маруська схватила его за уши и малиново, вокруг всеми зубами оскаленного унесла на галерейку, где к тому времени зажглась вчерашняя трижды проклятая лампа, а за столом, с сердитым кулачком под скулой, возникла гундосенькая — дожидалась ужина; крестного с нею не было. Кир схватился за голову; он не знал, как же теперь ему быть: идти на ужин непрошенным, и остаться там с глазу на глаз с гундосенькой — он на пробу с улыбкой, добрый вечер, добрый вечер, закивался перед ней, и тотчас же опрометью, втянув голову в плечи, кинулся обратно — было невыносимо, а бродить по двору, присосеживаться к колодезному срубу, хитрить с камнем непоседой — он больше был не в состоянии. Ужасаясь, он повис на крюке самоубийственной тоски. В животе у него урчало.

И поужинать ему в тот вечер не довелось: крестного он так и не дождался, а гундосенькая о нем так и не вспомнила: привстав елико возможно подлиннее на цыпочки, он издали, вслед за нею, с близорукой неразборчивостью, ненасытно и со слюной пополам, пожирал всё, что было на столе, всё, что угодно — может-быть молоко, может-быть даже сало — и урчал животом. Ела гундосенькая долго — у него едва хватало слюны поспевать за ней. Наконец она гундосенько насытилась, и с лампою в руках ушла к себе

в комнату — не то угрюменько лечь спать, не то дожидаясь крестного, чтобы понюхать его в усы и сказать ему, что он гундосенький босявка. И только тогда бездыханный, с полувысунутым языком, ловчась внутренне оглохнуть — дабы не слышать половиц и свое ревущее чрево, Кир опасливо, ни обо что однако не ударившись и никуда не врюхавшись, пробрался на цыпочках по лунным ромбам к себе в яблочную комнату, повалился на диванчик и начал пожирать всё, что было в закромах его оголодавшей памяти: от Марьюшкиных пирожков до Маруськиного борща. Он очнулся от какого то шума, какого то света: расплывчато белая гундосенькая выпихивала из своей комнаты близоруко белого и длинного Шаблюкина — дождалась таки, понюхала его в усы. Шаблюкин, после того, как Кир надел очки — предстал перед ним в длинном до пят хитоне и с горящей свечей в кулаке — обернулся пожилым усатым ангелом забулдыгой, изгнанным из рая; нехорошо, страдальчески выпивший, он поматывался, шлепая босиком по полу, подсаживался к Киру. Кир подбирал под себя ноги. «Крр» — невнятно мял, жевал во рту язык крестный «говору тебе ньженись», и отрыгивал зловонным воспоминанием о трех селедках, которые он съел на пари за ужином у этого сволоча Чекмаря, съел и вот, как видишь, не издох, не издох, отрыгивал, запинался, очень хвастался он. К утру его схватило.

(Продолжение следует)

Мих. Иванчиков

НОЧИ В АПРЕЛЕ

Ночь рвала нутро древесных почек,
Провода гудели на столбе
И тянулся край апрельской ночи
Всем весенним хаосом к тебе.
На лиловой черноте квартала
Бешеная скачка фонарей —
Там весна шлет на углы весталок,
Там шаги весенних звезд острей.
Ты проходишь по цветочной пыли:
Уголь глаз и сердца маята;
Чтоб тебя кварталы не любили,
Чтоб не растворила темнота,
Я тебя вплетаю в эти строки,
Я дождем глаза твои гашу,
Я твои улыбки, губы, щеки
Под конвой сдаю карандашу.
Я строфу поставлю между нами,
Чтоб не гнуться к твоему плечу,
В ночь тебя, как в боевое знамя
Заверну и рифмой охвачу,
Чтобы нас не затопила близость,
Чтобы нас не опрокинул зной,
Чтоб Нью Иорк не вывел на карнизы
Двух слепых лунатиков весной.

ТЫ В КОМНАТАХ

Ты солнечной иглой проводишь
По зеркалам, ломая свет;
Ты в золотое половодье
Играя превратишь паркет.
Позвякивая дверцой шкафа,
Глядишь в прозрачное крыло
И радостным огнем метафор
Зажгла оконное стекло.
И улыбаясь тонким чашкам,
С пузатым чайником смеясь,

Ты из намеков карандашных
Плела ритмическую вязь.
Кружилась в кружеве мелодий,
Где лейтмотивом смех сверкал;
Но, как с лица улыбка сходит,
Твое лицо сошло с зеркал.
Тебе разлука не помеха,
Паркет к шагам твоим привык;
По комнатам моим, как эхо,
Неслышно бродит твой двойник.
Так пишет по стеклу мороз,
Так брызжет солнце через щели,
Так облик твой шутя прирос
К веселым нимфам Ботичелли.
Твои слова, как гроздь повисли,
Твой голос радугой расцвел,
И вне тебя уже немыслим
Ни этот шкаф, ни этот стол.

ИЗДАЛИ

Мы в Аахене с тобой не побывали,
Но слышали его колокола;
Морской водой спросонок умываясь,
Серебряная Бельгия звала.
Я верил и не верил. Я со страхом
Отыскивал тебя между других:
Твои слова, твой музыкальный Аахен,
Меня спасли, едва не погубив.
Мы в Аахене с тобой не отдыхали,
Ты в Бельгию не ездила со мной,
Но нам светился как вино в бокале
И золотистый Рейн, и Брюссель кружевной.
Я к цели шел, к последней шел преграде,
И брешь пробил стремительным броском.
Теперь смотри: наш Аахен стал тетрадью;
Раскрой ее — твой Аахен стал стихом.

СТУДЕНТКА-ГЕОЛОГ

Она была ручным орленком,
Она взвивалась по скале,
А я снимал на кинопленку
Ее движенья, как балет.
Она смеялась на привалах,
Даря зубов альпийский ряд,
И горным солнцем заливала
Геологический отряд.
Она касалась горных склонов
Дыханьем, бьющим горячо,
И волосы льняного тона
Закидывала за плечо.
Она жила на горной воле,
Обследуя речной порог,
Заворожая острой болью,
Тревожной статью легких ног.
Монада ветра и ущелий,
Забредшая под облака
Улыбка губ на тонкой шее
И золотистая щека.
Кружа по каменистым тропам,
Слоистой азбуке учась,
Она с хребтов сдувает строфы,
И отражается в ручьях.
И пьет зрачком лесные дали,
И смех до снега донесет;
И, прикурнувши на привале,
Как хмель пьянеющий заснет.
Но долго будет спать едва ли,
А я доделаю пока
Набросок в путевом журнале,
Ее портрет у ледника.

Олег Ильинский, 1963

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ *

На берегах Невы
Несется ветер разрушеньем вея.
Георгий Иванов

М. А. КУЗМИН

Осень 1920-го года. Вечер, устраиваемый Союзом Поэтов. Совсем недавно — только этим летом основанным Союзом Поэтов и уже успевшим переорганизоваться, переменить председателя. И изменить направление. История эта наделала много шума в тогдашнем литературном мире.

Летом в июле — если не ошибаюсь — из Москвы в Петербург прибыла молодая поэтесса Надежда Павлович с заданием организовать Петербургский Союз Поэтов, по образцу Московского. Задание свое она выполнила с полным успехом — на все 120%. Председателем был избран Блок. Сама Павлович занимала видное место в правлении, чуть-ли не секретарское. Имена остальных членов Правления я забыла. Союз Поэтов, как и предполагалось по заданию, был «левым». И это, конечно, не могло нравиться большинству петербургских поэтов. К тому же стало ясно, что Блок, хотя и согласился «возглавить» Союз Поэтов, всю свою власть передаст «Надежде Павлович с приснымн», настроенными более чем пробольшевицки. Блок в то время уже начинал отходить не только от общественной жизни, но и просто от жизни. Он, хотя и не подчеркивая этого, давно тяготился честью, выпавшей на его долю и только из чувства долга — чрезвычайно сильно в нем развитого — заставлял себя — через силу — играть взятую на себя роль. Выгод от такого Правления петербургским поэтам ждать не приходилось. Гумилев же был полон энергии, рвался в бой, желая развить ураганную деятельность Союза на пользу поэтам. Лагерь Павлович «с приснымн» был силен и самоуверен. Ведь его поддерживала Москва и все-же ему пришлось потерпеть поражение. Гумилев проявил в этой борьбе за власть чисто макиавелистические способности. Придравшись к тому, что Правление Союза было выбрано без необходимого кворума, некоторые поэты потребовали перевы-

* См. кн. 68, 71, 72 «Н. Ж.»

боров. На что Правление легко согласилось, предполагая, что это простая формальность. И оно, конечно, останется в своем полном и неизменном составе. Но в гумилевском лагере все было рассчитано и разыграно виртуозно: на перевыборах совершенно неожиданно была выставлена кандидатура Гумилева, который и прошел большинством ... одного голоса. Результат перевыборов ошеломил и возмутил прежнее правление.

— Это Пиррова победа, — горячилась Павлович, — мы этого так не оставим. Мы вас в порошок сотрем!

В Москву полетели жалобы. Но вскоре выяснилось, ничего противозаконного в действиях Гумилева «не усматривалось». Все, по заключению экспертов, было проведено так, что и «комар носа не подточит». Хотя Блок нисколько не держался за свое председательство, все-же провал не мог не оскорбить его. Но он и вида не показал, что оскорблен. Когда новое правление, во главе с председателем Гумилевым и секретарем Георгием Ивановым отправилось к нему с визитом, Блок не только любезно принял их, но нашел нужным «отдать визит», посетив одну из пятниц, устраиваемых Союзом на Литейном.

И на сегодняшнем вечере Блок так-же не отказался выступить вместе со всеми поэтами, находящимися сейчас в Петербурге. Я, хотя и считаюсь уже поэтом и даже уже выступала один раз в Доме Литераторов, этой чести сегодня не удостоилась. Я сознаю, что это справедливо — выступают только поэты с поэтическим стажем и твердо установившимся именем. Мне все-же дано разрешение находиться в «артистической» — в гостиной, рядом с эстрадной залой. И это наполняет меня гордостью. И смущением.

— Я опоздаю, — предупредил меня вчера Гумилев. — А вы приходите пораньше и ждите меня там. Кузмин обещал непременно быть. Вот, наконец, и увидите его. И познакомитесь с ним.

— Да, я еще ни разу не видела Кузмина. Но я слышала о нем много. И самых противоречивых рассказов. По ним мне никак не удается составить себе ни образа, ни биографии Кузмина. Кузмин — король эстетов, законодатель мод и тона. Он русский Брюммель. У него триста шестьдесят пять жилетов — по жилету на день. По утрам к нему собирались лицеисты, правоведы и молодые гвардейцы присутствовать при его «petit levé». Он — старообрядец. Его бабушка — еврейка. Он учился у иезуитов. Он служил малым в мучном лабазе. В Париже он танцевал канкан с моделями Тулуз-Ло-

трека. Он носил вериги и провел два года послушником в итальянском монастыре. У Кузмина — сверхъестественные «византийские глаза». Кузмин — урод. Как сочетать все это? Но это еще не все. Оказывается Вячеслав Иванов восхищался его эрудицией и в спорах прислушивался к его мнению. Он гордился тем, что Кузмин жил у него на Башне. Но, оказывается, Кузмин жил еще и у Нагродской, прославленного автора «Гнева Диониса». И там устраивались маскарады, о которых и сейчас говорят шопотом. Оказывается также, что Кузмин готовился стать композитором и учился в Консерватории у Римского-Корсакова, что стихи он стал писать только в тридцать три года, по совету Брюсова. Он все не мог найти подходящих «слов» для своей музыки. — Если чужие стихи вам не подходят, пишите сами, — посоветовал ему Брюсов и «показал, как это делается». Кузмин сразу обнаружил огромные способности и вскоре махнул рукой на музыку, заменив ее поэзией. Хотя музыку бросил не совсем. Рассказывали, что он так объяснял этот переход к поэзии: — И легче и проще. Стихи так с неба готовыми и падают, как перепела в рот евреям в пустыне. Я никогда ни строчки не переделываю. Этому, как и многому другому, в его легендарной и противоречивой биографии мне было трудно поверить. Неужели правда никогда, ни строчки? Ведь Гумилев иногда неделями бьется над какой-нибудь строкой и меня по много раз заставляет переделывать стихи пока не получится «то, что не требует исправления». Я очень люблю стихи Кузмина. В особенности «Александрийские песни» и это: я его всегда читаю вслух проходя мимо Таврического Сада:

Я тихо от тебя иду,
А ты остался на балконе.
«Коль славен наш Господь в Сионе»
Трубят в Таврическом Саду.
Я вижу бледную звезду
На тихом, теплом небосклоне
И лучших слов я не найду,
Когда я от тебя иду:
«Коль славен наш Господь в Сионе».

Неужели и оно «с неба, как перепелка в рот?» Неужели? Ведь это одно из восхитительнейших русских стихотворений. Нет, я не верила. Только потом, когда я стала женой Георгия Иванова, я узнала, что и у него — «Вдруг появляются сти-

хи, — Вот так из ничего». Что совершенные стихи, не требующие исправления появляются — «Чудесно на авось». Но тогда я об этом еще понятия не имела. И Кузмин казался мне чем-то вроде мага и волшебника. И фокусника.

Я всегда волнуюсь перед знакомством с еще не виданным мною поэтом. Но сегодня я иду в Дом Искусств — «Как идут на первое свиданье — В розами расцветший сад». С сердцем заранее переполненным восхищением и благодарностью судьбе за эту встречу. Я готова восхититься Кузминым. Всем в нем. Не только его «византийскими глазами» — «Глазами-безднами, глазами-провалами, — Глазами-окнами в рай», — но и его дэндизмом, даже его жилетом, всем, что составляет того легендарного Кузмина, чьи стихи

Из долины мандолины . . .

повторяет сам Блок. Наизусть. А ведь Блок, по словам Гумилева, не признает почти никого из современных поэтов.

Я нарочно пришла рано, пока еще никого нет. Я усаживаюсь в большое шелковое кресло в темном углу гостиной. Отсюда мне будут видны все входящие, а я сама могу остаться незамеченной никем, как в шапке-невидимке.

Первым является Владимир Пяст. Самый богемный из богемных поэтов. Русская разновидность «poête maudit». Он летом и зимой носит соломенное канотье и светлые клетчатые брюки, прозванные «двустопные пясты». В руках у него незакрывающийся ковровый саквояж. Из него выглядывают, как змеи закрученные трубками рукописи. На ногах похожие на лыжи длинноносые стоптанные башмаки, подвязанные веревками. Веревки явно не нужны — башмаки держатся и без них. Но веревки должны дорисовывать портрет «поэта моди́» во всем его падении, нищете и величии, создавать настроение. Так-же как и ковровый саквояж с рукописями — «все свое ношу с собой». Ведь Пяст знает все свои стихи наизусть и может их читать часами, не заглядывая в рукописи. Я с ним давно знакома. Он «чтец-декламатор», то-есть, учит слушателей «Живого Слова» декламации. Но самое удивительное в Пясте не его внешность и не его «чтец-декламаторство», а то, что он один из друзей Блока вместе с Евгением Ивановым, — рыжим Женей — и Зоргенфреем. Этот Зоргенфрей неожиданно достиг широкой известности своим единственным, как нельзя более современным стихотворени-

ем, восхитившим Гумилева. Мы все на разные лады повторяли при встречах, строки из него:

— Что сегодня гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
— Я сегодня, гражданин,
Плохо спал.
Душу я на керосин
Променял . . .

Зоргенфрей, Рыжий Женя и Пяст. Только этих трех, неизвестно почему, «допускает до себя» Блок. С ними он совершает загородные прогулки, с ними в пивных на Васильевском Острове проводил бессонные ночи — до революции. К Пясту, несмотря на его чудачества, относятся все не без некоторого уважения. Как к другу Блока.

За Пястом входит прямая противоположность ему — Михаил Леонидович Лозинский. Холеный, недорезано-буржуазный. Похожий на директора банка. За ним Димитрий Цензор, признанный кумир швеек — по словам все того-же Гумилева. Цензор умеет вызывать у своих поклонниц слезы умиления строчками вроде: — «Какое счастье, какое счастье — Дать кому-нибудь в мире счастье».

Гостиная понемногу начинает наполняться. Я знаю — с виду — далеко не всех. Но вот входит Блок. И Андрей Белый. Андрей Белый останавливается на пороге, оглядывает комнату своими светлыми, сияющими, дальнозоркими глазами. Я стараюсь уйти поглубже в кресло. Но от таких глаз не уйдешь. Они видят все. На два аршина под землей — видят. Белый, будто исполняя балетный танец, начинает подлетать к присутствующим в рассыпающемся сиянии седых кудрей, с распростертыми для полета и для объятия руками. Но нет. До объятий не доходит. Вместо объятий — рукопожатие и сияющая улыбка: обворожительная улыбка.

— А, как я рад . . . легчайший прыжок в сторону и конец фразы: достается уже не Блоку, а разговаривающему с ним Лозинскому.

Я с тревогой слежу за сложным рисунком его танца-полета. Пронеси, Господи! А он уже летит по диагонали, сияя

улыбкой узнаванья, в мой угол — прямо на меня. Радостное восклицание:

— Вы? Ведь мы с вами с самой Москвы... — и не докончив отлетает, оставляя меня в полном недоумении. Я сбита с толку. Надо-ли объяснить ему, что он принял меня за кого-то другого, что я еще никогда в Москве не была? Но он уже в противоположном конце гостиной рассыпает, как цветы, улыбки и приветствия, обвораживая и очаровывая.

Я застываю в своем кресле на виду у всех. Я готова от смущения раствориться. Я чувствую, что у меня не только смущенный, но глупый и смешной вид. Я закрываю глаза. Я тону, гибну. И некого позвать на помощь. Но помощь неожиданно сама является, — в лице Лозинского. Он подходит ко мне своей неспешной, эластичной походкой, любезно и благосклонно улыбаясь.

— Здравствуйте. Вы тоже выступаете сегодня? Я с удовольствием прослушаю еще раз вашу балладу о «Толченом Стекле». С большим удовольствием. Наши бабушки наверно слушали «Светлану» Жуковского, как я вашу балладу. С таким-же удовольствием и восхищением.

У Лозинского ясный, полнозвучный голос. Он отчетливо произносит каждое слово. Мне кажется, что он умышленно говорит так громко, чтобы все слышали. Я понимаю, он хочет поддержать меня. Он добрый. И я приободрившись, отвечаю:

— Нет, Михаил Леонидович, я сегодня не выступаю.

— Ну, это можно поправить. Мы вас во втором отделении выпустим. Сверх программы.

Но меня снова охватывает смущение. Я качаю головой.

— Нет, нет. Я не могу. Я не приготовилась.

И он не настаивает.

— Что-ж? Торопиться вам слава Богу, незачем. Еще успеете славы хлебнуть. Время терпит.

И он произносит на прощанье почтительно и веско:

— Чик!

«Чик» — придуманное им сокращение. Теперь мода на сокращения. Надо идти в ногу с веком, серьезно объясняет он недоумевающим. «Честь имею кланятся». Ч.И.К. — Чик. Я не могу без смеха слышать этот с важной серьезностью произносимый им «Чик». Я и сейчас смеюсь. Но уже совсем по новому сижу в своем кресле. Почти смело. Теперь гостиная полна и... шумит нарядным ульем...

Блок стоит у окна. Его темное, усталое лицо повернуто в мою сторону. Он смотрит на меня своим тяжелым, уста-

лым взглядом и вдруг кланяется мне! Да, мне! Никакого сомнения. Блок узнал меня. Я сдержанно отвечаю на его поклон. Но мое сердце прыгает в груди от восторга. С Блоком я познакомилась месяц тому назад во «Всемирной Литературе». Я и мечтать не смела, что он запомнит, что он узнает меня. Но с кем это разговаривает Блок? Я не заметила, как пришел этот странный маленький человечек. Кто он такой? Неужели он тоже поэт? Он стоит ко мне спиной. Я вижу его лысину и по бокам ее, над левым и правым виском две густо нафабренных пряди темных волос, закрученные на подобие рожек. Рожки, как у фавна или черта. Может быть у него не только рожки, но и копытца? Но нет, под полосатыми брюками ярко зеленые носки и стоптанные лакированные туфли. Никаких копытц. Обыкновенные ножки.

До меня доносится низкий, глуховатый голос Блока.

— Я боюсь за вас. Мне хочется оградить, защитить вас от этого страшного мира, Михаил Алексеевич . . .

Я чувствую толчок в лоб. Михаил Алексеевич . . . Ведь Кузмин — Михаил Алексеевич. И кому, кроме Кузмина, Блок, нелюдимый Блок, мог бы сказать с такой нежной заботливостью: — Я боюсь за вас. Мне хочется защитить вас от этого страшного мира?

Это он — Кузмин. Принц эстетов, законодатель мод. Русский Брюммель. В помятой, закапанной визитке и в каком-то бархатном гоголевском жилете «в глазки и лапки». Должно быть и все остальные триста шестьдесят четыре вроде него. Я всматриваюсь в его лицо. Да, глаза, действительно, сверхъестественно велики. Как два провала, две бездны, но никак не два окна, распахнутых в рай. Как осенние озера. Пожалуй, как озера, как пруды, в которых водятся лягушки, тритоны и змеи. Таких глаз я действительно никогда не видела. И веки совсем особенные. Похожие на шторы, спускающиеся над окнами. На шторы почему-то называющиеся маркизами. В памяти моей вдруг начинают звучать отрывки стихов Кузмина про маркиз и маркизов:

Клянусь семейною древностью
Что вы обмануты ревностью . . .

Кто там выходит из-за боскета?
Муж Юлии то обманутый,
В жилет атласный затянутый,
Стекла блеснули его лорнета . . .

Нет не лорнета, а пенснэ. Стекла пенснэ Кузмина, не твердо сидящие на его носике и поблескивающие при каждом движении его головы. Может быть беспрерывное поблескивание стекол и придает еще больше странности его глазам.

И вдруг я замечаю, что его глаза обведены широкими черными, как туш кругами, и губы густо кроваво-красно накрашены. Мне становится не по себе. Нет, не фавн, а вурдалак: — «...На могиле кости гложет — Красногубый вурдалак...» Я отворачиваюсь, чтобы не видеть его.

Дверь снова открывается. Входит Гумилев и за ним Георгий Иванов, подчеркнуто-элегантный, в синем костюме. С челкой. Мне очень не нравится эта челка. Гумилев церемонно обходит всех и со всеми здоровается за руку. Церемонно и почтительно. Осведомляется о здоровьи, уславливается о порядке выступления и кто какие стихи будет читать. И только условившись обо всем, направляется к моему креслу.

— Ну, как вы тут? Не умерли от страха?

Я оглядываю его не без самоуверенности.

— Ничего страшного. Даже наоборот...

Мне очень хочется рассказать ему об «омаже», как это у нас называется, сделанном мне Лозинским. Но здесь не место и не время для хвастовства.

— Пойдемте, я вас познакомлю с Кузминым, — предлагает Гумилев.

Вся моя самоуверенность пропадает. Я не хочу. Ни за что не хочу, сама не понимаю отчего. Гумилев насмешливо улыбается.

— Трусите? Стесняетесь? Ведь не съест же он вас?

Нет, я не трушу и не стесняюсь. Но мне почему-то кажется невозможным заглянуть в его густо подведенные глаза, увидеть близко его кроваво-красные губы, пожать его маленькую, смуглую руку, похожую на корни дерева. Ведь у него руки, как в стихотворении Гумилева «Лес»: — «...Из земли за корнем корень выходил — Словно руки обитателей могил...»

— Пожалуйста, не сегодня. В другой раз, пожалуйста! защищаюсь я.

Гумилев пожимает плечами.

— Не хотите — не надо. Тогда бегите в зал. Сейчас начнут.

Я встаю и стараюсь шагать широко и плавно, как меня учили на уроках ритмической гимнастики, иду к выходу. По

дороге мне кланяется Георгий Иванов. Но его поклон, после поклона Блока я принимаю без удивления, как должное. Еще бы он не узнал меня! Я наклоняю голову проходя мимо него. И чувствую, что он смотрит мне вслед.

Зал набит. Не только нет свободных мест, но во всех проходах стоят запоздавшие слушатели. Здесь, в эмиграции, себе представить просто невозможно, как слушали, как любили поэтов в те баснословные года в Петербурге, да и во всей России. Марина Цветаева была права, когда писала: «Из страны, где мои стихи были нужны, как хлеб, я в 22-ом году попала в страну, где ни мои стихи, ни вообще стихи никому не нужны». Да, стихи тогда были нужны не меньше хлеба. Иначе, как могли бы все эти усталые, голодные люди, после изнурительного трудового дня найти в себе силу прийти под дождем и ветром, многие пешком, через весь Петербург, только для того, чтобы услышать и увидеть поэтов? Только тогда и там в Петербурге чувствовалась эта горячая, живая связь слушателей с поэтами, эта любовь. Овации, бесконечные вызовы. Поэтов охватывало ощущение счастья от благодарного восхищения слушателей. Казалось, что все друзья поэтов. Готовые для поэтов на любые жертвы. Если надо — отдать последнее. Отдать ему даже тот хлеб, о котором Марина Цветаева говорила, что он так-же нужен как стихи.

Нет, пожалуй, на этот раз Цветаева не преувеличила, а скорее преуменьшила стихи тогда многим были даже нужнее хлеба. Скоро, очень скоро и я испытаю это опьяняющее ощущение счастья, с которым не сравнится ничто на свете. Но сейчас я еще только составляю часть восторженной аудитории. Я с замиранием сердца слушаю глухой однотонный голос Блока, скандирующий:

Под насыпью, во рву некошенном
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая . . .

Блок читает совершенно спокойно и даже как-то равнодушно и безучастно. Но я знаю, что он волнуется. Он никогда, несмотря на все бесчисленные выступления, не мог отделаться от страха. Последние минуты перед выходом на сцену, он, как лев в клетке, ходит взад и вперед и, повторяет свои стихи. Почти всегда те, что сегодня: «На железной

дороге». Других он почему-то не читает. Блок стоит неподвижно. В ярком беспощадном свете электрических ламп, направленных на него, еще резче выступает контраст между его темным усталым лицом и окружающими его, как нимб, светлыми локонами. Он продолжает все так-же отчетливо, медленно и равнодушно:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели,
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели . . .

Я знаю эти стихи наизусть, но мне кажется, что я слышу их в первый раз. Я сжимаю руки от волнения, я боюсь пропустить хоть одно слово. Я как будто в первый раз слышу эту трагедию «станционной барышни», не только слышу, но и переживаю ее. От монотонного, равнодушного голоса Блока, от его безучастной манеры читать она еще сильнее «доходит», еще сильнее ранит сердце. И вот уже конец. Блок слегка наклоняет голову и уходит. Уходит, чтобы больше не возвращаться. Ни на какие вызовы и аплодисменты. А вызовы и аплодисменты грохочат грозой, настоящей грозой,

Как будто ветреная Геба
Кормя зевесова орла
Громокипящий кубок с неба
Смеясь на землю пролила. —

уже звучит тютчевская строфа в моей начиненной стихами голове. Да, совсем так. Я вместе с другими студистами яростно отбиваю себе ладони, до хрипоты выкрикивая, звонкое имя: Блок! Блок! Блок! Я знаю, что Блок больше не вернется. Я и не вызываю его. Это только бескорыстный восторг, дань преклонения перед ним.

А зал продолжает греметь, пока на эстраде не появляется Кузмин. Овация Блоку постепенно переходит в аплодисменты, встречающие Кузмина, правда, значительно более сдержанные. Кузмин на эстраде кажется еще меньше. Он держится удивительно просто, даже как-то добродушно-любезно. Он всем своим видом будто выражает радость встречи со слушателями: — Наконец-то я добрался до вас, душки вы, голубчики мои. И как это хорошо! Как приятно! И вам и

мне. Он слегка вытягивает шею, закидывает голову, надувает щеки и повернувшись в профиль, начинает:

За-за-залетной голубкой
Ты мне в сердце влетел . . .

Господи, да он еще и заикается! А я и не знала. Гумилев мне об этом не говорил. Но Кузмин, справившись с первым приступом заиканья, уже плавно катится со стихотворения на стихотворение, лишь изредка налетая на риф какой- нибудь трудности, рассыпаясь звуковыми брызгами.

На-на-навек сказали вы грациозно
И показали на з-з-звезду . . .

Я вслушиваюсь. И вот мне уже кажется, что именно так с придыханиями захлебываниями и заиканиями и надо читать его стихи. Так просто. Так ласково и уютно. Не заставляя себя просить. Еще и еще. И лицо его становится совсем другое, чем только-что там в гостиной — маленькое, милое, загримированное старостью, с полузакрытыми глазами. Глазами — окнами в рай? Не знаю. Возможно. Сейчас я ни за что не поручусь.

Домой, я как всегда возвращаюсь с Гумилевым.

— Как вам понравился Кузмин? — спрашивает он.

— Не знаю, — совершенно искренно отвечаю я.

Гумилев недовольно морщится — Вы просто не умеете его оценить.

Да. Не умею и никогда не сумею. Мое первое впечатление о нем оказалось решающим. И я так до сих пор еще не знаю нравился ли он мне или нет. Вернее нравился и не нравился в одно и то же время.

В ту зиму мне очень часто пришлось встречать Кузмина. Он постоянно бывал в «Доме Литераторов». Он жил близко, на Надеждинской и предпочитал, как и многие тогда, проводить дни и вечера в хорошо натопленном и ярко освещенном «Доме Литераторов», чем у себя в холодной и темной квартире.

Он всегда приходил с Юрочкой Юркуном, красивым удивительно молчаливым. А вскоре к ним присоединилась и Олечка Арбенина, молодая актриса, подруга жены Гумилева, Ани Энгельгардт. Прежде Олечка находилась в орбите Гумилева и часто сопровождала его, пока под новый 21-й год

не познакомилась с Юрочкой Юркуном и не стала неотъемлемой частью окружения Кузмина. С тех пор они всюду и везде появлялись втроем, «троицей единосущной», как их окрестили. Впрочем, мне так и осталось неясно почему «единосущной»?

В обращении Кузмин был как-то по-старушечьи старомодно ласков. Гумилева он называл Коленька, Георгия Иванова — Егорушка, Георгия Адамовича — Жоржик. На «ты» — что было так принято среди поэтов — был только с Гумилевым. Интересовался он исключительно «злобою дня», т. е. дом-литовскими слухами и сплетнями. Главным образом любовными.

В Домлите и в Диске стояла особая атмосфера влюбленности, как и в доме Ростовых в «Войне и Мире». Все были более или менее влюблены и Кузмин внимательно следил за завязками и развязками романов.

Кузмин мелкими, торопливыми шажками, опережая Юркуна и Олечку Арбенину, подходит к нам с Гумилевым.

— Слышал, Коленька, говорят жена сбежала от твоего N — тут имя поэта всем известного. — С музыкантом!

Гумилев недовольно морщится.

— Вздор. Просто поехала в деревню подкормиться.

— Нет, сбежала, сбежала, — упрямо настаивает Кузмин, — не спорь! Она сама призналась двоюродной сестре одной знакомой приятеля Юрочки.

Гумилев перебивает его.

— Даже если и так — вернется. Непременно вернется.

Глаза Кузмина еще увеличиваются от любопытства.

— Почему ты так уверен, что вернется?

И Гумилев важно отчеканивает: — Потому что N — мой друг.

И Кузмин поняв, что это значит, — жена моего друга, как и жена Цезаря, выше подозрений — перепрыгивает на другую тему.

— А вы тут что? Опять о стишках? И как не надоест. Стихи надо писать, а говорить о них скучно. Что?

И он улыбаясь, мелко кивая, уже спешит к противоположному концу стола, к более чутким собеседницам, чтобы с ними подробно обсудить происшествие, осудить и сбежавшую жену с музыкантом, и оставленного мужа — всем воздать по их заслугам. Нет, эта «бытовая» сторона Кузмина мне всегда не нравилась. Как и его страсть погружаться с

головой в воспоминания и захлебываться ими. Его воспоминания, к сожалению, никогда не касаются того, что интересует меня. Чаще всего он вспоминает Тамару Карсавину и Тамару Персиц. Об этих двух Тамарах, одинаково им любимых, он может рассказывать часами. Об их платьях и прическах, о том, какими булочками и пирожками они его угощали.

— Никто в Петербурге не одевался так хорошо, как Тамара Персиц, — восхищенно в сотый раз рассказывал он. — У нее было замечательное платье цвета gorge de pigeon с отделкой из шеншиля...

Нет, этот Кузмин мне не нравился. Но со временем я привыкла к нему. Меня уже не поражали его огромные подведенные глаза. Вблизи они казались не такими неправдоподобно огромными. «Византийские»? Да, пожалуй. Но больше всего они теперь, когда я их хорошо рассмотрела, напоминают мне глаза верблюда. Ведь у верблюда глаза выпуклые, томные, совсем как у прелестных персианок на картинках «Тысячи и одной ночи». И у Кузмина точь-в-точь такие. Из-за этих глаз он и сам стал для меня кем-то вроде персонажа «Тысячи и одной ночи», которому все-же нельзя вполне доверять.

Я увидела Кузмина впервые в августе, а теперь ноябрь. Я успела привыкнуть к его наружности с его «рожками и ножками» — и ко всем его странностям — к постоянной прибавке к каждой фразе: что? что? Манере говорить, которую многие поэты, в том числе Георгий Иванов, у него переняли.

— Как вы поживаете? Что? Что? Сегодня страшный мороз, что? что?

Эти «что? что?» меня долго сбивали с толку. Я не знала чем на них ответить. Пока не поняла, что они просто одна из форм риторических украшений речи. И никакого ответа не требуют. Другая — уже житейская, бытовая странность Кузмина: он не позволяет делать запасов. Никаких продовольственных запасов. К отчаянию ведущей его и Юрочкино хозяйство матери Юрочки. Как-то ей удалось раздобыть, вернее выменять на предметы своего скромного гардероба — несколько фунтов сахара и четыре бутылки подсолнечного масла. Кузмин тут же, несмотря на ее слезы и мольбы, вылил масло в раковину умывальника, оставив только одну бутылку и выйдя на улицу раздарил встречным детям сахар — кроме одного фунта. Фунт не представляет собой запа-

са. Делал он это из суеверия. Из суеверного ужаса перед предусмотрительностью и заботами о будущем — предусмотрительность, по его мнению, ведет к гибели. Прямым путем.

Не знаю, как это совмещалось с трехстами шестьюдесятью пятью жилетами — цифрой фантастически, как я впоследствии узнала — преувеличенной. Жилетов было не больше двенадцати. Но все-же и дюжину жилетов можно считать жилетным запасом. Да, Кузмин был крайне суеверен. Еще суевернее Гумилева. Суеверие Гумилева было скорее «театр для себя». Он слишком часто подчеркивал его:

— Я сегодня три раза возвращался к себе перед тем, как выйти, — объяснял он мне, — первый раз споткнулся о порог кухни, второй раз кошка на дворе прямо шмыгнула, мне наперерез, а в третий я, спускаясь по лестнице, подумал, что если я не вернусь сейчас же обратно, со мной случится неприятность. Большая неприятность. Вот оттого и опоздал. Уж вы извините.

Были у него всяческие удачные и неудачные места для встреч и расставаний. Плохо было встретиться около бывшего Бассейного рынка, над которым высоко в небе поднимался железный болт с развевающейся на его конце, громыхающей на ветру железной цепью.

— Как виселица, — говорил Гумилев. — Будто на ней все мои надежды болтаются. И я сам с ними.

Зато встреча в «Доме Литераторов» или по дороге к нему неизменно считалась удачной. После нее полагалось ждать что-нибудь очень приятное.

Но был и другой Кузмин. Кузмин стихов, песенек и прелестного «Картонного Домика». Еще до революции вся Россия распевала: «Дитя не тянися весною за розой». Но мало кто знал, что и музыка и слова — Кузмина. На нотах «Дитя» красовался портрет певца-исполнителя, которому и приписывали этот романс. В Петербурге в литературно-светских салонах, от песенек были «без ума». И не только в светских салонах. Самые серьезные критики и ценители, как профессор Брауде и Метнер, превозносили их. Сам Кузмин, понимая все свои недостатки и достоинства, говорил: — У меня не музыка, а музычка, но в ней есть яд. Я не присутствовала при том, как Кузмин сводил с ума своим пением весь светско-литературный Петербург ни в салонах, ни в «Бродячей Собаке». Я — и это одно из моих больших сожалений, — никогда не была в «Бродячей Собаке». Но, судя по рассказам Георгия Иванова и Гумилева, это происходило хо-

тя и пышнее, но почти так-же, как и в гостиной «Диска» или в одном из гостеприимных домов «недорезанных буржуев».

— Спойте, Михаил Алексеевич! Пожалуйста! Просим! Просим!

Кузмина усадить за рояль не легко. Он капризно отказывается: — Нет, в другой раз... Я не в голосе... Не могу. У меня от пенья зубы болят.

Но какой-нибудь ревностный поклонник уже берет его под руку и ведет к роялю. И Кузмин, не без удовольствия, уступает насилию. И вот Кузмин за роялем. По гостиной проносится восторженный вздох. Кузмин наклоняет голову к клавишам и весь как-то съеживается, на глазах стареет. Становится старичком. Нет, даже не старичком, а старушкой. Вернее старичком похожим на старушку. Он жеманно, по старушечьи касается клавишей маленькими коричневыми, высохшими ручками. Кузмин поет. Голоса у него нет. Он пришепетывает, и, как рыба округлив рот, глотает воздух:

Любовь расставляет сети
Из крепких силков,
Любовники как дети,
Ищут оков...

Я слушаю и чувствую, как мало по малу в мои уши, в мое сознание, в мою кровь проникает яд его музычки. Обольстительный, томный и страшный яд. Яд идущий не только от этой «музычки», но и от его лукавых широко-открытых глаз, от его томной улыбки и жеманно взлетающих пальцев. Яд — неверия и отрицания. Яд грации, легкости и легкомыслия. Сладкий обольщающий, пьянящий яд.

Вчера ты любви не знаешь
Сегодня — весь в огне,
Вчера ты меня презираешь,
Сегодня клянешься мне.

Полюбит кто полюбит,
Когда настанет срок,
И будет то, что будет
Что уготовил нам рок.

Кузмин прищуривает глаза. Лицо его принимает чуть-чуть хищное выражение. Сознает ли он власть над душами своих

слушателей?.. Рядом со мною на диване хорошенькая студистка в волнении кусает губы и я вижу насколько ей кружит голову этот пьянящий яд. Кузмин неожиданно обрывает на высоком нежном «ля», захлопывает крышку рояля и жеманно оглядывается:

— Не слишком наскучил вам? Не заснули еще? Что? Что?

В ответ негодующие протесты и возгласы.

— Еще, Михаил Алексеевич, еще! Спойте «Дитя не тянися». Спойте! Умоляю . . . Умоляем!..

И Кузмин уступает. «Дитя не тянися весною за розой» — его коронный номер. Он исполняет его с несвойственным ему пафосом. В особенности строфу:

Теперь твои губы, как сок земляничный
Щеки, как розы Gloire de Dijon,
Теперь твои кудри, как лен шелковистый
Твои поцелуи, как липовый мед.

Кузмин произносит «Глуа де Дижон» торжественно, округло и гулко. «Глуа» так звучит, как удар колокола. Он заливчато закатывается на «поцелуи». Четыре слога па-цалу-и — вылетают из его рта с все возрастающей, взрывчатой силой. И как четыре выстрела укладывают слушателей наповал. Дальше, воркование, спуск, скат до последнего всхлипывающего полушопота: «Помни, что летом фиалок уж нет». Крышка рояля снова хлопает. Кузмин встает, оправляет жилет и фалды визитки, протирает шелковым платком запотевшие стекла пенснэ.

— Больше не буду! Не буду! У меня зубы разболелись. Не просите, — капризно и нетерпеливо заявляет он. — Дайте мне чаю! Горячего чаю!

Кузмин в моем присутствии почти никогда не говорил серьезно. Он был очень болтлив, но не выносил ученых разговоров, как он их называл.

— Нет уж, Коленька, избавь меня, — прерывает он Гумилева. — Дай мне уйти, тогда и выкладывай свою ученость, на здоровье. А сейчас лучше ответь, правда-ли, как я слышал, Анна Андреевна, хочет развестись с Шилейко? Тебе, как ее бывшему мужу, наверно известно. Правда, разводится?

Лицо Гумилева становится строгим.

Если бы я даже что-нибудь и знал, Мишенька, я бы не счел себя в праве ответить на такой вопрос, — холодно отчеканивает он.

Кузмин всплескивает руками.

— И откуда ты такой респектабельно-деревянный? Даже жалко тебя, прости Господи, Коленька. Пойдемте, Юрочка. Пойдемте, Олечка. От него ничего интересного не узнаешь. Только время зря тратишь.

Все же мне довелось однажды увидеть и услышать совсем другого Кузмина.

Было это после гибели Гумилева. Когда я уже стала женой Георгия Иванова. Зимой 22-го года. Моей последней «Петербургской зимой».

Мы возвращаемся с Васильевского Острова от Анны Радловой. Анна Радлова славится своей несколько тяжеловатой, но бесспорной красотой, своим мужем Сергеем Радловым, передовым режиссером и особенно двумя строчками своих стихов: — «Нет губ, чтоб с тобой целоваться — Нет рук, чтоб с тобой обниматься...» — Своей красотой, впрочем, она не гордится.

— Гордиться мне нечем, — объясняет она опуская глаза, — ведь красота от Бога.

Кузмин в наилучших отношениях с Анной Радловой, покровительствует ей литературно и проводит у нее уютные вечера за чаем с булочками. Мне не очень хотелось итти к ней сегодня. Но Олечка Арбенина, с которой я дружу еще с ее Гумилевской, до Юркуно-Кузминской эпохи уговорила меня.

— Не пожалеете, — предсказала она.

И вот мы возвращаемся по сонным, снежно-пушистым линиям Васильевского Острова, голубоватым от луны. Впереди Олечка и Юркун. Сзади Кузмин и мы с Георгием Ивановым. Я стараюсь умерить свой шаг, итти в ногу с Кузминым. Он после приятно проведенного вечера настроен лирически.

— Ах, что за ночь! И какая восхитительная луна. И облака какие — прелесть. Летят как дикие гуси. А вон то похоже на крокодила.

Георгий Иванов тоже смотрит на облака.

— А это на ангела, — говорит он.

Я, думая доставить удовольствие Кузмину, цитирую:

Если бы ты был небесный ангел
Вместо смокинга носил бы ты арарь.

Но он не слушает и не отрываясь смотрит в небо.

— Вы правы, Егорушка. Совсем ангел. А знаете ведь я когда-то видел ангела.

Он поворачивает ко мне свое лицо с огромными глазами. Они не такие, как всегда. В них, как в темных зеркалах отражаются облака и луна. И мне кажется, что такими глазами можно видеть ангелов.

Но когда? И где он видел их? А он не дожидаясь вопросов уже сам рассказывает взволнованно и отрывчато. С какой-то интимной откровенностью.

— Это было очень, очень давно. Я в молодости жил трудно. Мучительно трудно. Страдал от самого себя. Хотел стать праведником, святым, а выходило наоборот. «Мнозие страсти бороли меня» и я боролся с ними. Тяжело это. Невероятно, невыносимо тяжело.

Он вздыхает и останавливается. И мы останавливаемся рядом с ним.

— Я даже руки на себя наложить хотел. Верите ли, Егорушка, о самоубийстве стал помышлять. Но, конечно, только помышлял. Хотя и упорно. Все же до дела не дошло, слава Богу, — продолжает он. — Я даже вериги носил, а грешить не мог бросить. Так в веригах и предавался греху. И грех от этого даже как-будто еще слаще казался. Зато потом до чего каялся. И вот и решил все бросить. Уйти из мира, стать монахом. Да, да, теперь мне смешно, а тогда другого выхода я не видел. Я почти год провел в Италии, в монастыре около Генуи. Постился, спал на досках, изнурял плоть. Молился. Ночи напролет простаивал на коленях. Молился почти до кровавого пота. Иногда совсем один в темной церкви. Страшно это. Нигде так не страшно, как в церкви ночью. Читаю молитву и боюсь обернуться. Боюсь увидеть возле себя свой двойник, черный, греховный. И еще страстнее молюсь о спасении. А кости болят, трещат. Ноги затекли. И все, все болит. До тошноты в мозгу болит. И вот однажды под утро, когда запестрели витражи окон церкви, чувствую, что умираю, что пришел мой конец. И не жалко, не боязно умирать. Напротив, легко. Спокойно. Вздохнул и чувствую, будто ниточка оборвалась в груди и душа вылетела из тела. И такая тишина, такое сияние. Нестерпимое, как в Раю Данте.

Он замолкает. Неужели он не докончит? Не расскажет об ангеле?

Но он, вздохнув, продолжает все еще стоя на месте.

— Не знаю сколько времени я лежал один в церкви на полу. В обмороке. Но когда я открыл глаза, я увидел ангела. Не такого, как на картинах, а настоящего ангела. Ангел нагнулся надо мной, взял меня на руки и понес. Будто я ничего не вешу. И я понял — это он мою душу несет. А я смотрю в его ангельское лицо и весь исхожу от счастья. Никогда, ни прежде ни потом, я не испытывал такого блаженства, такой благодати. И вдруг ангел улыбнулся мне ангельской улыбкой и поцеловал меня прямо в губы. И вернул меня к жизни. И я очнулся. Пришел в себя. И узнал его. Это был молодой послушник Джиовани. И в то же время это был ангел. Да ангел. Ангел принес меня в мою келью. Я с ним провел весь следующий день. А на утро я ушел из монастыря. Совсем. Навсегда. Все такой же счастливый. Я понял, что никакого греха нет. Люди придумали. И больше уже никогда себя не мучил. А он, ангел...

— Что вы так отстали? — доносится голос Юрочки Юркуна. — Мы замерзли вас ожидая.

Кузмин весь приходит в волнение и суету.

— Ах, Господи! Идем, идем. Сейчас, Юрочка! Это я виноват, когда говорю не могу быстро итти. А им холодно. Они могут простудиться.

Он почти бежит, повторяя: «Только бы Юрочка не простудился!» Мы нагоняем Юркуна и Олечку и уже впятером продолжаем путь до самого нашего дома на Почтамтской. Мы живем у Георгия Адамовича, в квартире его тетки, успевшей уехать во Францию. Мы прощаемся. Мне очень хочется спросить Кузмина об ангеле. Видел ли он его еще или никогда больше? Но я не решаюсь.

Мы поднимаемся по лестнице. Георгий Иванов говорит, зажигая спичку, чтобы осветить ступеньки:

— Ты, конечно, поверила. А мне кажется, что он все это тут-же придумал.

— Нет он так искренно, так правдиво... — начинаю я. Но Георгий Иванов перебивает меня:

— Оттого-то так искренно и так правдиво, что он все выдумал. Послушник Джиовани наверно существовал, а остальное — фантазия.

— Нет, нет, я убеждена, все это правда. Даже если и не совсем так было — правда.

И Георгий Иванов не спорит.

— Кто его знает? Может быть и правда. Он прикидывается простым, а на самом деле очень сложный. Как всякий поэт.

Он зажигает новую спичку.

Последняя прощальная встреча с Кузминым. В Домлите. Перед нашим отъездом.

— Счастливица! — щебечет Олечка. — Как бы я хотела душиться парижскими духами, носить парижские платья и шляпы, говорить с парижанами по французски!

— Только не слишком засиживайтесь там. Возвращайтесь скорее, — советует Кузмин. — Помните — в гостях хорошо — в Петербурге лучше. В Петербурге — дома. Ведь по-настоящему дома можно чувствовать себя только в Петербурге.

С чем и Георгий Иванов и я соглашаемся.

— Да, только в Петербурге . . .

Ирина Одоевцева

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

ВЕНЕЦИАНКА

И темного паруса яркий лоск,
и сиянье зари зеленой,
и дрожь переливчатой пряди волос,
шалью ее продленной,
и вспыхнувшей грусти горячий дым
и стремительных ласк смятенье,
и тела ее — золотой воды
в пальцах моих струенье.

НАСТАВЛЕНИЕ ДЕЛОССКОГО СТОЛПНИКА

Ты, расторгнувший узы,
ускользающий вихрь,
раствори себя в узость
острых башен твоих.

Упади, как осанна,
в полоненную ширь,
слов ищи несказанность,
слово — мера души.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Темное пили вино мы с тобой авентинскою ночью,
где Sant' Alessio храм темною башней уснул.
Но раздробил темноту, осияв ее строгой строфою,
чистый и полный огонь *Энтелехе́и* твоей:
«Влагу не дай мне пролить через край преисполненный, Муза!
Полнит обильная мысль формы размеренной грань.
С мерой дружна красота, но мысль преследует вечность:
ты же вместить мне велишь вечность в предел красоты».

РЕКА

Колеблемый сном, полуночным угаром,
я — птицей немой тебя слухом ищу,
и слышу тебя, моя **Mater Aquarum,**
твой строгий исток, световую пращу,

которой летят твои гибкие плёсы
по ткани лугов, по сплетеньям ольхи.
А время стоит. Херувим светлокосый
впервые тайком мои пишет стихи.

В них рифма звенит музыкальным прибоем,
рыданье и смех——и задор покорив, —
в них пенье виол, клавикорд и гобоев,
и лодка и мост под гитарами ив.

Так блеском твоим все грохочет безмерно.
О гибель, уйди! Совершенства струя
течет наяву и ответом на верность
пастуший рожок на заре бытия.

Твоих берегов не коснуться губами —
далёкая боль твой сияющий бег.
Но сила, покой, тишина — всё упрямей
смиряют моё славословье тебе.

Но ветра и вод всё осенней, просторней
в изгнаньи напев. И молчанье камней.
— «В потоках времен только льющейся форме
нетленность дана» — ты поведала мне.

Твой голос поблёк, вдохновенный когда то,
но им я горю, а не жаждой слепой.
— «Откликнись на зов моих звонких закатов
и к ним возвратись, но кастальской тропой!»

А Л И К И

Нежности неупиваемой снова я жажду, Алики,
в спящие губы смотрю, косу в ладони держу, —
жду, чтоб опять разгорелись со мной разлученные груди,
вспыхнул растаявшим льдом ключ поцелуев твоих.

Взглядом своим, Аполлон, укрепи чистоту нашей страсти!
Время бесстрашное, стань! Чтобы застыли вокруг
Тироса буйные розы и туч набежавших озера,
пепел вечерней волны с мертвой медузой зари.

ЭСТОНСКИЙ ГРАВЕР

ЭДУАРД ВИЙРАЛЬТ

Тебя я вижу в памяти — большого,
чужого. Близкого. Идешь по Рю Рояль,
и леонардовской улыбкой снова
губ неразжатых светятся края.

Твой труд — о нем не говоришь ревниво, —
о нем достаточно слогов, не слов.
Но — Мерион, Нантэй — с каким порывом
их творческое славишь ремесло.

Звучит твой голос скупо, углубленно
ты обращен в себя, и не могло
и быть иначе: он всегда спеленут,
твой тайный пламень, благодатной мглой.

Твой взгляд опущен, падает всё ниже,
шаги о силе скрытой говорят.
Вокруг тебя — снующий шум Парижа
и каменное солнце декабря.

И вот шаги привычно миновали
колонн Мадлэн ритмическую речь.
От жертвенников эллинских едва ли
огонь эстонской мистике возжечь.

Молчишь. Последую ль твоей дорогой
твоим словам: в искусстве высоко
лишь отречение. Лишь меры строгость.
Разграничение. Отсев. Закон.

Алексис Раннит

Перевод *Лидии Алексеевой*

Эстонский поэт Алексис Раннит встречался с Вячеславом Ивановым в 1947-1949 гг. в Риме. Во время последней встречи Вячеслав Иванов прочитал ему свою «Энтелехею», полный текст которой включен в эстонском переводе в стихотворение Раннита «Вячеслав Иванов». — Mater Aquarum — латинское название эстонской реки, протекающей через город Тарту и впадающей в Чудское озеро. — Эдуард Вийральт (1888-1954) — крупный эстонский гравер. РЕД.

ЗАМЕТКИ О ПРОЧИТАННОМ

(«ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ», АЛЬМАНАХ 3, НЬЮ-ЙОРК 1963)

Необходимое предупреждение — это не рецензия, а запись мыслей, приходивших мне при чтении «Воздушных Путей». Как всякий читатель я обращал внимание главным образом на страницы, лично мне наиболее интересные.

В третьей книге «Воздушных Путей», так же как и в двух первых, много неизданных произведений или таких, что печатались в неполной редакции: два стихотворения Ахматовой, печатаемые без ее ведома, три стихотворения Ходасевича, стихи Мандельштама. Но больше всего места отведено Бабелю. Тут и четыре его рассказа, и его письма к матери и сестре, и большая статья о нем Леонида Ржевского: «Бабель — стилист». В значительной мере посвящена Бабелю и статья редактора-издателя «Воздушных Путей» Романа Гринберга. Он приводит очень интересную ссылку на вышедшую на немецком и венгерском языках книгу Эрвина Шинко «Роман одного романа. Московский дневник». Участник венгерского большевистского восстания 1910 года Эрвин Шинко встречался с Бабелем в 1936 году, в Москве. Гринберг пишет: «Шинко вел с Исааком Эммануиловичем откровенные беседы и после одной такой беседы, происходившей, как обычно ночью и шепотом, он записал в дневник: 'Я понял, что этот человек живет в большом страхе'». Эти слова всё время вспоминаются при чтении рассказов и писем Бабеля. Он был уничтожен партдиктатурой сначала как писатель, а потом и физически.

«В сущности, когда мы читаем, или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе всегда такой: 'Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?'». Эти слова Льва Толстого помогают лучше понять трагедию Бабеля и всех советских писателей. Самого главного, чего мы ждем от художественного произведения,

они дать нам не могут. О том, как нам надо смотреть на нашу жизнь в Советском Союзе говорит только партия. «Доктор Живаго» единственное там написанное большое произведение, которое нарушило эту партийную монополию. Бабель погиб не написав такой книги. Помешал ли ему страх, мог ли он вообще такую книгу написать? Напечатанные в «Воздушных Путях» его рассказы и письма не дают новых указаний для ответа на этот вопрос. Не дает таких указаний и статья Леонида Ржевского. При всей ценности этой статьи она не подтверждает претензии формалистов, что анализ литературных приемов лучше всего открывает и самое глубокое содержание художественного произведения. Впрочем, сам Ржевский этой претензии не разделяет. В заключении своей статьи он пишет: «...мыслимо ли вообще исчерпывающее, без остатка, изучение стиля большого писателя, расчленение мастерства? Что-то непременно останется за скобками, за найденными а-б-ц творческого приема. И это «что-то» будет, вероятно, искусством, неподражаемо 'своим' каждого художника».

В редакционной статье Роман Гринберг, упомянув о начавшейся в Советском Союзе борьбе писателей и художников за право на самостоятельное творчество, пишет: «Воздушные Пути» шлют дружественный привет всем тем, кто в России своей верой в себя, своей стойкостью сумеет отстоять право на творческую независимость». Я думаю, не найдется читателя, который не присоединился бы к этому привету.

Еще одно напоминание о мире концлагерей: Юлий Марголин напечатал в этом выпуске «Воздушных путей» стихи написанные им «в стране зе-ка».

Среди статей, помещенных в «Воздушных Путях», больше всего раздумий, согласий и возражений вызвали у меня три: «Возвращение на родину» Вл. Вейдле, «Послесловие» Г. Адамовича и «Об одной неудавшейся поэзии» Н. Ульянова. Статьи эти очень разные, на разные темы, но на двух-трех перекрестках мысли они друг с другом встречаются.

Основные положения Вейдле для меня бесспорны. Россия не Азия, а Европа, такая же неотъемлемая часть Европы, как Англия или Италия. Европа родина России. Анти-западная политика советской власти поэтому особенно преступна. Россия должна вернуться в Европу. Можно только поблагодарить Вейдле за категоричность с какой он утверждает эти положения. Особенно теперь, когда столько европейцев, стараясь осознать глубокое единство Европы, растерянно спрашивают себя Европа ли Россия? И столько русских с непо-

нятным самодовольством им подсказывают: нет, не Европа. Тем не менее статья Вейдле оставляет чувство некоторой неудовлетворенности. Вейдле не дает ни определения Европы, ни определения в чем же советская цивилизация отступила от духа Запада. Ведь, как это отмечает сам Вейдле, идеология оторвавшая Советский Союз от Запада отнюдь не восточного происхождения. И действительно, трудно отрицать, что, хотя и в чудовищно искаженном виде, тотальный марксизм унаследовал все мессианское, универсалистическое и прометеевское вдохновение европейской культуры. Это ересь, но ересь европейская, и в своей вере в прогресс, в науку, в человеческое действие и в возможность овладеть природой и историей, Советская Россия не только не ушла из Европы, но никогда еще не была в такой степени Европой. Это западная вера, какой она была в девятнадцатом веке, до искушений усталости, агностицизма и скептической мудрости. Но в другом, не менее важном смысле, Россия никогда еще не была так далека от Запада, как теперь. Приняв европейскую научно-техническую революцию, она в то же время отказалась, как от истоков, так и от подлинной цели этой революции. Для упрощения воспользуюсь формулой Дени де Ружмона: «Запад создал среди других ценностей две совсем особенные: права личности и машину». Из этих двух ценностей Советская Россия взяла только вторую. И Россия вернется в Европу только тогда, когда начнется рецепция и первой ценности: свободы и человечности.

В своей статье «Послесловие» Георгий Адамович тоже говорит о России и Западе. Читая его статью я попеременно испытывал то полное и благодарное согласие, то такое же полное несогласие, то недоумение. Так в самом начале: почему собственно ссылка на наше время, как время динамическое, вызывает у Адамовича такую иронию? Не станет же он отрицать, что никогда еще в истории все условия человеческой жизни не менялись так быстро и так радикально, как теперь. Но после этого досадного вступления идут прекрасные и волнующие страницы о патриотизме, о двух Россиях и о том «отчего мы уехали из России». Хотелось бы, чтобы эти страницы прочли и тут, за рубежом, и на той стороне. В воображаемом диалоге с оставшимися там это одна из лучших эмигрантских реплик. Но даже на этих страницах вдруг натыкаешься на замечания, с которыми трудно согласиться. Например, утверждение, что на Западе нет или почти нет раздвоения и царит «дружное национальное единодушие». А

Возрождение, реформация, все западные ереси и революции? Уже в эллинистическом мире, родине Европы, было раздвоение. С тех пор вся европейская история развивалась дихотомически, путем беспрерывной поляризации и напряженной борьбы противоречий.

Еще больше меня поразило утверждение Адамовича: «дома мы на Западе не были». С годами у меня развилось глубокое и твердое знание: Европа — это отчий дом, священная и любимая родина, которой мы всем обязаны. Я забыл, что не все так думают и чувствуют. Признаюсь, в начале эмиграции, во времена евразийства и «Чисел» у меня самого подобные заявления, что дома мы на Западе не были, не вызывали протеста. Брошенная союзниками, бесправная и нищая беженская белая Россия жила тогда чувством обиды на Запад. Из эмигрантской отверженности рождались мессианские мечтания, желания доказать, что русским изгнанникам, прошедшим через апокалипсис революции и гражданской войны, открылось знание, недоступное равнодушному Западу. Так возникли евразийство и близкие к нему течения. По выражению П. Федотова в этих кругах «Россия мыслилась уже не как живой народ, а как идея, антитетическая западной действительности». Это эмигрантское отталкивание от Запада отразилось и в «Числах», хотя не так прямолинейно как в евразийстве или в статье Шмелева, о которой Адамович вспоминает, как о статье «комически-высокомерной». Зато, если евразийство, при всем его антизападничестве, по существу было только дегеративной формой немецкого романтизма, то в «Числах» веял соблазн подлинного отрицания Запада, самой души Запада. Федор Степун очень верно назвал вдохновителей «Чисел» «новыми восточниками» и «буддийствующими христианами». Тогда же Федотов писал: «...тема смерти оборачивается в 'Числах' темой нирваны». На первый взгляд эти обвинения могут показаться необоснованными. О буддизме и нирване никто в «Числах» не говорил. Но если под буддизмом условиться понимать всякое мистическое отрицание мира, то тогда Степун и Федотов правы. Для многих участников «Чисел» Маркион и Розанов были единственными экзегетами христианства. «Есть древняя легенда, — писал в «Числах» Адамович, — Бог не создал мира, не хотел создавать его. Мир вырвался к бытию против Его воли». Отсюда «в душу закрадывается соблазн: не надо ли 'погасить' мир, то-есть на это работать». С тех пор прошло много лет, но когда читаешь Адамовича всё кажется, что еще и сегодня его сознание не осво-

бодилось от этого соблазна. Отсюда «дома мы на Западе не были» и замысел «парижской ноты»: «В основе, в источнике было, конечно, гипнотически-неотвязное представление об окончательном, абсолютном, незаменимом, неустранимом, — нечто очень русское по природе, связанное с вечным нашим «всё или ничего» и с отказом удовлетвориться чем-либо промежуточным. На Западе мы не были «дома» именно потому, что здесь это «или-или» ни сочувствия, ни отклика не встречало. В поэзии французы предлагали нам оценить какие-нибудь необыкновенно смелые, необыкновенно меткие образы, а мы недоумевали: к чему они нам? Образ можно отбросить, значит его надо отбросить. Образ по существу не окончателен, образ не абсолютен...»

Но не абсолютно и слово, весь мир не абсолютен. Абсолюта, вообще, может быть, нет. «Сравнение, которое давно уже было сделано: в руках у человека роза или, если угодно, кочан капусты, — поскольку роза ничуть не лучше и не хуже кочана капусты. Листик за листиком, лепесток за лепестком: не то, не то, ибо то, что единственно дорого, единственно нужно, таится в глубине, — пока не видишь, что нет в руках ничего! А подбирать и собирать рассыпанные лепестки нет ни малейшего желания: пусть подбирают те, кому они нравятся. Впрочем, они и не оборвали бы их! Не знаю, как сказать об этом яснее». Это одна из тех, я бы сказал, сверх восточных мыслей, которые кажется навсегда зачаровали сознание Адамовича. Предлагая во имя чего-то единственно нужного, окончательного, абсолютного «погасить мир», он в то же время не верит, что это окончательное и абсолютное существует. Он не обещает даже нирваны. «Отрыв, отказ, освобождение» приведут не к обещанному «головокружительному блаженству», а только к пониманию, «что нет в руках ничего». Но в конце статьи Адамович неожиданно цитирует поэта, очень западного, несмотря на все приходившие ему «дурные мысли»: «Le vent se lève, il faut tenter de vivre», (в предлагаемом Адамовичем переводе: «Поднимается ветер, попробуем жить»). Адамович приводит эти слова, как необходимый комментарий к спору о «парижской ноте». Между тем, они совершенно меняют всё впечатление от его статьи. Ход мысли между «нет в руках ничего» и этим неожиданным для читателя «попробуем жить» остался неосвещенным.

Конечно, всего не скажешь изъявительно. Интуиция всегда несоизмерима с находящимися в распоряжении писате-

ля средствами выражения. Слова, понятия, образы, ритм бессильны передать ее таинственную простоту. То, что Адамович всю жизнь пишет об одном и том же, всё уточняя и уточняя свои намеки и всё-таки не находя окончательной формулировки — признак подлинности. Он увидел что-то действительно своими глазами. Однако, иногда кажется, что не желая открыть свои мысли в их непосредственном наивном виде, он не старается сделать последнее, трудное усилие внимания, необходимое, чтобы дочертить «линии, оставшиеся неясными».

Статья Ульянова «Об одной неудавшейся поэзии» по своему вдохновению прямо противоположна статье Адамовича. Статья эта меня поразила. Тему современного машинизма в эмигрантской литературе редко кто так ставил. Чрезвычайно интересно всё, что Ульянов пишет об обращении Блока в «машинную веру». В эмиграции много говорили и спорили о Блоке, но об этом его обращении наша литературная интеллигенция молчала. На фоне этого молчания статья Ульянова производит неожиданное и очень сильное впечатление. Он словно первый увидел слона. «Почему же не футуристы, а певцы прекрасной Дамы и вечной женственности прониклись чувством величия машинной эры?» — спрашивает Ульянов. И отвечает: «Уже в тогдашнем машинном гуле слышался глас Божий. Новое божество открылось не уличным ораторам, а людям веры и мистической одаренности». Это утверждение очень верно. Значение научно-технической революции нельзя понять, не почувствовав ее мистического происхождения. По выражению Бергсона: мистика «призывает» механику. Но это западная мистика воплощения и деятельной любви, а не восточная, с ее отрицанием мира и неверием в человеческое действие. Поэтому вовсе не странно, что именно Блок, самый мистической поэт русского «серебряного века», благословил машину и воспел превращение России в новую Америку. Это был, конечно, не отказ от всегда слышавшегося Блоку мистического призыва, а, наоборот, дальнейший шаг на пути следования этому призыву, шаг трудный и героический.

Ульянов прав, когда жалуется, что атомный век не нашел своего Гомера. Но с некоторыми попутными его замечаниями трудно согласиться. Например, удивительно утверждение, что до Александра Гефтера никто в русской литературе не сумел описать бега тройки. Еще большее недоумение вызывают высказывания Ульянова, создающие впечатление,

что он требует от литературы лишь эстетического восхищения героическими ритмами индустриальной эпохи и мощью машин, независимо от их применения: пусть это будет даже «ураганный огонь артиллерии». Он упрекает старую русскую литературу в том, что поезд интересовал ее «больше составом пассажиров своих трех классов, а не поэзией мчащейся громады на колесах». Всякая забота о социальном благоустройстве кажется ему недостойным искусства утилитаризмом и ему нравится, что Гумилев порвал с некрасовско-толстовской нотой «ужасов войны». Всё это оставляет неприятный осадок. Да, конечно, последняя цель научно-технической революции, не увеличение благополучия, а увеличение бытия, преображение, победа над косностью, освобождение из условий пространства и времени, то, что Тейар де Шарден называл движением к точке Омега. Но именно поэтому это движение и не может быть равнодушно к социальной правде: оно рождено мистической милосердной любовью, стремящейся спасти всех людей и каждого человека. Если это так, то тогда забота старой русской литературы о пассажирах третьего класса ближе к подлинному вдохновению машинизма, чем только эстетическое любование мощью и движением машин. Я убежден, Блок это знал, именно этим и объяснялось его обращение.

В третьем выпуске «Воздушных путей» особенно много воспоминаний: Галина Кузнецова «Грасский дневник», Лидия Шаляпина «Об отце», Елена Извольская «Поэт обреченности», Артур Лурье «Детский рай», Михаил Чехов «Жизнь и встречи». К отделу воспоминаний можно отнести и «Н. А. Тэффи в письмах» Андрея Седых. Большинство этих воспоминаний очень интересно. Галина Кузнецова записала несколько задушевных высказываний Ивана Бунина, сумев передать неподражаемый бунинский язык. Некоторые замечания Бунина поражают. Например: «Нет ничего лучше дневников — всё остальное брехня!» Вот тема для литературоведов: Бунин без всяких мудрствований покончил с традиционным романом, задолго до того, как сверх интеллектуальные французы начали выдумывать антироман. Елена Извольская с большим волнением и любовью пишет о своих встречах с Мариной Цветаевой. Артур Лурье дал поразительный образ Хлебникова, «духовного старца от искусства». Очень интересны «Трактат об одностроке» Владимира Маркова и некоторые его собственные одностроки. В статье «Встреча Достоевского и Гоголя» Юрий Маргулиес развивает гипотезу, что До-

стоевский присутствовал на встрече Гоголя с «новыми литераторами» на ужине у Комарова, осенью 1848 года. Эргэ в статье «Читая «Поэму»» говорит о родстве Ахматовой с Достоевским и Пушкиным.

Третью книгу «Воздушных Путей» стоит прочесть от доски до доски.

Владимир Варшавский

*

Я сослан в самого себя,
Я заточен в свое сознанье.
Я — вся огромность мирозданья
В песчинке собственного я

Я сослан в самого себя.

Я — концентрационный лагерь.
Я — Бухенвальд и Колыма.
Я — заполярная зима.
Я — труп, оставленный в овраге:
Я — Божий мир.
Я — жизнь сама!

*

Мне бессонится,
мне не лежится.
Канителятся мысли гурьбой.
Израсходовав все заграницы,
Я не знаю, что делать с собой.

За окном флорентийское небо,
И на нем петербургский рассвет:
Мне бы горсточку радости,
мне бы
Двухцилиндровый мотоциклет!
Чтоб в бессонницу,
в небо,
в Италию,
В Петербург,
в Петроград,
в Ленинград
И так далее, и так далее...
Через дождь,
через снег,
через град
Прокатить бы по шпалам Истории,
По тому, что еще впереди.
По ее винтовой траектории,
В побежденное завтра войти.
Чтоб из завтра взглянуть на Флоренцию,
На сравнявшийся с небом рассвет.
На полеты,
бунты,
конференции
Наших кибернетических лет.

*

Весна влетает революцией,
Горланит с самого утра.
Вмиг отменяет конституцию:
Простуды, печки, светера.

С дорог несет автомобилями,
А город, как аэродром, —
В международном изобилии
Гудит неоновым нутром.

Апрельским солнцем отогретая
Идет весенняя гульба:
Хвала тебе, моя планета,
Моя страна, моя судьба!

Земля кипит переполохами,
Бунтует силой неземной:
Дышать и жить такой эпохой,
Такой Землей, такой весной!

*

Слава Богу, теплеть начинает.
Нерешительно как-то. Но все ж
По росткам, по костям пробегает
Предвесенняя легкая дрожь.
Деревенский штампованый вечер:
Перекресток,
река,
огонек...
Он ни чем не казист, не отмечен
Этот милый земной уголок.
Я не помню — была ли такою
Невзыскательность русской тоски,
Русский вечер над русской рекою,
Скажем, где-нибудь возле Оки.
Но кому, это нужно, простите,
Был ли вечер таким или нет.
В очистительном ливне событий,
В урагане сорвавшихся лет,
Это все унеслось без возврата,
Обессилело в царстве теней,
В романтических красках заката
Навсегда подытоженных дней.

К. Померанцев

«СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ» К. К. СЛУЧЕВСКОГО

НОВОЕ ИЗДАНИЕ

Во время литературной оттепели 1960-2 г.г. историки и любители русской литературы получили несколько подарков: к ним принадлежат такие издания, как полное собрание стихотворений Иннокентия Анненского,* избранные стихотворения Фофанова, первое полное издание стихотворений Ивана Аксакова, довольно небрежное издание небольшого числа избранных стихотворений Анны Ахматовой и т. п. В хрестоматиях стали появляться отдельные стихотворения кн. Цертелева, Владимира Соловьева, Бальмонта, и даже (!) Андрея Белого и Зинаиды Гиппиус. К таким же отрадным явлениям принадлежит и издание «Стихотворений и поэм» К. К. Случевского в «Большой библиотеке поэта» (Москва-Ленинград. 1962, стр. 468 и 6 таблиц — портретов и факсимиле). К текстам избранных стихотворений присоединены довольно обстоятельный этюд А. В. Федорова (стр. 5-52) и не менее обстоятельный критический аппарат (стр. 383-445).

Мы не всегда можем относиться с полным доверием к вводным этюдам и примечаниям даже обстоятельных совет-

---

* Впрочем один из моих ассистентов, В. Буш, нашел стихотворения, не вошедшие в «полное» издание, так как его издатели не обратили достаточного внимания на статьи Анненского, в которых эти стихотворения были опубликованы. Надо также обратить внимание на один из томов серии «Библиотеки драматурга» «Эврипид»: в нем напечатаны замечательные переводы Анненского; но так как это не было указано в объявлении об этом издании, то оно почти-что не попало за границу (Москва 1960, стр. 512). Кстати из этого издания мы узнаем, что за время полного игнорирования этого замечательного поэта в СССР его переводы двух трагедий Эврипида («Просительницы» и «Троянки») «утеряны»! — утеряны, конечно, потому, что в сталинский период Анненский принадлежал к «принудительно-забытым» поэтам.

ских изданий. Приведу два-три примера: из комментариев к научному четырехтомному изданию Жуковского мы узнаем, что «аллеманские стихотворения» И. П. Гебеля, переведенные Жуковским, «написаны на одном из нижненемецких (швабских) говоров» (том II, 1959, ст. 473), — в действительности же диалекты всей южной Германии **верх**ненемецкие, в частности и швабский, но «аллеманские стихотворения» написаны на одном из аллеманских диалектов, а вовсе не на швабском; автору примечаний даже не пришло в голову справиться в какой-нибудь энциклопедии и он не остановился над вопросом, почему будто-бы «швабские» стихотворения носят название «аллеманских»! В сборнике «Русский фельетон» (Москва 1958), редактированном довольно известными специалистами А. Западовым и Е. Прохоровым узнаем, что «Вильгельм Телль» Россини написан «на сюжет одноименной **поэмы** (!) немецкого поэта Ф. Шиллера» (стр. 451): очевидно автор этих строк даже не слыхал о существовании трагедии Шиллера «Вильгельм Телль»! Наконец в год тысячелетия со времени изобретения славянской азбуки св. Константином-Кириллом выходит сборник стихотворений Н. А. Добролюбова («Малая библиотека поэта», 1962 г.), текст стихотворений «подготовлен» и примечания написаны уже значительным советским ученым Б. Я. Бухштабом. Здесь читаем: «Кирилл — знаменитый христианский миссионер среди славян в IX в., Петшин — место расположения монастыря (!) в Праге, где Кирилл некогда проповедывал» (стр. 264). Что Кирилл, проповедывавший в Паноннии («Великоморавском государстве»), попал в Прагу и там проповедывал «в монастыре», который каким-то образом существовал у народа, который еще надо было обратить в христианство — все это «открытия» автора примечаний; но ведь сведения о славянской миссии Кирилла и Мефодия принадлежат к «азбуке» подготовки всякого слависта! В сравнении с этой славистической безграмотностью всякие сомнительные утверждения о каких-то западных буржуазных и реакционных литературах не заслуживают, может быть, особого осуждения. Но если даже такой историк литературы как Виктор Шкловский считает греческого прозаика Лукиана римским писателем (не смешивая его с погибшим при Нероне римским поэтом Луканом, — Шкловский к своему несчастью упоминает в этом контексте одно из произведений **греческого** Лукиана!), то от многих авторов введений и примечаний к старым или новым текстам особой осведомленности ожидать не приходится. Я должен

подчеркнуть, что приведенные примеры только примеры из собрания множества ляпсусов в изданиях советских славистов!

Редактор издания стихотворений Случевского работает научно уже давно. Он автор переиздававшейся книги об искусстве перевода; впрочем, ее переиздания были странным образом «новыми **ухудшенными** изданиями», — в них было устранено много ценных страниц первого издания, в частности цитаты из переводов Анненского, и добавлено много панегирического хлама (о переводах Ленина и т. п.). Федоров занимался Случевским и раньше: ему принадлежит издание Случевского в «Малой библиотеке поэта» (1941, стр. 316), в период незамеченного или прессой неотмеченного некоторого облегчения положения истории литературы в начале войны (ср. напр. комментарии В. Гиппиуса к первым появившимся тогда томам I-му и X-му большого собрания сочинений Гоголя, выход V-го, лучшего из всех, тома большой Истории русской литературы Академии Наук, выход нескольких томов обоих «Библиотек поэта» и т. п.) В интересном вступлении к изданию 1941 г. Федоров отмечает «близость» ранних стихотворений поэта к «поэзии символизма и даже футуризма» (стр. 35) и дает почти исчерпывающую характеристику стилистического своеобразия Случевского. Новый вариант предисловия представляет значительную ценность благодаря множеству указаний на забытые статьи Случевского, анализу его поэм и ряду цитат из стихотворений в сборник не вошедших. Особое значение имеет и проработка текста стихотворений: в книге даны «ранние редакции» ряда стихотворений (стр. 385-404), детальные библиографические указания, и, наконец, опубликован ряд стихотворений (около 15-ти), не вошедших ни в одно из собраний, изданных самим автором или вовсе не печатавшихся.

Все эти несомненные заслуги издателя, к сожалению, не позволяют все же нам признать издание безупречным: существенным его недостатком является отсутствие в нем **именно тех** стихотворений, которые лучше всего показывают и доказывают, что Случевский является несомненным предшественником символизма и «даже футуризма», хотя и в ином отношении, чем думает А. Федоров. Чем объясняется странный выбор стихотворений, при котором из отдела «Думы» (I том собрания сочинений изд. 1898 г.) взято 22 стихотворения и опущено 15, сказать трудно: во всяком случае отсутствие этих 15-ти стихотворений вряд ли может укрепить те-

зис издателя о несомненной связи творчества Случевского с символизмом (и «даже футуризмом»). Взглянем на опущенные стихотворения.

Даже заглавия некоторых из них характерны! Это «Неуловимое», «Невменяемость», «Усталость», «Воплощение зла», «Две молитвы». Какие-то «политические» мотивы могли помешать опубликованию стихотворения «Голова Робеспьера». Но упомянутые только-что и большинство других, невошедших в издание «Большой библиотеки поэта» стихотворений не помещены только потому, что они в какой-то степени и в каком-то отношении стоят в противоречии с художественными **вкусами** каких-то кругов, которые выполняют в наши дни функцию цензуры. Пропуск именно этих стихотворений ослабляет впечатление введения к изданию и именно они могли бы поддержать совершенно правильное утверждение А. Федорова, что Случевский — предшественник (или «один из предшественников») русского символизма. Достаточно процитировать важнейшие строфы первых стихотворений отдела «Думы»:

НЕУЛОВИМОЕ

Неуловимое порою уловимо,
как ветер, как роса, как звук или кристалл!
Все уловимое скорей проходит мимо,
чем чувство, мысль, мечта, сомненье, идеал!

Бог создал не один, а два великих мира:
мир видимый для нас, весь в красках и чертах,
мир тяготения! От камня до эфира
он — в подчинении, в бессилье и в цепях...

Но подле мир другой! Из мысли человека
от века рóжденный, он, что ни день, растет!
Для мысли дебрей нет, и ей везде просека,
и тяготения она не признает.

А все же кажется, что в недра душ людских,
в нас корни некие спускаются от неба,
свидетели судеб и сил совсем иных.

В этом стихотворении есть некоторые черты, характерные для поэтического языка Случевского вообще: **это**

«странности», вроде необычных ударений «рóжденный» и необычные обороты заставляющие читателя с недоумением остановиться над смыслом строк и фраз вроде «для мысли **дебрей** нет, и ей везде **просека**» или над образом «корней» спускающихся с неба в наш мир. Полагает ли поэт, что «небо» стремится при помощи этих корней получить из земного мира какие-то соки и зародыши бытия? Это остается неясным.

Представление о существовании двух — или даже многих — миров принадлежит к основам мировоззрения символистов и мы встречаем различные выражения этой мысли в их произведениях. Достаточно вспомнить Сологуба, у которого

душа возносится [. . .]
к дверям мечтательного рая,
в недостижимые края...

Эти края известны нам из «астрономических мифов» Сологуба: это — его «Звезда Маир» и «Земля Ойле». И Брюсов признается —

Нездешнего мира мне слышатся звуки...

И, конечно, еще чаще повторяются эти мысли символистами второго поколения.

Случевский подчеркивает значения «иного мира» в этой жизни:

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ

Есть в земном творении облики незримые,
глазу незаметные, чудеса творящие....

В жизни человеческой, в важные мгновения,
облики незримые вдруг обозначаются...

С ними все незримое видимым становится,
в гробовом молчании разговоры слышатся,
что-то небывалое в жизнь вступить готовится...

Человек решается... и в его решении
мир несуществующий в обликах присутствует...

И другое типичное для символизма представление о двойственности человеческого «я» и даже о невидимом присутствии нашего «двойника» в нашей жизни встречаем у Случевского в стихотворении «Нас двое», которое, впрочем,

попало в советское издание и стоит в нем на первом месте, хотя оно стало бы вполне понятным только в связи с двумя только-что процитированными в издание не вошедшими стихотворениями. Первые строки этого стихотворения:

Никогда, нигде один я не хожу,
двое нас живут между людей:
первый — это я, каким я стал на вид,
а другой — то я мечты моей.

Вспомним у Блока стих, «Двойник» и, если угодно, стихотворения такого, не слишком заметного, но характерного для символизма «попутчика», как И. Рукавишников.

И неужели такие строки, как «Душа на тело повлияла!» («Dies irae») или: «Нет! полон день земли, в котором бьемся мы, духовной полночью, смущающий умы» или о Робеспьере: «и ты отравлен был чудовищной мечтой»; или признание, что в душе есть переживания, исходящие

из ненарушенной святой ее тиши,
из сокровеннейших и темных уголков,
из незамеченных до срока тайников

(«Усталость»)

— неужели же эти строки привели к исключению стихотворений из нового издания? Еще существенней пропуск целых серий стихотворений «Загробные песни» (напечатаны в «Русском Вестнике» 1902-3 гг.*).

Надо, однако признать, что в издание «Большой библиотеки поэта» вошло всё же значительное количество стихотворений, в которых встречаем такие типичные для символизма, мысли и темы, как «неуловимое», «видения» и ряд других мотивов и образов.

Случевский замечателен в истории русской поэзии в особенности своим языком: его «прозаизмы» и резкие сочетания «непоэтических» слов в стихах, наконец «странные словосочетания» обращали на себя внимание современников, один из них (К. Медведский, Исторический Вестник 1894, 9)

---

* Многие из «Загробных песен» печатались в наши дни по рукописи автора (в «Гранях» и газетах) с указанием, что эти стихотворения никогда не были напечатаны. Это неверно: они все были помещены в «Русском Вестнике».

упрекал Случевского в «снисходительном отношении к так называемым прозаическим оборотам». Но и ценивший Случевского Владимир Соловьев видел в его стихотворениях некрасивость и даже безобразность, и высоко ставивший Случевского, как предшественника символистов, Валерий Брюсов утверждал, что Случевский «писал свои стихи по-детски... В поэзии он был косноязычен... Он вдруг сбивался на прозу»; в его поэзии — «безобразие, в котором нет ничего пошлого, ничего низкого, скорее своеобразие, хотя и чуждое красивости». Но именно этими чертами Случевский предвосхищал многое в поэзии символистов, конечно, не Бальмонта и Брюсова, а Блока и Анненского, и даже послесимволическую поэзию Пастернака, в частности раннего Пастернака! Резкий и «терпкий» стиль многих стихотворений этих поэтов также чужд «красивости» (**не** красоты, а красивости!)... Именно это вызывало — иначе непонятное — отрицание раннего Блока Мережковским («плохие рифмы») и Брюсовым, сначала не увидевшим у него поэтического дара и современную нам критику «плохого языка» Блока у С. Маковского.

Но в частности это **историческое** значение поэзии Случевского делает особенно настоятельным такое издание — хотя бы и только избранных — его стихотворений, которое содержало бы достаточный материал для суждения о действительном облике поэта, как пролагателя новых путей...

Гейдельберг *Дмитрий Чижевский*

ЛЕГИОН

Не в разукрашенных шатрах
Меня привел к тебе Аллах;
Не с изумрудами поднос
Тебе в подарок я поднес,
И не ковры и не шелка
Твоя погладила рука, —
Когда в пустыне, на ветру,
Ты предо мной сняла чадру.
На свете не было людей
Меня бездомней и бедней.
Солдатский плащ, — вот, всё, что смог
Я положить тебе у ног.

ЗНОЙ

«Наслаждайся жизнью, путник.»
Ю. Розинус (16 век)

Испепеляющее солнце.
Необоримый зной.
Курень прохладен. И, в оконце,
Гляжу я...
За Тобой
Идут года мои. Впустую
Не прожил я. В степном огне
Поставить только-б запятую
На исчезающей спине
Последнего, последыша. Однако,
Пора знать честь. И замолчать.
Для смерти каждый одинаков,
На ком легла ее печать.

СОМ

Как рыба плавать в глубине
И Божий свет не видеть,
Как чёрный сом, лежать на дне
И солнце ненавидеть.
Как человечий легкий рок,
К созвездьям поднимаясь,
Лететь назад, лететь в проток,
Крестясь и чертыхаясь.
Как... Я не знаю. Но потом,
По-братски сдвинув плечи,
Лежат на дне и черный сом
И остов человечий.

Николай Туроверов

ИЗ ТЮРЕМНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ *

ПАРФЕНОВ, ПОЭТ-ПАРТИЗАН

В середине 1962-го года в «Литературной Газете» появилось любопытное сообщение. Оно касалось одной из самых популярных в СССР партизанских песен «По долинам и по взгорьям». В сообщении говорилось, что авторские права на эту песню были возвращены ее действительному автору поэту Парфенову. Читатели «Литературной Газеты» вероятно поняли, что стало-быть в прошлом произошла какая-то «ошибка» и теперь «справедливость восторжествовала». Но что же, собственно говоря произошло с этой песней и ее автором? Ведь известно, что песня эта появилась больше сорока лет тому назад, в разгар гражданской войны и с тех пор в СССР пелась всеми, трудно найти советского человека любого поколения, который бы ее не знал. Известна эта песня многим и за рубежом.

Одна из моих встреч тюремного периода проливает свет на историю этой песни и ее автора. Это было осенью 1936 года в Бутырской тюрьме НКВД в Москве. Время — между процессом Зиновьева и процессом Пятакова. Меня тогда в Бутырках перевели в камеру служившую больничным «стационаром». В этой новой камере мое внимание сразу же привлек сидевший там Парфенов. Он был среднего роста, крепкого сложения, широкоплечий, рыжеватый с типично русски-

---

* Автор воспоминаний, И. Бергер, провел больше 20 лет в сталинских тюрьмах и концлагерях. Он приехал в Москву, по вызову Исполкома Коминтерна, в 1932 году. С начала 20-х годов, он был одним из руководителей компартии Палестины. В 1935-ом году Бергер был арестован в Москве по обвинению в троцкизме. После 20-го съезда, в 1956 г. был реабилитирован и выехал заграницу. Теперь он живет в Израиле. Недавно в Израиле опубликована его книга «Свет в полночь». Настоящие отрывки, присланные нам автором, из второй книги его воспоминаний, которая вскоре выйдет по-английски в издательстве Коллинса в Лондоне. РЕД.

ми чертами лица. В камере к нему относились с большим вниманием и уважением. Мне рассказали, что он поэт, старый член партии и один из руководителей партизанской войны на Дальнем Востоке. Когда он мне представился, он сейчас же сделал оговорку, что он Парфенов, а не Панферов, которого он назвал приспособленцем и лизоблюдом... О себе он рассказал следующее. После окончания гражданской войны ушел на гражданскую службу, много писал, стал автором многих популярных песен, рассказов и нескольких романов. Незадолго перед арестом в 1935-ом году, он закончил роман о жизни своих товарищей, участников гражданской войны, о тех трудностях, с которыми они столкнулись в мирное время. Этот роман назывался «Общее и Личное». Роман был принят с энтузиазмом рядом критиков, и в то же время подвергся уничтожающей критике со стороны других. Вскоре Парфенов был арестован якобы за симпатии к «правому уклону».

В Бутырках мне довелось подолгу разговаривать с Парфеновым. Он знал многих советских писателей, Горький лично ему покровительствовал. Фадеева он знал еще с Дальнего Востока. Парфенов принадлежал к тому кругу русской интеллигенции, которая придавала решающее значение продолжению в литературе национальных русских традиций. Сам он был выходец из крестьян, родом из Западной Сибири, которая дала советской литературе целый ряд молодых писателей. К рабочему революционному движению он примкнул еще в ранней юности и быстро завоевал руководящее положение во время организации сибирского партизанского движения. Во главе своей части он воевал против Колчака, а впоследствии против японцев, а также осуществлял контакт между партизанскими штабами и штабом РККА.

Парфенов был не только поэт, он сочинял и мелодии своих песен. И как доказательство своего авторства и для иллюстрации своих рассказов он часто в больничной камере исполнял свои песни, напевая мелодию вполголоса, так как «шума» в камере не разрешалось. Это сделало его чрезвычайно популярным среди заключенных. И его популярность увеличивалась еще его интересными рассказами из эпохи партизанской войны.

Однако в камере находились и скептики, хорошо знакомые с текущей литературной жизнью, и утверждавшие, что песни, которые пел Парфенов были не его песнями. А на уверения Парфенова, что это его песни, они отвечали сдержан-

ной улыбкой. Его самого они считали интеллигентным, культурным... но чуть-чуть помешанным. И действительно, даже нам, сидевшим в Бутырской тюрьме, казалось немыслимым, чтобы известную песню, написанную каким-то автором, приписывали бы другому. Так «знатоки» утверждали, что партизанская песня «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед...», официально приписывается поэту-«лауреату» Лебедеву-Кумачу. Парфенов приходил в ярость от той славы, которой был окружен Лебедев-Кумач. По его словам, Лебедев-Кумач выработал специальную систему плагиата. Он заменял в песне несколько слов «приглаживал ее» и подписывал своим именем. Такую операцию Лебедев-Кумач будто бы проделал не только с песней «По долинам и по взгорьям», но и с многими другими песнями Парфенова.

Парфенов был упрямым, «неукротимым» человеком. Он затевал бесконечные споры и ссоры с руководством Союза Писателей и с издательствами. По его словам, все эти ссоры были вызваны тем, что его сочинения выпускались за подписями других авторов. Он полагал, что все это было результатом враждебного к нему отношения со стороны руководства Союза Писателей. И Парфенов был уверен, что его преследуют не только по личным мотивам, но и потому, что он настаивал на более национальном уклоне русской литературы.

Кроме славы Парфенова повидимому волновал и вопрос об огромных гонорарах, которые правительство уплачивает авторам популярных советских песен. По словам Парфенова, его обкрадывали на десятки тысяч рублей. И свой арест он объяснял, как завершение плана «клики», чтобы избавиться от него окончательно.

Во время допросов в Бутырской тюрьме Парфенова обвиняли главным образом в «правом уклоне». Он этого не отрицал и критиковал многие стороны партийной политики, в частности — Сталина за его политику в грузинском национальном вопросе и в ряде других. Политически он категорически был против взглядов Троцкого, но с похвалой отзывался о работе Троцкого во время гражданской войны, а также считал Троцкого прекрасным литературным критиком. Из других партийных руководителей он особенно выделял Кирова, который по его словам, поддерживал его по ряду вопросов, связанных, в частности, с сохранением «русской традиции» в литературе. С особенной неприязнью он отзывался о Кагановиче, и которого обвинял не только в непонимании русской культуры, но и в незнании русского языка и во-

обще в отсутствии всякой культуры; в непонимании духа не только русской интеллигенции, но и интеллигенции вообще. По словам Парфенова, он говорил о Кагановиче в этом духе и на допросах и это тщательно записывалось в протоколы, но повидимому не инкриминировалось ему как преступление. Критика Сталина была преступлением, критика же его «соратников» — просто достоянием протокола.

Парфенов сохранял упорную надежду на реабилитацию, на то, что его гражданское и партийное имя будет «очищено», и его репутация восстановлена. Но дело повернулось поиному. Впоследствии, в 37-38 г.г., его решили использовать на процессе Бухарина. И он погиб: не то был расстрелян, не то покончил самоубийством. Только четверть века спустя по его смерти, незадолго до того как были написаны эти строки мне в советской печати попалась заметка о деятельности дальневосточных партизан в начале двадцатых годов. Имя Парфенова стояло там вторым в ряду партизанских руководителей. Таким образом Парфенов повидимому теперь реабилитирован «по всем пунктам»: по партийной и по литературной линии, если принять во внимание сообщение «Литературной Газеты» о возвращении авторских прав на партизанскую песню мертвому Парфенову.

2. СЫН СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

...Понтович был исключительно начитан. До тюрьмы у него была большая квартира, в которой часто собирались сливки советского литературно-артистического общества. Главным образом интересовала его литература. В былые времена он был знаком с Леонидом Андреевым и Блоком, из писателей-эмигрантов до революции знал Мережковского, Зинаиду Гиппиус и многих других. По его словам он многое сделал для карьеры начинавшего в те годы Сергея Есенина.

Однажды ночью мы лежали с ним бок-о-бок, долго, по обыкновению, разговаривая. Должно быть было часа два ночи (точного времени никто не знал, поскольку ни у кого из нас часов не было). Но это был как раз тот час, когда в камеру обыкновенно прибывали новые заключенные. Дверь камеры резко распахнулась и в нее с силой втолкнули нового заключенного. Это был молодой человек с большим количеством багажа. Моей обязанностью было найти для него место. Но как только свет лампочки упал на его лицо, Понтович схватил меня за плечо и прошептал с ужасом: «Боже, да ведь

это же Сергей Есенин». Я успокоил его: Сергей Есенин мертв и похоронен, и сам Понтович был на его похоронах.

Действительно новый заключенный назвался Есениным. Его звали Юрием Есениным. Юрий Есенин, молодой человек (ему было тогда 22 года), был сыном поэта Есенина от первого брака. Его матерью была крестьянская девушка первая жена Сергея Есенина, с которой он впоследствии развелся.

Юрий воспитывался вместе с другими детьми Сергея Есенина в доме его другой жены, внучки Льва Толстого. Она была обеспечена значительно лучше, чем две первые жены Есенина и взяла на себя воспитание его детей.

Было неудивительно, что Понтович был так поражен наружностью Юрия. Он действительно был исключительно похож на отца. Юрий рассказал нам, что, хотя он сам не считает себя поэтом, но все же пишет стихи и жизнь его во многом похожа на жизнь отца. Юрий знал наизусть не только все стихи своего отца, но и те молодии, которые часто им соответствовали; у него был хороший голос, и он часто пел нам эти песни.

В камере ему дали хорошее место, потому что мы почувствовали, что как бы дух его отца пришел вместе с ним в нашу камеру. Даже простые люди питали к нему необычайное уважение за славу его отца. Он пробыл в камере несколько недель. То, что нас в нем поразило, это то, что молодой человек, воспитанный в относительном довольстве и достатке, может быть до такой степени озлобленным и непримиримым к окружающему. Все мы в один голос советовали ему быть осторожнее. Но он, казалось, не мог себя сдержать. Хотя его отец Сергей Есенин покончил самоубийством, Юрий считал, что в действительности его на это толкнули окружающие его люди, и таким образом смерть Есенина была скорее убийством чем самоубийством. Юрий считал, что у Есенина не было внутренних мотивов для самоубийства, а оно было результатом преследований. «Они затравили отца». Эту фразу он повторял всякому, и многие в камере в том числе Понтович соглашались с ним.

Юрия привезли в тюрьму из Хабаровска для суда по делу о «террористическом заговоре». Это казалось нам странным. Юрий казался молодым романтиком и меньше всего к нему подходило обвинение в «террористической деятельности». В момент ареста он был на военной службе на Дальнем Востоке и совершенно не приготовлен к тому, что его ожидало. В это время он был всецело поглощен своей службой, ко-

торая ему чрезвычайно нравилась и, когда его привезли в Москву, он все еще думал, что его арест связан с нарушением им каких-то правил военной службы. Нам пришлось его убеждать, что за такие нарушения людей не возят с Дальнего Востока в столицу.

Вскоре однако выяснилось, какие обвинения выдвигаются против Есенина. Все это дело очень быстро приобрело трагический характер. Оказывается в начале тридцатых годов существовал небольшой кружок молодых людей, в большинстве из влиятельных и высоко-интеллигентных семей. В 1935-ом году, вскоре, после убийства Кирова, один из участников этого кружка, сын старого большевика и прокурора, начал убеждать своих товарищей, что пришло время «выступить», и публично продемонстрировать недовольство политикой советского руководства. Молодые люди соглашались с ним, что положение действительно становилось невыносимым, что правительство слишком часто и неоправданно прибегает к насилиям над народом, что это мешает развитию страны, и в конце концов приведет ее к гибели. Один из молодых людей заявил тогда же, что единственным выходом было бы взять бразды правления государством в собственные руки. Юрий, бывший участником таких дискуссий, хотя сам многого и не говорил, повидимому соглашался с тем, что вокруг говорилось. Ему в то время казалось, что все зависит от наличия и твердой воли группы преданных делу людей, или даже одного человека, что, например, если бы взорвать Кремль все проблемы могли бы быть быстро разрешены. Один из мальчиков, сын видного инженера, сказал, что такой взрыв был бы нетрудным делом, и он сам достаточно технически подготовлен, чтобы за него взяться. После того как каждый высказался в таком духе, как обычно, начались танцы и выпивка, и о «революционных проектах» никто с тех пор не вспоминал.

Однако после прибытия в тюрьму Юрию пришлось убедиться, что об этих разговорах хорошо помнили в другом месте. Один или двое мальчиков были арестованы по какому-то другому делу. На следствии они дали НКВД подробные показания о собраниях и обо всем, что на них говорилось. В соответствующих папках это дело было помечено как дело о собраниях «террористов». Когда мы услышали обо всем этом от Юрия, мы поняли всю серьезность его положения. Отделение, занимавшееся «террористической деятельностью» было самым опасным. Тут дело шло не только о возможно-

сти максимального тюремного срока, но скорее всего — о расстреле. К несчастью, сам Юрий был настолько напуган следствием, что не рассказал нам сразу всего, что там происходило и говорилось, и эта замкнутость сослужила ему плохую службу. Только через несколько недель после начала следствия Юрий наконец рассказал Эдуарду Эдуардовичу Понтовичу и мне обо всем, что происходило на следствии, о тех обвинениях, которые против него выдвигались. Из разговора с ним выяснилось, что Юрию предстоит суд не только как участнику заговора, имевшему целью «взрыв Кремля и убийство руководителей», но и как главному свидетелю обвинения. Следователи обработали его с большим искусством и добились от него всего, что требовалось. В частности, они с огромным уважением отзывались о его отце, и уверили его, что власть не допустит того, чтобы сын Есенина был в тюрьме или в лагере. Им удалось даже убедить Юрия, что целью его вызова в Москву было «выпутать» его из тех связей, какие он имел прежде. Разговоры его со следователями обычно сопровождались хорошей закуской и курением дорогих папирос, и все это производило на него большое впечатление. Этим объяснялось то, что он не хотел сначала рассказывать нам о происходящем с ним. Следователи даже убедили его, что у него нет совершенно ничего общего с его соседями по камере, что это временное явление и что его выпустят на свободу в «ближайшие дни». Единственным условием было то, чтобы он рассказал обо всем на суде, и если необходимо, подтвердил бы свои показания на очной ставке. В течение нескольких дней Юрий делал и говорил то, что ему было сказано: если обвиняемые молодые люди подтверждали свои высказывания и замечания на «собрании», Юрий со своей стороны тоже это подтверждал, если отказывались — Юрий спорил с ними и сам подтверждал обвинения.

Но вдруг неожиданно следователи взяли совершенно другой курс по отношению к самому Юрию и предложили ему подписать обвинения против него самого. Сначала он был только свидетелем, но когда обвинения против «группы» были сформулированы, он оказался в числе обвиняемых. Он пришел в камеру почти в слезах и просил совета, что делать. По его словам, когда он напоминал следователям об обещаниях, данных ему, они напомнили ему, что они прежде всего представители службы государственной безопасности, и что их долг эту безопасность охранять и наказывать виновных. Они говорили ему, что он должен быть наказан, но все же,

как сыну Есенина, ему может быть сделано снисхождение до пяти лет тюремного заключения.

Ни я, ни Понтович этому не верили. В 37-ом году «террористическая деятельность», будь она даже пустой мальчишеской болтовней, наказывалась иначе. Такая «деятельность», как мы хорошо знали, подходила под статью 58-8 Уголовного Кодекса и влекла за собой расстрел. В очень редких случаях приговор был десять лет заключения. Кроме того нам было ясно, что Юрия судят не как рядового участника «заговора», а как его руководителя и что в этом случае следовало наверняка ждать высшей меры. Трудно было уже советовать Юрию что бы то ни было. Он, правда, сделал попытку отказаться от подписанных им обвинений под тем предлогом, что это было сделано «под принуждением». Однако это ему не помогло. Через несколько дней Юрия увели из камеры. Насколько нам было известно, всех обвиняемых по этому «делу» расстреляли, возможно за некоторыми исключениями. Но будь Юрий в лагере, о нем пришли бы сведения, потому что он был — Есенин.

Сотрудники аппарата Сталина-Ежова, повидимому, действительно сочли для себя «неудобным» держать в тюрьме или в лагере сына Сергея Есенина, и поэтому скорее всего приняли решение «списать его в расход».

И. Бергер

ШЕСТЬ ЛЕТ В ГАЗЕТЕ ВСНХ

Когда в 1921 г. обнаружилось, что политикаа НЭП открывает возможность иметь осмысленную общественную работу, я еще не решил где буду служить. Выбор был обширный: можно было предложить свои услуги Госплану, ВСНХ, Наркомфину, Наркомату Земледелия, Центросоюзу. Меньше всего я думал о возвращении к газетной и редакторской работе. Я знал, что в этой области, где с максимальной силою проявляется идеология большевизма, бывшему «меньшевику», ставшему «беспартийным», грозят тяжелые ущемления мысли. Лучше быть «чиновником», делать какую-то, хотя бы узкую, но полезную общественную работу, чем быть журналистом, редактором и навлекать на себя нападения за несогласие с большевистской линией и идеологией. Но случилось как раз то, чего я не предполагал: после нескольких лет ухода от газетной работы именно за нее-то я и взялся, и стал ее выполнять с огромным интересом, с увлечением, без угрызений совести за допускаемое «приспособленчество», которого в то время я и не чувствовал. Вот как произошло это возвращение к газетной работе, наложившее печать на целый период моей жизни, кончившийся в декабре 1928 г. переездом в Париж на службу в Торговое Представительство СССР, а в конце 1930 г. — переходом в эмиграцию.

Летом 1922 г. я получил приглашение от М. А. Савельева придти к нему для переговоров по делу «интересующему президиум ВСНХ». Оказалось, что меня как «спеца» — опытного журналиста — приглашают вступить в редакцию только что начавшей выходить «Торгово-Промышленной Газеты» и прежде всего наладить ее правильный выпуск. Редакция или, как говорили тогда, дирекция этого органа ВСНХ состояла из трех лиц. Самым главным из них был М. А. Савельев, принадлежавший к той категории большевиков, которых, вне зависимости от возраста, называли «старыми». Он был членом большевистской партии до 1917 г., принимал какое-то участие в революции 1905-1907 г.г., а в 1912-13 г.г. состоял в Петербурге членом редакции большевистского журнала «Просве-

щение». Будучи малодеятельным членом президиума ВСНХ в 1921-22 г.г. и не совсем удачным редактором журнала «Народное Хозяйство», Савельев, стал с 1924 г. высоко котироваться в партии как «опытный» редактор. С 1926 г., оставаясь редактором «Торгово-Промышленной Газеты», он делается заместителем директора «Истпарта» (Истории партии), редактором его журнала «Пролетарская Революция». В 1929 г. Савельев покидает «Торгово-Промышленную Газету» и так как заслуги его в качестве редактора этой, ставшей очень важной, газеты признаются большими, он делает возносящую его к верху карьеру: он — директор института Ленина, член коллегии, редактирующей сочинения Ленина, редактор «Известий» Центрального Исполнительного Комитета СССР и позднее в 1930 г, на короткое время, даже редактор «Правды». С 1931 г. Савельев заместитель председателя Коммунистической Академии, а с 1932 г. действительный член Академии Наук. В «Большой Советской Энциклопедии», выходившей в сталинское время, Савельев именуется «видным членом Коммунистической партии и Советского Государства». В партии его все знали и называли в глаза Максом (его имя Максимилиан), а за глаза «толстым Максом», не стесняясь иногда прибавлять, что он делает карьеру потому, что умеет сидеть на чужой спине. Замечание, как увидим, не лишенное оснований.

Вторым членом редакции был П. Н. Муравьев, коммунист с небольшим стажем, неизмеримо более способный чем Савельев, но человек неустойчивый, отчаянный пьяница, накидывающийся на водку и вино, и даже после небольших порций винопития засыпавший где бы то ни было и во всех самых неудобных и нелепых положениях. Он был яростным противником НЭП, считал что его введение «загадило» всю революцию и пьянство свое объяснял разочарованием в революции, «погибшей от нэповской грязи». Скоро после моего вступления в редакцию он куда-то исчез. Одно время он был кем-то вроде комиссара при знаменитых тюрьмах на Соловецких островах и, приехав в Москву, зайдя ко мне, рассказывал о быте и обычаях в этих тюрьмах такие вещи, которые казались выдумкой, созданной разнузданной фантазией.

Третьим членом редакции был проф. Е. С. Каратыгин, в царское время дослужившийся до высокого чина действительного статского советника. До октябрьской революции он был главным редактором всех изданий министерства финансов и торговли, в том числе выходившей тогда «Торгово-Промышленной Газеты». Это он предложил, чтобы ВСНХ, проводя

политику НЭП, под тем же заглавием издавал газету. При вводе Каратыгина в редакцию предполагалось, что он будет очень полезен в органе ВСНХ, но этого не случилось по той простой причине, что мысли, навыки, способы ведения «Торгово-Промышленной Газеты» царского времени совсем не подходили для ее однофамильца в советское время. Каратыгина, как и Муравьева, мне не пришлось видеть долго в «Торг. Пром. Газете». По требованию ГПУ Каратыгин был удален из нее по следующему поводу. Во время командировки загранн-цу, он встретился в Париже с сотрудником эмигрантской газеты «Возрождение» и в беседе с ним дал злую критику советских порядков и жизни. Не знаю было ли в этом интервью названо имя Каратыгина или сделаны были на него только намеки, но ГПУ без больших затруднений установило кто да - вал это интервью. По возвращении в СССР, Каратыгин не был арестован и из ВСНХ его не уволили, но удалили из редакции «Торг. Промыш. Газеты». В 1931 г. от мягкого отношения к специалистам эпохи НЭП уже не осталось и следа, и Караты-гин без всякого суда был расстрелян. Главным основанием к тому была именно беседа с ним напечатанная в эмигрантской газете. После исчезновения Муравьева и увольнения Каратыгина, единственным и ответственным редактором «Торг. Пром. Газеты» остался М. А. Савельев и я согласился быть его заместителем. Должен признаться, что сначала пошел я на это побуждаемый, если хотите, главным образом, «спортивными» соображениями. Мне хотелось знать, можно ли что-либо путное сделать из «Торг. Пром. Газеты», если не стесняться прибегать к самым сильным ударам и колотить направо и налево, не взирая на лица. За двадцать предшествовавших лет участия в самых разнообразных газетах — от самых маленьких до такого Левиафана как «Русское Слово», самой большой газеты довоенного времени — я никогда не видел, никогда не имел дела с таким рекордно-уродливым изданием как орган ВСНХ в 1922 г., редактируемый Савельевым, Муравьевым, Каратыгиным.* Сотрудники газеты (первое время все беспартийные)

---

* До крайности беспорядочной (но в своем роде) была «Мос-ковская Газета», которую редактировали П . Маслов и я. Эта, вы-ходившая в ноябре 1905 г., газета была первым легальным издани-ем, появившимся на улицах Москвы с лозунгом — «Пролетарии всех стран соединяйтесь». В «Социал. Вестнике» в номере ноября 1955 г., т. е. пятьдесят лет спустя, — я описал бытие этой газеты.

не чувствовали и не знали, что им делать, им никто не говорил, что от них требуется. Материал самого низкого качества, характера случайного, безобразной обработки или без всяких признаков правки посылался в типографию невероятно поздно. Разметка номера газеты, указание что должно в ней идти производилось с неумелостью и небрежностью поразительными. В типографии ночью выпускал газету и ее корректировал поэт Янтарев. Он приходил поздно и не желал делать ни малейшего напряжения, чтобы улучшить и ускорить верстку. «Раз газета советская, говорил он, значит неизбежно она будет иметь советский, т. е. 'похабный вид'. Исправить его все равно невозможно, поэтому нечего волноваться, нечего по-пустому затрачивать энергию». К газете с великим презрением относились старый метранпаж и его помощник; вследствие царящих в газете хаоса, небрежности и неумелости, они принуждались работать до 5½-6 часов утра вместо того, чтобы уйти домой раньше 3 часов. Во всех газетах (за исключением «Правды»), даже если они редактировались весьма важными коммунистами, весь материал должен был просматриваться цензором из Главлита. Цензор, приставленный к «Торг. Пром. Газете», появлялся в типографии очень поздно и задерживал сдачу в печать набранных и уже сверстанных страниц. Не буду перечислять все пороки газеты. Их было великое множество. Для общей ее характеристики достаточно указать, что когда другие московские газеты утром, как то и полагается, появлялись в продаже, «Торг. Пром. Газета» еще только печаталась. В утреннюю экспедицию этого дня она никогда не попадала, а только на следующий день. Номер от четверга появлялся в пятницу, номер от пятницы в субботу. Такое положение, делая газету посмешищем, недостойно носящим имя «органа ВСНХ», вызвало категорическое требование президиума ВСНХ принять самые экстренные меры, чтобы улучшить качество газеты, сделать ее помощницей ВСНХ, обеспечить ее своевременный выход. Указание, что для этого нужно обратиться ко мне дал председатель (в 1921-22 г.г.) ВСНХ П. А. Богданов. Я знал его еще до войны, он служил тогда инженером в городском самоуправлении Москвы, а я работал в качестве помощника редактора, в действительности, фактического редактора в «Русском Слове». Нет надобности говорить к каким самым суровым, подчас очень грубым мерам, «диктаторски» я прибегал, чтобы вытащить газету из ямы, поставить ее на ноги. Я всем заявил, чтобы мне не мешали, а если будут мешать, брошу все

и уйду. И ни Савельев, ни тем более Муравьев и Каратыгин, мне не мешали, только с любопытством следили, что получится из моего нажима на всё и всех. Ради курьеза укажу, что мальчишке цензору-коммунисту я предложил взятку в 25 рублей в месяц с тем, чтобы он приходил в типографию раньше и не чинил никаких препятствий к сдаче материала в печать. Такую взятку цензор получал, кажется, года два. С заменой его другим цензором и, главное, после твердо налаженного выпуска газеты выплата этой дани стала ненужной и прекратилась.

«Торг. Пром. Газета» по замыслу Савельева, находившего это оригинальным, имела сначала вид многостраничной тетради небольшого формата. Русская публика к такой внешности ежедневной газеты не привыкла. Газета такого формата ей кажется «ненастоящей». Зная это и имея ввиду бóльшую легкость верстки газеты, я предложил перевести ее на большой формат с соответствующими для этого изменениями заголовков и шрифтов. Савельев очень сопротивлялся изменению внешности газеты, но будучи не в состоянии побороть мою настойчивость, пошел на уступку. Я указываю на это крошечное, совсем неважное, разногласие, чтобы подчеркнуть что в течение почти шестилетней совместной работы с Савельевым даже таких разногласий между нами почти не было. С его стороны, как моего ближайшего коммунистического начальства, так и со стороны членов президиума ВСНХ, я всегда видел **только большое внимание.**

Кроме президиума ВСНХ и Савельева, у меня, как у всех работающих в прессе, было еще одно начальство — в лице отдела печати Центрального Комитета Партии. О том, что за мною он «наблюдает» я узнал из следующего происшествия. В 1923 г. Савельев уехал на несколько месяцев заграницу, посланный по каким-то делам Коминтерна. Хотя я был его «заместителем», но в качестве «беспартийного» и бывшего меньшевика — возглавлять официально газету в отсутствие Савельева не мог. Посему временно функции «ответственного редактора» были возложены на коммуниста В. П. Новикова, управляющего делами президиума ВСНХ. В газетном деле он ничего не понимал, в ее ведение не вмешивался, в редакцию никогда не приходил, но с большим удовольствием принимал деньги, которые я ему посылал за ни в чем непроявлявшуюся работу временного редактора. В 1924 г. Савельев снова уехал в какую-то таинственную командировку. На этот раз его официальным заместителем был назначен Г. И. Ломов,

член президиума ВСНХ, начальник Центрального Управления Промышленной Пропаганды и Печати («ЦУП»), человек культурный, интеллигентный, умеющий написать дельную статью, но, также как Новиков, необнаруживший ни малейшего желания меня контролировать и вмешиваться в то как я веду газету (Ломов погиб в эпоху сталинского неистовства в 1937-38 г.г.). Но отдел печати ЦК, очевидно на основании каких-то поступивших к нему доносов, нашел, что, находясь вне всякаго контроля, я присвоил себе слишком много прав и распоряжаюсь в газете, как ее «полновластный хозяин». Чтобы стеснить меня, отдел печати, не предупреждая меня ни единым словом, решил, что Биткер (коммунист, работавший в это время в Военном Управлении ВСНХ, изредка писавший в «Т. П. Г.») должен приходить в редакцию и прочитывать наиболее важный материал, пускаемый мною в печать (Биткер погиб в 1937 г. обвиненный в тех же несовершенных им преступлениях как и Пятаков). Когда он пришел в первый раз и самым вежливым образом попросил показать идущие в номер статьи, я это сделал без всякой мысли, что пришел «контролер». Даже понравилось, что в составе ВСНХ есть люди, которые близко интересуются составлением газеты. Когда Биткер с такой же целью пришел второй раз, я начал раздумывать, что это значит, а когда он пришел третий раз — я передал ему статьи и в его присутствии, с тем, чтобы он это видел, написал следующее заявление Г. И. Ломову:

«Сильно ухудшившееся состояние моего здоровья не позволяет мне нести обязанности заместителя редактора и я прошу Вас освободить меня от занимаемой должности».

Написанное на бланке «Т. П. Г.» и датированное 1 октября 1924 г. заявление почти немедленно вернулось ко мне обратно с следующей надписью Ломова:

«Категорически отказать. Пусть тов. Валентинов говорит об этом с фактическим редактором т. Савельевым, когда он вернется. Если т. Валентинов хочет лечиться — всё сделать для этого».

Этот «документ», как и другие, о которых мне еще придется говорить, я сохранил.* Он говорит об очень многом. Несколько лет спустя такого рода демонстрации, учиненные против **отдела печати ЦК** человеком беспартийным, да еще

---

* Они приложены к моим воспоминаниям, хранящимся в русском архиве Колумбийского Университета.

бывшим меньшевиком, станут вещью просто **немыслимой, невозможной.** Из страха подвергнуться самым большим репрессиям, их никто уже делать не будет, вся политическая атмосфера и отношение к «спецам» изменится.

Ломов, конечно, понял, что под моим заявлением кроется демонстрация и естественно захотел узнать чем она вызвана. «Что вы больны — это известно, но ведь кроме болезни тут есть и другое — что же это?» Я всё ему рассказал. О посылке в газету Биткера в качестве контролера он ничего не знал и согласился со мною, что в этом деле «отсутствовал элементарный такт». Отправившись в отдел печати ЦК, Ломов заявил, что меня незаслуженно обидели, что если я уйду из «Т.П.Г.» где моя работа ценится и Рыковым, и Дзержинским, он не видит кто мог бы меня заменить. В отделе печати, хотя и считали, что подавая в отставку я обнаружил «буржуазное самолюбие» и «уподобился капризной примабалерине», все-таки пошли на попятную и Биткера убрали. Дело на этом и окончилось и потом «ущемлений», идущих от отдела печати — я больше уже не испытывал. И так как ни с этой стороны, ни со стороны моего ближайшего начальства, ни со стороны председателя ВСНХ — я никаким воздействиям, задевающим мое достоинство или самолюбие, не подвергался — могу сказать, что работа моя в «Тор. Пром. Газете» в этом отношении протекала в исключительно благоприятных условиях. Было время когда с 1922 по 1925 г. ко мне, с большой враждебностью, относился заместитель председателя ВСНХ Г. Л. Пятаков. Он знал, что я весьма критикую его «оппозиционную троцкистскую идеологию» и принадлежу к тем, кого он называл «сто пятьдесят процентными нэповцами». Если бы Пятаков не знал, что мне покровительствуют Рыков и Дзержинский, он, конечно, постарался бы меня выжить из «Тор. Пром. Газеты». Но после одной моей статьи, когда ему стало известно, что я с таким великим интересом отношусь к его детищу «Освоку» (особое совещание по воспроизводству основного капитала промышленности) — отношение ко мне Пятакова резко изменилось — стало дружественным.

Была ли для меня интересной работа в «Т. П. Г.»? Имею в виду, конечно, время, когда после уймы затраченных на нее нервов и сил она стала регулярно выходящим изданием? Могу сказать, что я никогда уже более не имел, связанной с заработком, такой увлекательной, такой интересной, столь близкой к жизни, приносящей столько знания, работы, как в годы редактирования «Т.П.Г.». ВСНХ состоял из планирующих, ре-

гулирующих, управляющих промышленностью отделов и учреждений. Под его началом находились десятки крупнейших трестов и синдикатов, тысячи самых больших фабрик и заводов. «Торгово-Промыш. Газета» была для ВСНХ необходима, без нее он не мог осуществлять над всем свое руководство, тем более, что после введения НЭП перед промышленностью все время вставала груда совершенно новых для нее вопросов. «Торг. Пром. Газета» помогала ВСНХ их ставить, разрешать, разъяснять хозяйственникам. И поскольку я «делал» газету, у меня было приятное сознание, что я самым активным образом участвую в огромном процессе строительства, хозяйственного возрождения страны. Забитая, разоренная, почти умершая в годы военного коммунизма, промышленность, в эпоху НЭП каждый месяц поднималась, шла вперед крупными скачками. В 1922 г. ее общая продукция еле достигает 21% довоенного уровня; в 1923 г. она 30%. В годы управления ВСНХ Дзержинским — темпы восстановления промышленности замечательно растут: в 1924 г. она достигает 39% довоенного уровня, в 1925 г. — 65%, в 1926 г. — 90%. Наряду с этим подъемом появляются новые производства, до этого несуществовавшие в России или находившиеся в зачаточном состоянии: механизация угольной добычи, текстильное машиностроение, новые химические фабрикаты, точная механика, радиотехника, станкостроение, строительство гидростанций, тракторостроение и т. д. За всеми ростками нового было нужно и было интересно следить. И не только следить, а на страницах газеты предлагать, указывать на что нужно обращать внимание, какое новое производство организовать. «Тор. Пром. Газета» самым энергичным образом участвовала во всех кампаниях, ведущихся ВСНХ: составление правильных калькуляций себестоимости и годовых балансов хозяйственных предприятий, снижение цен, установление амортизационных фондов, повышение производительности труда, борьба за режим экономии и т. д. В поле зрения газеты входили решительно все вопросы развивающейся промышленности: увеличение основного и оборотного капиталов, снабжение предприятий топливом, электроэнергией, сырьем, транспортными средствами, сбыт продукции, обучение рабочей силы, создание инженерно-технических кадров, отношение между трестами, заводами и рабочим персоналом.

Помогая ВСНХ, требовалось эти и другие вопросы освещать в статьях «Тор. Пром. Газеты», а для этого находить сведующих авторов, с помощью их поучать советских хозяй-

ственников и в то же время **поучаться самому.** В этом был особенный интерес работы — постоянное увеличение знания, открытие неизвестных сторон промышленной жизни и не в какой-либо одной отрасли индустрии, а во всех ее областях. Думаю, что ни один Университет, ни одна Академия, никакие самые объемистые книги, не могли бы мне дать то конкретное знание, то накопление самых разнообразных экономических сведений, которые постепенно из месяца в месяц, в течение многих лет, приносила мне редакторская работа в «Тор. Пром. Газете», посещение деловых заседаний президиума ВСНХ и его важнейших отделов. Уже к концу второго года моей работы в газете, она стала превращаться в большой орган. Каждый месяц в ней появлялась двухстраничная «вкладка» со всеми важнейшими статистическими данными о ходе производства в предприятиях, подотчетных ВСНХ СССР. Указывалась их продукция в денежной и натуральной форме, число занятых в отраслях рабочих, число отработанных ими часов, их средняя выработка и т. д. Каждый месяц появлялась вкладка,составлявшаяся сотрудниками «Промбанка» (Промышленного Банка), посвященная вопросам финансирования и кредитования промышленных и торговых предприятий, руководимых ВСНХ. По мере нужды появлялась вкладка, освещающая снабжение промышленности сырьем сельскохозяйственного происхождения: хлопком, шерстью, льном, коноплей, сахарной свеклой, кожами, подсолнухом и т. д., Кроме того выпускались вкладки, в которых с финансовой, экономической и технической стороны освещались проблемы увеличения основного капитала промышленности и его амортизация.

Уклоняясь в сторону, не могу не сказать об одном лице, которое всплывает в памяти в связи с вкладкой «Промбанка». Статьи и всякие данные, составляющие эту вкладку, часто приносил Д. С. Навашин, один из сотрудников Промбанка. Приходя ко мне в газету, он обнаруживал такую скромность, которая производила неприятное впечатление. Мне несколько раз приходилось просить его не стоять передо мною, а садиться, не ожидая для этого приглашения. Через несколько лет, работая уже в Парижском Торговом представительстве, мне снова пришлось встречаться с Навашиным, но тогда от его московской скромности не оставалось и следа. Он был важен, почти величествен, он занимал пост одного из директоров советского банка на Авеню де л'Опера (этот банк, открыто обслуживал французскую коммунистическую партию и ее предприятия, он беспрепятственно существует и поднесь).

В конце 1930 г., покидая советскую службу, я ушел в эмиграцию. Почти одновременно со мною тоже самое сделал и Навашин, однако, он не превратился, как мы все, в скромного и бедного эмигранта. Он явно не нуждался в средствах, жил очень широко, имел огромные связи всюду, в частности, в высших французских кругах (его другом был, например, де Монзи), он был членом французской масонской ложи, что еще более расширяло область его связей. Кажется в 1933 г. он опубликовал двухтомную на французском языке работу, посвященную анализу мирового рынка. Меня его работа не интересовала, я ее не читал и не могу сказать ценна ли она и какую линию в ней проводил Навашин. В 1937 г. когда, как всякое утро, Навашин со своими собаками гулял по Булонскому лесу — к нему кто-то подбежал и двумя выстрелами из револьвера убил наповал. Следствие по этому громкому в то время делу не установило ни причин убийства, ни личность убийцы. После его смерти ходили упорные слухи, что Навашин, внешне покинувший советскую службу и, якобы, отошедший от Москвы, на самом деле от нее не уходил, а, лишь маскируясь положением эмигранта, тайно выполнял очень важные поручения советской власти, в том числе, покупку и отправку оружия испанским коммунистам. Ходил также слух, что Навашин по настоянию ГПУ стал сотрудником Интеллиженс Сервис, но в этом положении двойного агента запутался, не угодил ГПУ, и был им убит. «Юманитэ», центральный орган французских коммунистов, стремясь отвлечь от мысли, что к убийству Навашина может иметь отношение ГПУ, рьяно и до смешного малоубедительно доказывало, что он убит Гестапо. Навашин несомненно принадлежал к авантюристическим загадочным личностям, которые во всех странах мира вращаются в орбите коммунистической партии и ГПУ. Любопытно, что первое указание быть «осторожным» в сношениях с Навашиным дал мне и П. А. Берлину Менжинский, племянник того Менжинского, который с 1926 г., после смерти Дзержинского, был главою ГПУ. Его племянник служил вместе со мною и Берлиным в 1920-1930 г.г. в парижском Торгпредстве.

Работа в «Торг. Пром. Газете», повторяю, представляла для меня огромный интерес. Можно было из месяца в месяц ясно видеть как растет влияние газеты, как на нее ссылаются и постоянно цитируют, в том числе, и в эмигрантской печати. Но работа в ней была вместе с тем до последней крайности тяжела. Она отнимала все силы, всё время, почти ничего

не оставляла для отдыха. В 8 часов утра я принимался за чтение «Правды», «Известий», «Экономической Жизни», «Труда», «Гудка», «Финансовой Газеты». Я был обязан это делать. В качестве редактора газеты я должен был быть в курсе всего, что пишет и дает советская печать. К чтению газет постоянно прибавлялось чтение журналов — «Плановое Хозяйство», «Экономическое Обозрение», «Большевик» и всяких специальных экономических изданий. Окончив чтение, я после завтрака уезжал к 12 часам в редакцию. Работа здесь начиналась с редакционного совещания, с присутствием на нем всех главных сотрудников. Его задачей было наметить предварительно, хотя бы в общих чертах, физиономию очередного номера газеты, главное содержание его отделов. Говорю предварительно, так как поступающий позднее, в течение дня, материал — экономическая информация, отчеты о заседаниях и работе разных отделов ВСНХ, Госплана, других Наркоматов, или правительственные декларации — часто заставлял намеченную программу номера всю изменять и перестраивать. Полезный обычай начинать день коротким в 20-25 минут редакционным совещанием я заимствовал у «Русского Слова», где такой порядок был введен в 1911 г. В. М. Дорошевичем.

После редакционного совещания начинались приемы и разговоры с многочисленными посетителями — хозяйственниками, директорами заводов, инженерами, сотрудниками ВСНХ, посещение заседаний отделов ВСНХ, подборка к номеру статей, прочитывание и редактура направляемого в типографию материала, наконец, составление окончательной разметки номера. Раньше 8½-9 часов вечера я почти никогда домой не возвращался. А здесь работа не прекращалась; обычно я приносил в своем портфеле не менее 10, а иногда даже более статей, за один только день поступивших в редакцию. Помню однажды за день поступило **27** статей. Никогда ни в одной газете, где приходилось работать, ни в «Русском Слове», ни в «Киевской Мысли», не приходило со стороны такого огромного количества статей. **И этот поток статей — не случайное явление и весьма заслуживающее внимания.** В нем сказывался живой интерес к возрождению, развитию хозяйственной жизни, который проявил, после введения НЭП, широкий слой беспартийных людей-специалистов, а подавляющее число посылаемых в «Тор. Пром. Газету» статей было написано ими. Выступая с указаниями существующих в промышленности недостатков, с предложением их устранить, выдвигая новые методы работы или новые производства — этот слой беспар-

тийных людей этим свидетельствовал, что не довольствуется только ролью пассивного исполнителя распоряжений начальства, а желает быть активным участником в строительстве новой жизни. Огромная творческая мысль была проявлена беспартийными специалистами в разных комиссиях «Освока» (особого совещания по воспроизводству основного капитала). В редакцию поступали, конечно, и статьи, подписанные коммунистами (иногда очень важными), председателями трестов, синдикатов, директорами заводов, стремившихся на страницах органа ВСНХ показать своему начальству как они работают, что предпринимают, как идут дела во вверенных им предприятиях. Но мы — в газете — знали, что такие статьи, поскольку они не ограничиваются рассуждениями общего характера, а обнаруживают особое специальное знание, в своем большинстве писаны не начальниками коммунистами, а «неграми», состоящими при них на службе, все теми же беспартийными инженерами и специалистами. В 1924-26 г.г. — в годы правления Дзержинского — в газету поступало ежемесячно со стороны не менее 300 статей, причем беспартийные экономисты, специалисты-инженеры не боялись выступать с предложениями и мыслями, которые не совпадали с тем, что в данное время возглашало начальство ВСНХ. В этом смысле, когда председателем ВСНХ был Дзержинский, грозный шеф ГПУ — существовала несомненно какая-то **свобода мысли и высказывания.** После смерти Дзержинского и с приходом на его место Куйбышева — лакея Сталина — в воздухе почувствовались изменения, выразившиеся в ином отношении к беспартийным работникам — их стали меньше ценить, к ним меньше прислушиваться, а потом меньше и даже совсем не доверять. В прямой связи с этим падает число статей, поступающих в газету от беспартийных специалистов. В середине 1927 г. бывали дни когда в газету не приходила уже **ни одна** статья. Люди избегают высказываться. А после разгрома в конце 1927 г. троцкистской оппозиции, ссылки многих оппозиционеров, особенно после шахтинского процесса (май-июнь 1928 г.) не только беспартийных, но и коммунистов охватывает страх: лучше молчать, чем рисковать своим положением за какую-нибудь не понравившуюся начальству статью. **Мысль прячется, рот закрывается** — надвигается эпоха сталинизма и сталинских пятилетних планов. Прежде от авторов не было отбоя, теперь за авторами приходится гоняться и если они соглашаются писать, то только на темы начальством одобренные.

В течение свыше пяти лет все поступающие в газету статьи не только мною читались, но те которые предназначались к печати мною же правились и перерабатывались. Такую дополнительную к прочей редакторской работе нагрузку пришлось взять на себя потому, что, несмотря на все поиски, ни Савельев, ни я не могли найти для этой работы вполне подходящего сотрудника не только с чутьем к экономическим и техническим вопросам, но и с умением сделать более живыми, более ладными, обычно тяжеловесные, очень неприглядные статьи, приходившие в редакцию.

В груде статей поступающих в редакцию часть была малоценная, иногда не годная или повторявшая мысли уже высказанные другими, но были вещи очень дельные, но столь большого объема (вместо 5-6 страниц на пишущей машине иногда 20-25), что их приходилось полностью переделывать, затрачивая на это долгое время, а потом еще тратить время на разговоры с их авторами, как правило недовольными произведенными сокращениями. Наконец, среди поступающих в редакцию статей были такие, что ставили совершенно **новые, и крайне интересные,** проблемы, необсуждавшиеся ни в ВСНХ, ни в Госплане, ни в каком-либо экономическом журнале. Эти статьи часто сопровождались сложными техническими указаниями и расчетами, об основательности которых я не мог судить в силу отсутствия, требуемых для этого, совершенно специальных знаний. Если авторы таких статей жили вне Москвы с ними приходилось вступать в большую переписку, прося присылки дополнительных объяснений. Если они жили в Москве, их нужно было просить придти в редакцию, дать объяснение, разъяснение трудно усваиваемых частей их статей. Работа вообще над статьями, начинавшаяся у меня **с 9 часов вечера** тянулась как правило почти до **двух часов ночи.** И все-таки это не был конец моего рабочего дня. Около моей постели стоял телефон, соединяющий меня с типографией, где печаталась «Торг. Пром. Газета». Выпускающий имел право обращаться ко мне всегда, даже и после трех часов ночи, когда вследствие получения каких-либо телеграмм, правительственных постановлений, вставала необходимость сильно изменить составленную мною разметку номера.

Что при такой нагрузке, такой занятости оставалось у меня для отдыха? От трех часов ночи до 8 часов утра оставалось пять часов для сна и больше ничего. Из 24 часов, по меньшей мере 18 отдавались работе. Выдерживать такое напряжение в течение нескольких лет подряд не мог бы ни один самый здо-

ровый человек на свете. За мою работу я получал самую высшую ставку. Мне давали более длительный чем другим летний отпуск. Автомобили в то время в Москве были «люксом», ими пользовались лишь высокостоящие правительственные персоны и, хотя к таковым я не принадлежал, мне присылали машину, отвозящую меня в полдень в редакцию и к 9 час. вечера доставлявшую домой. В 1925 г., зная, что моя болезнь (язва желудка) очень мешает работать, меня, по указанию председателя Совнаркома Рыкова, согласованному с пожеланием председателя ВСНХ Дзержинского, послали в Берлин для операции и лечения у специалистов. Сопровождать меня в Берлин (при выдаче на это соответствующей валюты) было разрешено моей жене, а такого рода разрешение не было обычным.

Но как бы ни были значительны все эти знаки внимания ко мне, они не устраняли невыносимый по тяжести характер моей работы. И здесь уместно поставить вопрос — в какой мере Савельев мне помогал ее нести, а если не помогал, то почему? Как почти все коммунисты большого ранга Савельев совмещал работу в разных учреждениях и редактировал какие-то партийные справочники. Первое время, когда я только что вступил в редакцию «Торг.Пром.Газеты», Савельев присматривался (скажу, с любопытством) к тому, что я делаю и брал на себя прочтение некоторых статей. Скоро все это прекратилось. Приехав из своей таинственной командировки заграницу, он нашел твердо установленный мною распорядок редакционной жизни и не обнаружил даже малейшего намерения его изменять. Он приезжал ненадолго в редакцию, принимал людей по делам, неимеющим никакого отношения к газете, а когда его жена (красивая, элегантная женщина, бывшая следователем ГПУ) звонила ему по телефону — немедленно бросал всё и уезжал домой. Я считал своим долгом сообщать ему (обычно по телефону), что идет в номере, какую кампанию я затеваю, кому заказывал статьи, с кем виделся из начальства ВСНХ, что оно мне говорило. Кроме моих сношений с председателем и с членами президиума ВСНХ — (к чему он относился с особой осторожностью) его ничто более не интересовало. Вкус к экономике, в особенности к конкретным экономическим вопросам, а не абстрактной идеологии, у него совершенно отсутствовал. Ему было приятно, когда начальство хвалило тот или иной хорошо сделанный номер «Тор.Пром.Газеты» или какую-нибудь удачно проводимую им кампанию. Такая удача могла приписываться и ему, укрепляла его партийное положение, повышала его реномэ, как «от-

ветственного редактора», «руководителя» газеты, хотя никакого руководства он не осуществлял. Он часто ездил завтракать в Кремль в столовую Совнаркома, где имел возможность встречаться с теми, кто принадлежал к «коммунистической знати». Если в разговоре с ними ему удавалось узнать о некоторых готовящихся декретах, взглядах на тот или иной вопрос членов Политбюро, о темах подлежащих или намеченных к освещению в печати, Савельев летел в редакцию, вызывал в свой кабинет дактило и начинал диктовать статью именно на указанную тему. После долгих часов корпения над статьей, она приносилась ко мне с просьбой «поправить немножечко стиль» и даже не ожидая этой поправки — Савельев уезжал. Он был глубочайше убежден, что я не испорчу его статью, а улучшу. Его статьи, правда, очень редкие, были для меня сущим мучением. Савельев вообще писал плохо, туманно, а его не писанные от руки, а продиктованные статьи — были ужасны. Лишь немногие писатели, ораторы, журналисты способны, диктуя, давать сразу хорошо смонтированный текст, а не груду плохо связанных фраз. Над статьями Савельева, идущими без подписи передовыми, мне приходилось очень подолгу сидеть, уничтожать их скачкообразный вид, переделывать строение фраз, догадываться об их смысле, вставлять обычно отсутствующие у Савельева соединяющие фразы слова, и потом заставлять дактило всё переписывать. Почти всегда — на следующий день утром — Савельев звонил ко мне и довольным тоном говорил: «неправда-ли статейка не плоха?»

«Экономическую Жизнь», орган СТО (Совет Труда и Обороны), почти такого же объема, что и орган ВСНХ, но имевший дело не с вопросами одной промышленности, а со всеми отраслями хозяйственной жизни, вели три лица — ответственный редактор-коммунист Крумин, его заместитель-коммунист Кактынь и их помощник, заведующий редакцией М. И. Эйшискин, бывший меньшевик, в течение нескольких лет до войны редактор самой большой на юге газеты «Киевской Мысли». То, что делали в «Экономической Жизни» эти **три** лица и даже больше того, что они делали (ибо у Эйшискина были помощники, которых у меня не было) — выпадало на долю меня одного в «Торг.Пром.Газете». Помощи от Савельева я никогда не имел. Я несколько раз убеждал его взять в качестве второго его заместителя какого-нибудь подходящего для этого коммуниста, как то и было в первые месяцы существования «Торг. Пром.Газеты», когда в ней еще работал Муравьев. Я хотел с этим вторым заместителем поделить работу и так как, например,

торговый отдел, как на это указал Дзержинский, был хуже промышленного отдела газеты, взяться за него, его реорганизовать и улучшить. У Савельева проглядывало явное нежелание иметь коммуниста своим заместителем. Савельев абсолютно мне доверял и не только моим журналистическим и редакторским способностям. Он прекрасно знал, что никаких интриг против него я не веду и, хотя во много раз опытнее его, не покушаюсь занять его место уже потому, что в качестве «беспартийного» быть ответственным редактором все равно не могу. Иное дело если бы на посту заместителя появился бы какой-нибудь более или менее крупный партиец с нужными в газете способностями. Увидя, что Савельев ничего не делает в газете или плохо делает, он несомненно стал бы его критиковать в партийных кругах, в отделе печати, наносить этим такой ущерб престижу «Макса», что встал бы вопрос о замене Савельева этим заместителем или каким-нибудь другим лицом. Чтобы не подвергнуться обвинениям в лени и неспособности работать, Савельев был бы принужден принять в той или иной форме постоянное и активное участие в редакционной работе. Такая перспектива его совсем не привлекала. Приглашение второго заместителя, сильно облегчая мою работу, — самому Савельеву, кроме хлопот и весьма возможных неприятностей ничего доброго не сулило. Поэтому он хотел, чтобы единственным заместителем был и оставался только я и никто больше. За моей спиною он чувствовал себя спокойным, свободным, работой необремененным, имеющим возможность делать еще что-то «партийно важное», а это помимо увеличения его заработка способствовало продвижению к более высоким командным постам (большую партийную карьеру Савельев делал очень умело). На мои жалобы, что я физически не в состоянии нести тройную нагрузку, он неизменно отвечал: «вам не нужно столько работать, не тратьте время на посещение заседаний в ВСНХ, раньше уезжайте из редакции, осуществляйте только **«верховное руководство»,** а исполнение всяких работ возложите на других. Конечно, если ведется какая-нибудь анкета или кампания, вам нужно за ними «присматривать», но в это время всем другим не заниматься».

Такого рода советы показывали насколько Савельев был далек от понимания, что ведение газеты требует не «верховных» налетов, а настойчивой ежедневной работы, без которой «Торг. Пром. Газета» не стала бы тем, чем стала, а продолжала бы быть негодным изданием 1922 г. Видя, что без принятия каких-то экстраординарных мер, без приглашения, на чем я настаивал, в

редакцию новых работников и моего заместителя — изнуряющая меня работа не уменьшится, я решил в ультимативной форме добиваться освобождения меня от обязанностей заместителя редактора. В этом смысле я и написал, посланное Савельеву заявление. По этому заявлению можно хорошо себе представить как отличается эпоха НЭП от последующего времени. Самочувствие и положение не только меня, но всех бывших меньшевиков в годы управления ВСНХ Дзержинским глубоко отличается от их положения под Куйбышевым. Два-три года позднее **ни один беспартийный,** тем более уже **бывший меньшевик,** — не осмелился бы написать своему коммунистическому начальству заявление, хотя бы отдаленно схожее с тем, что я написал Савельеву, при чем расчитывая, что он должен показать его Дзержинскому. За такое заявление, за «свободный» тон, автора его выгнали бы немедленно со службы, а может-быть и арестовали. А в царствование Сталина наверное бы расстреляли или отправили в концентрационный лагерь. Шахтинский процесс 1928 г., процесс т. н. «Промышленной Партии» в 1930 г., процесс меньшевиков в 1931 г. — явно показали, что сталинизирующаяся коммунистическая партия намерена видеть в беспартийных специалистах и бывших меньшевиках только рабски ей повинующийся безмолвный аппарат. Вот что я писал Савельеву.

«Ваше предложение, чтобы я продолжал быть заместителем ответственного редактора, вел все ответственные кампании, осуществлял «верховное руководство» промышленным и торговым отделом — по существу дела очень мало освобождает меня от работы, которую я вел до сих пор. Состояние моего здоровья не позволяет мне продолжать эту работу. Поэтому поскольку серьезно ставится вопрос о раскрепощении меня от излишней работы, я, возвращаюсь к моему заявлению, поданному Вам еще в августе, прошу принять такое предложение:

1) С 22 октября, после выпуска вкладки о воспроизводстве основного капитала промышленности, я просил бы до 1 ноября освободить меня от всякой работы. Мозговое переутомление дошло до крайности и кратковременный отдых является непременным условием самой возможности продолжения работ.

2) С 1 ноября я могу возвратиться к работе, но отнюдь не в качестве заместителя ответственного редактора, а в качестве только редактора торгового отдела в широком смысле этого слова. В качестве такового могу взять на себя чтение, заказ, редактуру всех

статей по торговле и кооперации и одновременно руководство торговым отделом в смысле обрисовки рынков и цен.

3) На меня не должна возлагаться никакая иная работа сверх очерченной выше. Заранее прошу признать мое законное право быть *глухим и немым по* отношению ко всему, что не входит в круг очерченных для меня этим договором обязанностей. На этом пункте я особенно останавливаюсь, так как боюсь, что ежедневная практика сначала маленьких, потом больших дополнительных работ, обращений, консультаций и т. д. постепенно, обходным путем, расширит объем этих работ настолько, что под видом нового положения у меня останется томительное старое. Формальное расширение работ с целью разгрузки меня происходило неоднократно — в апреле, августе, октябре 1923 г., марте 1924, августе 1925, но не было еще случая, чтобы моя фактическая нагрузка от этого уменьшилась. Прошу Вас согласиться твердо, что этого не должно быть. Будем, как говорили в старой Москве, «свято и ненарушимо на том крест целовать».

4) Чтобы мое устранение от роли «делателя» газеты не вызвало первое время перебоев в работе, я сугубо советовал бы для усиления редакции немедленно пригласить ответственного литературного секретаря. Б. И. Стражевский из всех имеющихся кандидатур наиболее подходящ. Полагаю, что его приглашение дало бы возможность осуществить следующую организационную структуру газеты. Я беру на себя половину газеты (всю торговую часть — торговую информацию и статьи), на долю новых людей — заведующего редакцией Рокаха, литературного секретаря Стражевского, остается другая половина, которую они должны делать совместно, опираясь на Розенблита и на заведующего промышленным отделом Спиваковского. Вся подготовительная работа представляется потом на рассмотрение ответственного редактора, утверждающего разметку очередного №.

5) Жалованье мое я получаю как «спец», а не как заместитель ответственного редактора и, следовательно, нужно полагать, что уход с поста заместителя на размерах моего жалованья не отразится.

6) В течение 3-х лет работы в «Торг.Пром.Газете» я часто выполнял работы *за трех,* а бывало и *за четырех человек,* но никогда не ставил вопроса о вознаграждении за это. Проводя политику жесткой экономии в редакции (Вам это известно более чем кому либо), я систематически отказывался от всяких дополнительных выдач. К сожалению, вижу, что в моей практике были элементы никому и ни на что ненужного сантиментального подвижничества. Ныне, учтя это, я прошу Вас поставить вопрос о дополнительной работе в несколько

иной форме. Жалование я получаю за выполнение круга обязанностей, перечисленных в пункте 2-ом этого заявления, их достаточно много и нагрузка работой более чем значительна».

Мое заявление послано Савельеву 14 октября (1925 г.), а ответ на него получил я только 20 октября. До этого дня он избегал встречи со мною, очевидно, еще не знал как и что мне ответить. Пост заместителя редактора «Торг. Промыш. Газеты» утверждался председателем ВСНХ — сначала Рыковым, потом сменившим его Дзержинским. Без оповещения последнего, без его на то согласия, отказаться от моей должности, оставить ее, я не имел права. Из рассказа самого Савельева и, весьма дополняющего его, рассказа Ломова, в качестве начальника Центрального Управления Печати при ВСНХ, посвященного во всю эту историю, — я узнал следующее. Заявление мое Савельев **не показал** Дзержинскому, вероятно, не хотел сообщать тому, что в редакции я выполнял работу «за троих». Он просто сообщил, что я болен, что прошу освободить от заместительства редактора и хочу иметь в газете более легкую работу. Дзержинский на это сказал, что ему известно, что я болен, насиловать меня нельзя и, как бы это ни было досадно, просьбу мою нужно удовлетворить, но меня нельзя отпускать, не отметив в приказе по ВСНХ «ту **громадную работу»,** которую я вел и благодаря которой газета стала ценным помощником ВСНХ. Появление в приказе по ВСНХ такой похвалы по моему адресу, совсем не улыбалось Савельеву. В нем не было бы упоминания, что и Савельев тоже работал (это, как в басне Крылова: — «мы пахали») в деле превращения газеты в ценного помощника ВСНХ. Но особого предлога поминать Савельева в тот момент не было и, полагаю, он стеснялся о том просить Дзержинского. Не знаю уже как, с помощью каких доводов, Савельеву удалось убедить Дзержинского не отмечать мой отказ от заместительства в приказе по ВСНХ. Вместо этого Дзержинский дал Савельеву указание составить и выдать мне самую лестную аттестацию моей работы в газете. Савельев сделал ее в следующем виде: отвечая на просьбу освободить меня от обязанностей зам. редактора, он на моем заявлении написал:

«Констатирую громадную работу, проделанную Николаем Владиславовичем Валентиновым по превращению «Торгово-Промыш. Газеты» в руководящий орган нашей промышленности и торговли. Считаясь с состоянием его здоровья, пункты, выдвинутые Н. В. принимаю, в том числе и пункт об оплате, как само собою подразумевающееся, о чем я не раз и указывал ему. Во-время моих отъездов из Москвы

считал бы необходимым оставить заместительство Н. В. Валентинова».

Согласие покинуть мой пост я получил, но по причинам, о которых скажу ниже, все осталось только на бумаге и потом вплоть до начала 1928 г. я продолжал нести прежнюю работу. Савельев был, конечно, весьма доволен, что после больших разговоров и заявлений (не в первый раз) все осталось попрежнему. Это позволяло ему и впредь отдавать «Торг.Пром.Газете» минимальное время, и спокойно знать, что газета ведется хорошо, что я его не подведу и никаких неприятностей ему не сделаю. Возвращение к прежнему положению Савельев рассматривал, как результат его «дальновидной дипломатии». На собрании коммунистов-сотрудников «Торг.Пром.Газеты» и ЦУП-а, о том что там говорилось мне немедленно стало известно, Савельев говорил:

— «Валентинов хотел большой пост променять на меньший, стать ординарным сотрудником редакции. К этому нельзя относиться серьезно уже потому, что у него слишком велика привычка **командовать.** Я знал, что отказавшись быть зам. редактора, он не ограничится работой в одном отделе, этого для него мало, а непременно будет **влезать** во все другие отделы, а так как его авторитет среди сотрудников велик и его слушаются, фактически останется прежнее положение. Вот почему я и отсоветывал Ф. Э. Дзержинскому официально санкционировать в приказе отказ Валентинова быть зам. редактора. Будь это сделано и стало бы всем известно, Валентинову было бы уже неловко идти на попятную и как-нибудь нарушать узаконенное приказом новое положение. А раз этого нет, а есть лишь **келейный сговор** между мною и им, его легко изменить тем же **келейным образом**».

Отсоветывая не говорить обо мне в приказе по ВСНХ, Савельев тем самым «весьма дипломатично» превратил в «келейный» документ ту аттестацию меня, которую мне выдавал Дзержинский. Не опубликованная в приказе, она тем не менее существует. Без прямого указания Дзержинского, Савельев, не захотел бы, и во всяком случае, не посмел бы объявлять что орган ВСНХ превращен в руководящий орган промышленности и торговли «благодаря огромной работе **бывшего меньшевика».** Однако, мой случай совсем не является единственным. Было время когда высшее коммунистическое начальство ВСНХ, сначала Рыков, потом Дзержинский, считали не только нужным, а даже своим долгом указывать

на «громадную работу», которую в советском хозяйстве делают бывшие меньшевики, не втискиваясь при том в коммунистическую партию, подобно например Хинчуку, в прошлом члену ЦК меньшевистской партии. С этой точки зрения представляет действительно **исключительный интерес** похвала, с которой Дзержинский говорил о меньшевиках Соколовском, Гинзбурге, Кафенгаузе и других. Его похвала вызвала самые оживленные комментарии среди энергично работающей беспартийной интеллигенции, **усиливая в ней тот оптимизм, с которым она в 1925 г. смотрела на советскую эволюцию.** Следует пояснить, что разговор Дзержинского с Савельевым о бывших меньшевиках возник когда зашла речь о выдаче мне похвальной аттестации. В связи именно с этим Дзержинский и сказал, что не я один, но и другие бывшие меньшевики заслуживают такой же большой похвалы.

(Окончание следует)

Н. Валентинов

Ф. Ф. КОКОШКИН*

Основная часть этого очерка — воспоминания Владимира Федоровича Кокошкина, брата Федора Федоровича. Отчим мой, В. Ф. Кокошкин, земский деятель и московский адвокат, вынужден был после убийства большевиками его брата покинуть Москву. Во время белого движения на юге России он состоял представителем при Крымском правительстве. Был также членом Национального Центра конституционно-демократической партии и работал в Екатеринодаре и в Ростове на Дону в Союзе Городов. После разгрома белого движения и эвакуации, в Белграде, в Югославии он продолжал свою деятельность при Союзе Городов. Умер В. Ф. в Брюсселе 52-х лет в 1926 г.

Для полной обрисовки образа Федора Федоровича Кокошкина в очерке приведены выписки из его речей и трудов и, кроме того, мнения современников, освещающие его личность и деятельность.

И. Гуаданини

«В больницу, куда были переведены из Петропавловской крепости члены Учредительного Собрания к-д Шингарев и Кокошкин, явились несколько вооруженных лиц и потребовали от медицинского персонала, чтобы их провели в комнату больных. Войдя в палату, солдаты стали наносить удары штыками, а в Кокошкина произвели несколько выстрелов. Обе жертвы оказались убитыми».

(**«Вечернее Слово».** Демократическая и социалистическая газета. 1-ый год издания. № 1. Понедельник, 8 января 1918 г.)

«Мы хотели способствовать тому, чтобы Россия сделалась страной свободной, правовым государством, где **право** было бы поставлено выше всего, где праву были бы подчинены **все** от высшего представителя вла-

---

* Этот очерк составлен и редактирован В. Е. Кокошкиной и И. Ю. Гуаданини. РЕД.

сти до последнего гражданина. Мы хотели сделать Россию страной сильной и процветающей. Мы знали, что для этого путь только один — поднять благосостояние низших трудящихся классов населения. Мы хотели сделать Россию страной сильной и могущественной единством, не высшим насильственным единством, а единством внутренней организации, которое совместимо с разнообразием местных условий, с разными особенностями всех народностей ее населяющих... Говорят, что всякая великая идея требует жертв, если мы должны быть этими жертвами — мы готовы быть ими... в твердом сознании, что для нашего дела суждено близкое торжество».

(Из защитительной речи Ф. Ф. Кокошкина на процессе «Выборгского воззвания»).

О Федоре Федоровиче Кокошкине, члене Временного Правительства, председателе Комиссии по выработке избирательного закона для выборов в Учредительное Собрание, депутате Первой Государственной Думы, члене Центрального Комитета партии народной свободы (конституционно-демократической) и видном политическом деятеле революционного периода — написано много воспоминаний. Тот интерес к его личности и деятельности, который всегда окружал его имя, особенно усилился после трагической смерти его и А. И. Шингарева. Переведенные из Петропавловской крепости в петроградскую Мариинскую больницу усердными хлопотами Георгиевской общины, оба они в ночь на 6-ое (19) января 1918 г. были злодейски убиты большевиками.

Об этом событии писалось много и в свое время и впоследствии в мемуарах, посвященных их памяти.

Я вырос в непосредственной и постоянной близости с покойным братом, находился все время под его влиянием, во многом он был моим руководителем. Память о нем, живой пример его жизни и всей его обаятельной личности живет до сих пор в моей душе.

Дед наш, Федор Федорович Кокошкин, был известным в истории русскаго театра драматургом и директором Московских государственных театров в первой половине девятнадцатого века.

Отец — служил в Люблинской губ., в городе Холме, комиссаром по крестьянским делам и умер рано. В этом же городе в 1871 г. родился брат Федя. Отца мы не помнили, он

умер, когда Феде было два года, а мне несколько месяцев. После его смерти мама замуж не вышла из привязанности к памяти отца и к детям.

После смерти отца мы переехали во Владимир на Клязьме, где наша мать стала начальницей женской гимназии.

Хорошо жилось нам в городе, в уютной городской квартире с громадным садом, в атмосфере совершенно исключительной любви к нам нашей матери. Но еще лучше жилось нам в деревне, в нашем родовом подмосковном имении, доставшемся нам по наследству от деда.

В нашей жизни, в развитии характера покойного брата, так же как и моего, пребывание в нашем любимом имении, имело большое значение.

Были мы детьми веселыми, живыми, склонными к детским шалостям, и с совершенно неистощимыми изобретениями всякого рода игр. И в этих изобретениях и играх всегда отражалась основная черта характера брата Феди — потребность претворить в жизнь то, что он прочел и продумал. Или иногда даже то, что случайно появилось в его богатой фантазии.

Помню, как брат прочел где-то о чествовании Пушкина в связи с какой-то годовщиной. Пушкина он любил больше всех русских писателей, доступныхъ его возрасту, и любил его, как живое, реальное лицо. Так же, как живое лицо, ненавидел он убившего поэта Дантеса.

Под впечатлением прочитанного решено было устроить чествование памяти Пушкина. План этого торжества быстро созрел в голове у Феди. Начались приготовления.

В густой чаще парка мы нашли поросшую мхом белую колонну служившую, повидимому, когда-то пьедесталом для статуи какой-нибудь богини. При содействии двух товарищей мы с величайшим трудом подняли и поставили ее. Разредили кругом кусты, работая топорами и перочинными ножами в поте лица. Образовавшуюся небольшую площадку усыпали песком. На колонну поставили портрет Пушкина, вырезанный из какого-то календаря и наклеенный на картон, и сделали венок из листьев и цветов в виде рамки.

Но убранство памятника показалоь нам недостаточно богатым и мы решили украсить его самодельным аквариумом, наведенные на эту необычайную мысль, вероятно, сказкой «О рыбаке и рыбке». В погребе мы стащили большую стеклянную банку и пустили в нее карасей из пруда.

Когда все было готово, брат прочел перед памятником стихотворение Лермонтова — «На смерть поэта». Читал он стихи превосходно, проникновенно и просто, без всякой актерской аффектации. Мы с сестрой и товарищами стояли молча — мы были глубоко растроганы трагической судьбой безвременно погибшего поэта и чувство горести и любви к нашему русскому, столь близкому сердцу поэту, нашей национальной гордости, поднималось в душе, вызывая неясный еще нам самим, клубок мыслей и чувств, из которого выросла в будущем крепкая любовь к Пушкину. Любовь к Пушкину — это любовь к России. И этой любви покойный брат был верен до конца дней своих.

В имении нашем, как тогда полагалось, было много слуг, живших у нас годами, иногда до самой смерти. «Людская» в нашей жизни играла большую роль.

Мы выросли в атмосфере не «идейного», а простого и искреннего, любовного отношения к народу. В этой настроенности не было ничего искусственного, ничего идущего от книжек или демократической проповеди. В ней сказывалось лишь влияние исключительной доброты и благожелательности, свойственных отцу и матери, считавших, что пренебрежительное отношение к людям, стоявшим ниже нас по своему социальному положению, есть признак «неблагородства» совершенно непозволительного и недопустимого. Это крепко засело в нашей душе на всю жизнь.

Общению нашему с «людской» никогда не препятствовали. И было в этой «людской» не мало людей исключительных и по уму и по характеру, оказавших на нас большое влияние. Это и объясняет то неизменное благожелательное, ласковое отношение к народу, к крестьянам, бывшее отличительной чертой покойного брата. Тут не было никакой идеализации — просто он любил народ, потому, что он был близок ему, как близка была ему вся Россия, русский народ и русская природа.

Учились мы в классической гимназии во Владимире на Клязьме. Брат учился в ней с 1880 по 1889 г. Гимназия наша была небольшая по числу учеников и много было еще учителей старого типа, задававших уроки «отсюда и досюда», не мудрствовавших лукаво, говоривших всем ученикам «ты», и знаниями своими, по совести можно сказать, брат Федя был обязан самому себе, занимаясь у себя дома и читая по своему выбору без всякого руководства учителей.

Школа была трудная, благодаря действовавшей со всей неумолимостью и беспощадностью старой классической системе и отсутствию талантливых преподавателей. Но брату ученье давалось легко. От природы чрезвычайно способный, обладавший исключительной памятью, стремившийся всегда и во всем быть в первых рядах, он не только не питал отвращенья к мертвым языкам, а даже чувствовал к ним особую склонность. Древние языки и литературу он знал отлично, неудивительно, что при таких данных он неизменно в каждом классе был первым учеником, окончил гимназию с золотой медалью и оставил по себе особую память, как об исключительно блестящем ученике — гордости гимназии.

Звания «первого ученика» брат всегда как-то стеснялся и боялся, что его могут принять за «добросовестную трудолюбивую тупицу». Ничего не может быть ошибочнее такого представления. Характер у него был живой и дружил он в классе с наиболее «отчаянными», хотя и способными учениками, что неоднократно ставилось ему начальством на вид.

На выпускном экзамене брата было задано общее сочинение на тему: «Доказать на каком-нибудь образце, что каждое истинно художественное произведение проникнуто духом времени и национальности». По своей охоте Федя взял в качестве образца «Антигону» Софокла и написал сочинение, обратившее на себя исключительное внимание в Округе.

Несмотря на обширную литературную эрудицию и увлечение литературой и поэзией, по окончании гимназии брат поступил на юридический факультет московского университета. Он объяснял свой выбор прежде всего тем, что его привлекала к себе красота последовательно-законченных построений юридической мысли.

В письме к своему другу он писал:

«Было время, когда отношение мое к юриспруденции носило характер по преимуществу эстетический. Меня увлекала лишь эстетическая сторона изящных в своей стройности и гармонии юридических конструкций».

Хорошее знание греческого языка побудило его избрать на юридическом факультете темой своего сочинения «Политику» Аристотеля, которую он проштудировал в подлиннике: именно за это сочинение он был в 1893 г. оставлен при университете проф. философии Н. Зверевым, которым и был рекомендован профессору государственного права А. С. Алексееву, соответственно избранной им потом специальности для подготовки к профессуре.

Брат был зачислен приват-доцентом по кафедре государственного права и в 1897 и 1898 г.г. откомандирован университетом заграницу. Там слушал он лекции и работал: в Гейдельберге у Георга Иеллинека и Георга Мейера; в Страсбурге у Лабанда и О. Мейера, а кроме того в Париже и Берлине.

С всемирно-известным знатоком государственного права Георгом Иеллинеком у брата осталась дружеская связь на долгие годы.

По возвращении в Москву брат начал читать лекции о самоуправлении и руководить занятиями по государственному праву в московском университете. Одно время он читал по тому же предмету и в лицее цесаревича Николая.

Состоя с 1897 г. гласным московского земского собрания от Звенигородского уезда, в котором находилось наше имение, брат был избран в 1903 г. членом губернской земской управы и играл видную роль в земском движении 1904-5 г.г. Он был членом организационного бюро и выступал по самым боевым вопросам докладчиком на съездах. Участвовал, также, в выработке ноябрьских «11 пунктов» и входил в состав обеих земско-городских делегаций, ведших в 1905 г. переговоры с гр. Витте. Одновременно Ф. Ф. исполнял обязанности секретаря Московской Городской Думы.

Несмотря на то, что брат читал лекции в университете и работал над диссертацией, он из кабинетного ученого превращается в смелого политического деятеля, которым и остается до конца своей жизни.

В основе натуры брата Феди лежали прирожденные чувства чести, смелости, независимости, любви к свободе — эти черты объясняли многое в его политической деятельности. Всю жизнь он боролся за принципы свободы, ограждающей достоинство человеческой личности.

К началу 1900 г. брат соприкоснулся с начавшим разгораться в Москве и охватившим вскоре всю Россию политическим движением, направленным к завоеванию общественной свободы. Он не мог остаться от него в стороне.

Вот пример вышесказанного: любовь его к нашему имению сказывалась особенно ярко, когда уставший от политической и научной работы он приезжал в деревню и наслаждался деревенской тишиной и привычной, милой ему обстановкой. «Боже, как хорошо, — говорил он, — как я не люблю политики. Какое несчастье, что я родился в такое время,

когда нельзя не интересоваться политикой, нельзя не быть политиком».

Как брат упоминает в своей автобиографии, в общественной работе в это время он близко сошелся с С. А. Муромцевым, Астровым, Шиповым, кн. Шаховским, Кизеветтером, Долгоруковыми и др.

Вскоре он примкнул к полуконспиративному кружку «Беседа».

Вот, что пишет в сборнике «Памяти погибших» А. Кизеветтер: «Тесные дружеские связи, основанные на глубокой общности идей и стремлений, спаяли Кокошкина теперь с той группой земских и городских деятелей, которая вступила тогда на путь политической борьбы под давним лозунгом русского прогрессивного земства: демократическая конституция и глубокие демократические реформы. Вступив в эту группу, Кокошкин немедленно занял в ней выдающееся положение одного из тех деятелей, на которого с полным основанием были возложены лучшие надежды. Его эрудиция в области государствоведения была изумительна. Его конституционно-демократические убеждения как нельзя больше отвечали стремлениям той группы. Его несравненный талант политического дебатера выдвигал его в ряды бойцов при полемических схватках с противниками. И ко всему этому присоединялись открытый и благородный характер, живая общительность, верность дружеским связям, готовность беззаветно служить общему делу, способность загораться боевым энтузиазмом».

В 1905 г. Ф. Ф. Кокошкин является одним из основателей конституционно-демократической партии. Он входит в состав ее Центрального Комитета, а, кроме того, принимает самое деятельное участие в «Союзе Освобождения», в его организационном бюро и в политических съездах созданных Союзом.

Кокошкин и Муромцев составляют конституционные проекты, которые обсуждаются на земских съездах «Союза Освобождения», где Кокошкин часто выступает докладчиком.

В своей книге «Роковые годы» П. Н. Милюков пишет: — «Собственно московские законоведы уже выработали текст будущей русской конституции. Он напечатан и комментирован в брошюре, изданной заграницей редакцией «Освобождения». ...В тесном кружке, который над этим работал, собираясь регулярно и часто, участвовали авторитетные специалисты-профессора, как М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев

и др. Но главную рабочую силу составляли московские профессора-юристы нового поколения, как Кокошкин, Новгородцев и др.»

Разрабатывая идею всеобщего избирательного права, рьяным сторонником которого он был, Кокошкин в 1905 г. в докладе Земскому съезду писал:

«Во всеобщем избирательном праве кроется тот секрет могущества, который повелевает и господствует над людьми. Оно есть величайшая политическая сила новейшего времени. **Нужно привлечь весь народ к государственной жизни,** выйти на общий суд, чтобы узнать, что будет осуждено и что оправдано».

Когда в 1906 г. открылась избирательная кампания, по выборам в Госуд. Думу, Кокошкин принимает в ней деятельное участие. Его имя в связи с выступлениями на политических митингах прогремело по всей России и ни для кого не явилось неожиданностью, что вместе с Муромцевым, Герценштейном и Савельевым он был избран в члены Государственной Думы представителем от города Москвы.

Кизеветтер считает, что «депутатская деятельность Кокошкина стояла на высоте присущих ему дарований и тех надежд, которые были на него возложены избирателями». В думских комиссиях «он был авторитетным и драгоценнейшим работником в силу своей глубокой осведомленности в вопросах государственного права»

«В истории нашей парламентской жизни, — пишет работавший с ним бок о бок Винавер, — едва ли найдутся два-три имени, которые могут делить с ним (Кокошкиным) славу первых парламентариев в России...»

На трибуне Думы, на митингах и в закрытых собраниях партии, Кокошкин был везде одинаков. Речи свои он произносил без искусственных эффектов, без жестикуляции, движения его были спокойны, голос сильный, но без особых оттенков. Но внимание своих слушателей он всегда приковывал.

О таланте ясной аргументации Ф. Ф. — Милюков пишет:

«...подчеркну только тот удивительный такт, с которым он угадывал в споре настроение собеседника или целой аудитории, формулировал за них их собственную мысль — и при этом точнее, чем они могли сделать это сами — и затем подвергал ее беспощадному аналитическому разбору и фактическому опровержению. Это делалось обычно в мягких, дружественных выражениях».

А вот что вспоминает В. Е. Кокошкина:

«Однажды я с моим мужем присутствовала на митинге солдат вернувшихся с фронта, на котором должен был выступать Ф. Ф. Происходило это в Москве уже после революции. Вначале выступил солдат-агитатор, призывавший слушателей к агрессивным действиям. Обстановка была тревожная. Солдаты были сильно возбуждены. Мой муж и я были взволнованы мыслью о том, как пройдет выступление Ф. Ф. Я даже стала просить его, чтобы он от выступления отказался. Но Ф. Ф., как всегда, был совершенно спокоен. Дав высказаться предыдущему оратору он взошел на трибуну. В зале стоял гул, раздавались отдельные выкрики. Но после первых неприятных мгновений Ф. Ф. вполне овладел вниманием слушателей. В своей речи он, с обычной ему ясностью и смелостью, начал излагать солдатам истинное положение вещей и, между прочим, указал на то, что только Временное Правительство, овладев положением, может выполнить различные мероприятия и удовлетворить законные требования. Настроение солдат постепенно начало меняться. Оратора слушали не прерывая. С мест стали доноситься крики: «Правильно, правильно!» Выступавший прежде агитатор стоял вблизи трибуны не осмеливаясь прервать. По окончании же речи, многие солдаты подошли к Кокошкину и благодарили за данные им разъяснения».

Винавер свидетельствует о том, что Кокошкин всегда легко и спокойно держал слушателей в своей власти «единственно и исключительно неустанным, ровным и постоянным накоплением мысли — той интуитивно создаваемой гармонией между темпом мысли слушателя и темпом мысли оратора, которая прочнее всего связывает трибуну с аудиторией». А Кизеветтер считал, что Кокошкин «по-истине магнетизировал аудиторию».

Ф. Ф. обладал свойством редким — его натура умела схватывать то, что ускользало от других и вещи, казавшиеся непримиримыми он умел сводить к гармоническому единству, причем в убеждениях своих он был очень стоек. Речи свои он почти всегда импровизировал, конспекты набрасывались тут же перед произнесением их и были весьма кратки. Полемика давалась ему особенно легко — в ней заключалось главное его мастерство. Часто в речах его слышалась и ирония, но ирония тонкая, поражающая без резкостей не человека, а идею.

Силу юридико-политической критики Кокошкина Винавер усматривает в том, что в ней «была не одна ясность и последовательность... в ней было нечто от глубины незаметного поверхностному наблюдателю, общего эстетического мироощущения».

В противоположность речи митинговой парламентская имеет успех только тогда, когда соединяет в себе с искусством слова оратора, определенную систему политических убеждений и вполне ясный план политической работы, дающий почувствовать в выступающем не только оратора-виртуоза, но и государственного деятеля с определенными твердыми идеалами. Кокошкину в высшей степени были присущи чувство меры и правильное ощущение жизненной обстановки. Он сочетал в себе и большие идеи и здравое практическое чутье.

Речи Ф. Ф. о гражданском равенстве являются во всей его деятельности наиболее выдающимися по содержанию. Он считал идею равенства исключительно важной — **краеугольным камнем** всего государственного здания и не рассматривал ее только как философский постулат равноценности политической личности.

Считая, что созидательная сила принципа равенства является необходимой, Кокошкин не допускал его дробления, применения его к одной сфере жизни, оставляя без внимания остальные. В одной из своих речей о гражданском равенстве в первой Думе он говорил:

«Если кто-нибудь скажет, положим: я — крестьянин и поэтому требую уравнения в правах крестьян со всеми гражданами, но я вместе с тем русский и не хочу отказываться от привилегий русского, то такой человек подрезает тот сук, на котором он сидит. Будем смотреть вперед на будущее и помнить, что в правовом государстве, которое мы создаем, равенство есть один цельный органический институт, один из главных устоев».

Кокошкин считал также, что: «Установление гражданского равноправия, есть не только дело справедливости. У нас нет нации в юридическом смысле слова: у нас есть только отдельные группы населения, отдельные племена, национальности и сословные группы. Нужно создать нацию, а таковой в наше время может быть только **союз свободных, равных граждан».**

Основой его политического миросозерцания и исходной точкой было требование создания государственного порядка, обеспечивающего каждому гражданину возможность «до-

стойного существования». Путь к этому лежал через сочетание **правомерной свободы с глубокими демократическими социальными реформами.**

Одной из обративших на себя внимание речей Кокошкина в первой Думе, явившейся полной импровизацией, была реплика депутату Стаховичу, который взял на себя неблагодарную роль защитника правительства обвинявшегося в организации еврейских погромов. Он говорил:

«Депутат Стахович обращается к нашему национальному самолюбию: он говорит об унижении государственной власти, говорит, что нельзя торопиться изобличать это унижение, потому что мы идем не к радости, а к бесславию, и поэтому, не будем спешить открывать и изобличать.

Я знаю эту теорию, господа. **Этот дух замалчивания, неспешности в раскрытии всего позорного, ведет не к чести — ведет к бесславию и позору.** Именно в интересах нашего национального самолюбия, именно в интересах **чести и достоинства России** мы должны заклеймить все то, что есть позорного в России, **как бы высоко оно не стояло,** и только таким путем мы поддержим честь и величие и достоинство России».

О еврейском вопросе, защитник права и свободы, Кокошкин высказывался так:

«Самым важным, самым крупным пережитком варварства разлагающим весь государственный быт, является та огромная сеть ограничений, которая опутывает жизнь еврейского населения в России. Эти законодательные ограничения на практике, в жизни складываются в огромное грязное кровавое пятно и одна из наших неотложных, с политической и нравственной точек зрения, задач, это — смыть с себя это грязное кровавое пятно, охранять доброе имя России в глазах нашего потомства. Антисемитизм мог существовать в России, остановившейся в нерешительности на историческом распутьи, но ему не может быть места в России, нашедшей себе дорогу и идущей вперед. Русскому народу чужда религиозная нетерпимость: одна из лучших черт его — это соединение глубокого религиозного чувства с отсутствием фанатизма и клерикализма».

Первая Дума стремилась к тому, чтобы стать реальной государственной силой. Она старалась показать, что многие известные идеалы русского освободительного движения живучи, и самим процессом приближения принципов к жизни старалась закрепить существование народного представитель-

ства. Для проведения этого в жизнь недостаточно было одной только пылкой и восторженной веры в идею — необходимо было особое чувство правильной оценки жизненной обстановки и умелого бережного обращения к многообразму живому, чтобы спешной ломкой во имя идеи не дискредитировать самой идеи. Кокошкин легко ориентировался в условиях места и времени, чтобы применять принципы, сообразуясь с жизненными извилинами и беря только то, что было возможно уложить в прочные формы права и что было или оправдано связью с прошлым или опытом других государств.

Работавший вместе с Кокошкиным Винавер считает, что без преувеличения можно сказать, что в России не было человека, который подходил бы к решению наисложнейшей национальной проблемы, может быть самой роковой проблемы государственной жизни, с таким прочным идейным планом и с таким знанием не только русской действительности, но и всемирноисторического опыта.

Правовые построения Кокошкина обладали непосредственной практической приложимостью и общие политические идеи превращались им в зрелые политические требования.

В своей книге «Лекции по общему государственному праву» Кокошкин сравнивал государственный строй Англии и Франции. Он писал:

«Многие французские писатели иронизировали над английским государственным строем, послужившим образцом для Монтескье. Они говорили, что англичане вместо того, чтобы создать простой порядок создают сложное нагромождение предохранительных мер против беспорядка.

История, однако не оправдывает этой оценки государственных форм по степени их простоты. Сложный механизм государственного строя оказался гораздо прочнее и благоприятнее для свободы, чем те «простые машины», которые строили французы в течение ста лет, и которые ломались одна за другой, разбивая вместе с тем и индивидуальную свободу».

Деятельность первой Думы была сильно затруднена непрерывной борьбой, которую вело с нею правительство. Борьба эта началась, можно сказать, с первого момента ее деятельности. Поэтому план работы Государственной Думы почти ежедневно нарушался и она принуждена была менять диспозицию, отбивая неожиданные атаки и атакуя сама. Петрункевич, Родичев, Кокошкин, Набоков, Винавер и Муханов

состояли в особой распорядительной комиссии, действующей в Думе для этих целей. На обязанности этой комиссии лежало принимать во время заседаний немедленно тактические решения и делать заявления по самым животрепещущим вопросам от имени партии к. д. По этому поводу Винавер вспоминает: — «Я не помню у Кокошкина никогда в эти минуты колебаний, **нерешительности, половинчатости...** Он обладал даром... действовать **соборне и черпать силу в этой соборности.** Работа с ним шла плавно, без борьбы... без компромисса, так как Кокошкин менее всего был человек компромисса».

В своей книге «Республика», Кокошкин называет три идеи, воодушевлявшие его в парламентской деятельности, **«тремя уставами» своей партийной программы. Первый — неприкосновенность начал гражданской свободы и равенства. Второй — полное господство народной воли, и третий — осуществление начал социальной справедливости, широкие реформы, направленные к удовлетворению справедливых требований трудящихся классов.**

За 72 дня существования первой Государственной Думы наибольшее количество произнесенных речей на самые разнообразные темы, принадлежало Кокошкину, несмотря на его хрупкое, часто изменявшее ему здоровье.

Первая Государственная Дума была распущена 8-го июля 1906 г. После этого события Кокошкин и Винавер в Выборге написали завет первой Думы, так называемое, «Выборгское воззвание», явившееся естественной реакцией настроений первой Думы.

«Выборгское воззвание» призывало «до созыва народного представительства не платить налогов и не давать рекрутов». Этот призыв оказался минимумом того, на что решили пойти представители левых партий, несмотря на то, что этот текст был уже «усилен», он имел значение крайнего, но все же конституционного отпора против нарушителей конституции сверху, что и доказал, по словам свидетелей, со своей обычной ясностью, на основании исторических прецедентов в своей защитительной речи на процессе Выборгского воззвания Кокошкин.

Кн. Вл. Оболенский говорит о «Выборгском воззвании» следующее:

«Подписав «Выборгское воззвание» сами депутаты на много лет ограничили свою политическую деятельность... Если судить «Выборгское воззвание» с точки зрения политической, то нельзя не признать в полной мере его нецелесооб-

разность... Но... этот политически ненужный акт являлся для нас психологической необходимостью».

На этом историческом процессе по делу «Выборгского воззвания» на скамье подсудимых сидели 169 депутатов первой Думы во главе с ее председателем С. А. Муромцевым. Это был, по словам А. А. Гольденвейзера, «цвет русской интеллигенции, самые популярные и любимые во всей России политические деятели».

Крашенинников, почтенный и грозный старший председатель Петербугской судебной палаты и товарищ прокурора Палаты чувствовали себя смущенно и неуверенно. На суде каждый из подсудимых мог сам выступить в свою защиту с изложением своего политического кредо. Постановка этого процесса оказалась большой ошибкой со стороны правительства. Суд был вынужден взять на себя несвойственную русскому суду задачу — разрешение конфликта между двумя органами власти — короной и народным представительством. Выборгский процесс был проведен в формах корректных и закончился присуждением к трехмесячному заключению и лишению подсудимых избирательных прав.

Защита была представлена лучшими адвокатами В. А. Маклаковым, Н. В. Тесленко и О. Я. Пергаментом. В своей защитительной речи Кокошкин сказал: «Мы хотели, чтобы в России **право** было поставлено выше всего, чтобы **праву** были подчинены **все,** от высшего представителя власти до самого последнего гражданина».

Он верил, что «Выборгским воззванием» можно научить народ лояльному пассивному сопротивлению. Он верил, что вчерашние «рабы» превратятся не в «взбунтовавшихся рабов», а в «сознательных граждан». Он считал, что «Москва переродилась», что «она не то, что была раньше», и когда в партию Народной свободы стали записываться общественные низы, он увидел в этом доказательство политической зрелости и считал, что к-д партия «стала подлинно народной партией».

По поводу процесса «Выборгского воззвания» В. А. Маклаков вспоминает: — «Такие речи, как говорили на суде подсудимые, можно было говорить в Учредительном Собрании... на собрании политической партии. Ведь было ясно, что эти речи говорились не для судей, а через их головы публике и потомству... Не могу не прибавить, что никогда я в своей речи не ощущал такой солидарности с подзащитными,

как на этом процессе и она произвела на судей большое впечатление».

Маклаков говорил последним и закончил свою речь патетическим вопросом: «Найдутся ли у нашего закона защитники?»

С Выборгским воззванием закончилась парламентская деятельность Кокошкина и его товарищей по думской конституционно-демократической фракции. Он вернулся к преподавательской деятельности в московских высших учебных заведениях. Но связь его с той политической партией, в первом ряду которой он вел свою боевую политическую работу, укрепилась еще больше. Он увлекался политической работой в ЦК партии народной свободы и ее московском городском комитете. Кроме того, с чрезвычайным увлечением отдался он и политической публицистике.

В течение недолгого времени Кокошкин был редактором конституционно-демократической газеты «Новь». А с конца 1907 г. стал постоянным сотрудником «Русских Ведомостей.» Эта публицистическая деятельность заняла в его существовании центральное место. Отстаивать свои политические идеалы он мог теперь только пером публициста, так как двери парламента были для него закрыты.

Милюков в «Роковых годах» так вспоминает об этом времени:

«Впоследствии, когда я стал передовиком «Речи», а Кокошкин писал передовицы в «Русских Ведомостях», я всегда с особым интересом ждал вчерашнего номера московской газеты, чтобы проверить свои сегодняшние соображения, — и я особенно радовался, когда находил в «Русских Ведомостях» ту же тему и одинаковую трактовку ее. Между нами создалось, таким образом, какое-то особое взаимное понимание, какое, в тех же пределах и с таким же характером, мне кажется, не повторялось в других аналогичных случаях моей жизни».

Форма газетных писаний Ф. Ф. была чрезвычайно разнообразна. Писал он и передовые статьи на злободневные вопросы и научно-публицистические трактаты по текущим вопросам политической жизни. Особенно важны были его статьи о парламентаризме, о русско-финляндских отношениях, об автономии областей, о положении старообрядцев, о национальном вопросе. Меткость и сила его полемических ударов, великолепный литературный язык соединялись всег-

да с глубоким знанием затрагиваемых им вопросов и с широтой его политического кругозора.

Но кроме того он выступал и в роли политического сатирика, писал юмористические заметки, вступая в полемические споры с противниками и, по мнению современников, мастерски, с легким и искрометным остроумием наносил и парировал их удары. Естественно, что при такихъ своих качествах Кокошкин явился весьма желательным сотрудником для лучшей прогрессивной газеты, которой в то время были «Русские Ведомости». Псевдонимом для своих газетных статей Кокошкин избрал английское слово «debater», вспомнив, может быть, отзыв о нем одного английского парламентария, пришедшего в восторг от его полемической диалектики на одном из земских съездов: «Вот прирожденный дебатер!» — был этот отзыв.

В свое время упорная самостоятельная работа мысли привела Кокошкина к тому, что он стал радикалом. Серьезно пережитые впечатления от опыта общественной работы осветили ему жизненную правду, выдвигаемых политическим радикализмом требований. Прекрасно сознавал он те сложные трудности, воздвигаемые реальной жизнью на пути политического прогресса. Когда стало совершенно ясно, что революционный взрыв приближается, ускоряемый нашими неудачами на фронте во время первой мировой войны, Кокошкин смотрел на это весьма пессимистически и не разделял ожиданий многих — что вместе с государственным переворотом повысится и боевая мощь России. Он вполне отдавал себе отчет к каким величайшим опасностям может привести революционный переворот, и февральскую революцию он принял только, как необходимую оборону перед смертельной опасностью.

Одним из его главных убеждений всю жизнь было, что «идея общественного блага, не умеряемая началом права — «опасная идея». «Не даром, — писал он, — одно из самых демократических и кровожадных учреждений известных истории носило название «Комитета общественного спасения» (блага). История Французской революции показывает к каким результатам приходят перевороты, совершаемые **во имя гуманных идей там, где не подготовлена юридическая почва для них».**

Поэтому Кокошкин считал, что дальнейшее развитие общественной жизни после революции должно идти в форме парламентской борьбы во всенародном представительном со-

брании (т. е. Учредительном Собрании), призванном немедленно претворить достижения революции в форму права. Он верил, что только весь народ в организованной форме власти, в условиях современного общежития, придаст завоеваниям революции правовую форму. Он верил в чудо.

В 1917 г. Кокошкин вернулся к политической деятельности и принял участие в административных работах при временных органах власти в ожидании создания парламента. Центральный комитет партии Народной Свободы считал нужным участие к-д в новообразованном, после июльского восстания большевиков, правительстве под председательством А. Ф. Керенского. Но мнения расходились и по этому вопросу шли ожесточенные споры.

Несмотря на то, что Кокошкин был против этого участия, он, соблюдавший всегда строго партийную дисциплину, не счел для себя возможным отказаться от возложенного на него поручения партии. Именно на него рассчитывала к-д партия, поручившая ему руководить своей политикой в правительстве. Но Кокошкин выбрал для себя второстепенный портфель Государственного Контролера, не приняв портфеля министра юстиции и специально для него созданного портфеля министра по Учредительному Собранию. Кроме этого он руководил юридическим совещанием, которое играло роль маленькой законосовещательной камеры, а также принял на себя обязанности председателя в Совещании по выработке закона об Учредительном Собрании.

Не чувствуя в себе призвания к административным постам и предпочитая деятельность парламентскую он сказал как-то в частной беседе Винаверу: — «На все эти административные посты меня не тянет. Не удивляйтесь тому, что я вам скажу: единственный пост, который я занял бы с некоторым интересом — это пост обер-прокурора Святейшего Синода. Тут я мог бы кое-что сделать — у меня на этот счет есть свои идеи».

Узнав, что духовные члены Синода относятся скептически к его заявлению и недоверчиво относятся к его религиозности, он сказал с тонкой улыбкой: — «Если бы они знали, как сильно они заблуждаются», и добавил, что он «мог бы поспорить со своими обвинителями».

При всей многогранности натуры Кокошкин с неменьшим увлечением, чем он относился ко всем своим остальным работам, изучал каноническое право и богословские вопросы, в которых был весьма сведущ.

В 1917 г. Кокошкину было поручено переделать неудачно составленное первое воззвание Временного Правительства. По словам В. Д. Набокова это было «. . . воззвание Временного Правительства ко всей стране, излагающее смысл происшедших событий и profession de foi Временного Правительства, а так же и политическую программу более определенную и полную... Проект вызвал частичные возражения... Мануилов внес предложение — передать его Ф. Ф. Кокошкину (утром приехавшему из Москвы) для переделки. Это было принято. В качестве сотрудника Кокошкина был Винавер и текст... был им, Кокошкиным внесен Временному Правительству, которое его санкционировало без изменения».

По этому поводу Кокошкин сказал Винаверу: — «Смотрите, какая тут символика. Вот мы опять с вами. Помните, как в летнюю ночь в Выборге писали мы вдвоем завет Первой Думы? Теперь меня просят сочинить первый привет свободной России, Манифест Временного Правительства. Давайте сочинять вместе. Начнем с того, чем кончили одиннадцать лет тому назад».

Когда Кокошкин собрался ехать в Петроград на открытие Учредительного Собрания, семья и друзья, обеспокоенные его решением уговаривали этого не делать, вполне отдавая себе отчет в грозящей ему опасности. Но он отвечал, как пишет Кизеветтер, — «с простотой истинного героизма: «Я не могу не явиться туда, куда меня послали мои избиратели. Это значило бы для меня изменить делу всей моей жизни». Кизеветтер продолжает: «Помню наше последнее свидание с ним перед его отъездом из Москвы в Петербург. Без всяких фраз мы обнялись и поцеловались. Через несколько дней Москва узнала, что Кокошкин и Шингарев заключены в крепость».

С ужасом узнала Москва о петроградских событиях — о «разгоне» Учредительного Собрания и о заключении некоторых его членов в Петропавловскую крепость. Убитый одновременно с Кокошкиным А. И. Шингарев писал в своем дневнике: — «Пусть население знает — **кто** срывает Учредительное Собрание, **кто** насилует свободу народа. Из нашего задержания должна получиться польза. Когда-нибудь да прояснится народное сознание».

На вопрос кн. Павла Долгорукова, арестованного вместе с ними, какую бы речь он сказал сегодня в Учредительном Собрании, Шингарев ответил: — «Я бы сказал речь о том, как русская революция сама себя убивает».

И Кокошкин и Шингарев, переутомленные напряжением последних месяцев очень плохо переносили тюремный режим и холод. Друзья, видя опасность серьезного заболевания, стали хлопотать о переводе их в Мариинскую больницу. С большими стараниями, как исключительную милость, это разрешение было получено.

Но в Петрограде в это время царило волнение. Сторожа Петропавловской крепости, привыкшие к своим заключенным и относившиеся к ним весьма дружелюбно, говорили предупреждая: «Мы слышали, что вы переводитесь в больницу: зачем вы это делаете... там будут красноармейцы...» Но отступление было невозможно — вечером 6-го (19) января 1918 г. перевод в Мариинскую больницу состоялся. Заключенные были рады теплу и чистым постелям. Около полуночи они заснули. А в 12.30 ночи, в палату, несмотря на протест персонала, под предлогом смены караула, ворвались красноармейцы под предводительством солдата Басова, светившего солдатам. Солдаты стали наносить штыковые удары и стрелять в лежавших в кроватях Кокошкина и Шингарева. Пытавшийся защищаться Шингарев был весь исколот штыками и ранен выстрелами в лицо, грудь и живот. Он умер через полтора часа.

Двумя выстрелами — в рот и в сердце — Кокошкин был убит наповал. Перед смертью, увидев нападавших солдат, он успел приподняться и крикнуть: «Братцы, что вы делаете!» В этих последних словах его отразилось его всегдашнее доверие к народу, который он всю жизнь любил и за который ратовал, к народу, к которому он с детства привык, **ибо чувствовал себя частью этого народа...**

Об этом В. А. Маклаков пишет так:

«Посадила Кокошкина и убила его превозносимая им «народная воля» не в идеализированном, а в реальном виде своем. Народ пошел не за верой Кокошкина, а за злобными наущениями Ленина, не за правовыми началами, а за призывами «грабь»...

Это зверское убийство двух беззащитных, больных людей произвело потрясающее впечатление в России. На похоронах Кокошкина и Шингарева присутствовали десятки тысяч людей всех партий.

В органе социалдемократической партии, газете «Начало», в № 2, от 2-го (15) февраля 1918 г., в статье-отчете «Деятельность Петроградского комитета с-д меньшевиков»

сказано: «В связи с убийством Ф. Кокошкина и А. Шингарева, Петроградский Комитет послал сочувственную телеграмму ЦК партии Народной Свободы. Все члены организации были призваны к участию в похоронах».

Милюков вспоминает, что эта ужасная весть дошла до Ростова, где он тогда находился, только 12-го января. «Весь город, — пишет он, — был поражен двойным убийством Шингарева и Кокошкина. И весь город пришел на панихиду, наполнив всю площадь перед собором. Если бы знала и могла, вся Россия сделала бы то же самое».

В одной из интимных бесед, в 1917 г., Кокошкин сказал Винаверу:

«Мы с вами рождены быть парламентариями, а судьба все ставит нас в условия, где борьба должна вестись другими путями. Так было всегда в 1905-6 гг., так оно и теперь».

«В этих словах, — пишет Винавер, — скрыта глубокая трагедия жизни этого замечательного человека. Трагическое тут было, впрочем, не в личном ощущении, трагизм здесь, — в судьбе России».

ТЕНЬ ГРОЗНОГО

В Москве вышла любопытная книга, наводящая на размышление самым фактом своего появления. Как часто мы здесь, в эмиграции, сокрушаемся по поводу упадка нашей прессы, исчезновения издательств, прекращения возможности печататься. У многих опускаются руки и останавливается творческая деятельность. Но вот нам явлен пример, зовущий к работе при любых обстоятельствах. Если вашими побуждениями управляет не тщеславие и жажда популярности, а само творческое устремление, то никакие издательские кризисы и редакторские зажимы не могут считаться препятствием. Пусть зажимают, изгоняют, — все равно пишите. Есть некая мистическая уверенность, что истина, где бы ни родилась, пробьется к свету.

Перед нами труд писаный в подполье, без всякой надежды на опубликование, потому что подрывал государственно и партийно апробированную точку зрения на один из ярких эпизодов русской истории. И все-таки, через двадцать лет, работа появилась в печати и займет почетное место в ученой литературе. Называется она «Исследования по истории опричнины».[1]

Всем известно, кем превозносилось, совсем недавно, кровавое дело Ивана Грозного. В воспоминаниях артиста Н. К. Черкасова, игравшего главную роль в фильме «Иван Грозный», рассказано, как он, вместе с постановщиком Сергеем Эйзенштейном, был принят Сталиным 24 февр. 1947 г., перед началом работ над второй частью картины. «Говоря о государственной деятельности Грозного товарищ И. В. Сталин заметил, что Иван IV был великим и мудрым правителем, который ограждал страну от проникновения иностранного влияния и стремился объединить Россию. В частности, говоря о прогрессивной деятельности Грозного, товарищ И. В. Сталин подчеркнул, что Иван IV впервые в России ввел мо-

---

[1] С. Б. Веселовский «Исследования по истории опричнины». Изд-во Академии Наук. М. 1963.

нополию внешней торговли, добавив, что после него это сделал только Ленин. Иосиф Виссарионович отметил, также, прогрессивную роль опричнины. Малюта Скуратов был крупным русским военачальником, героически павшим в борьбе с Ливонией».

Каким образом сложились у Сталина такие взгляды? Он во всяком случае ни разу не беседовал на этот предмет с известными историками. Не он у них, а они должны были учиться у него, и у тех, которые выражали точку зрения вождя. «Наставлять историков на путь истинный взялись литераторы, драматурги, театральные критики и кино-режиссеры».

Меньше всего пришлось наставлять старого московского профессора всеобщей истории Р. Ю. Виппера, опубликовавшего еще в 1922 г. книгу об Иване Грозном. Будучи эмигрантом и проживши около 20 лет в Риге, Виппер лишь после советской оккупации Латвии вернулся в родной Московский Университет. Книга его, расцененная в свое время, как монархическая, оказалась теперь образцом партийно-коммунистического взгляда на Грозного и его опричнину. Она выдержала два новых издания — в 1942 и в 1944 гг., а в 1945 г. им выпущена брошюра «Иван IV», предельно заострявшая и усиливавшая прежние оценки и характеристики царя, как «создателя централизованного государства и крупнейшего политического деятеля своего времени».

Не надо было долго учить и тех историков, что прошли перед тем сталинскую тюрьму и ссылку. Так С. В. Бахрушин, трезвый исследователь, всегда очень осторожный в широких обобщениях, должен был в своем «Иване Грозном», вышедшем в 1942 г. повторять славословия по адресу царя — «крупного государственного деятеля своей эпохи, верно понимавшего интересы и нужды своего народа и боровшегося за их удовлетворение».

Такими же превознесениями полны все прочие работы, вышедшие в сороковых годах. Самое их появление в большом количестве, сразу после ежовщины, знаменательно. Оправданием террора Грозного оправдывался сталинский террор. Направляющая партийная рука видна здесь ясно. Завершилось всё, как известно, постановлением воздвигнуть грозному царю памятник в Москве.

Легко представить, какой могильный камень положен был на свободное научное исследование в эти годы. Но в эти годы, как раз, и начал «отшельник в темной келье» писать свой труд о самом кровавом событии русского прошлого.

Академик Степан Борисович Веселовский, никогда не выпускавший популярных книжек, не искавший успеха на лекторском поприще, остался почти неизвестен широкой публике. Но он приобрел высокое имя в ученых кругах и принадлежит к числу самых значительных русских историков. В ряде областей, особенно в истории поземельных отношений Московского Государства, он был первым авторитетом. Его знание первоисточников печатных и рукописных — совершенно изумительно. Такое хранилище, как Московский Архив Министерства Юстиции и Министерства Иностранных Дел, известно было ему вдоль и поперек. Будучи до революции человеком состоятельным, он набрал целую артель переписчиков, с помощью которых скопировал множество актов этого архива, так что мог заниматься исследованиями сидя у себя дома. Стены его квартиры уставлены были сверху до низу полками с копийным материалом в виде толстых серых томов. Весьма возможно, что репутация архивного затворника, далекого от политических интересов, спасла его в годы великого избиения русских историков; он избежал ареста по делу Платонова-Лихачева-Любавского, несмотря на то, что за год до этого лишен был избирательных прав, как бывший богач и домовладелец.

Заметки об опричнине написаны им в 1940-1945 гг. т. е. в годы сразу же последовавшие за ежовщиной и в период наибольшего превознесения имени Грозного. Фильмы Эйзенштейна показывались в это время по всей стране, исторические романы вроде трилогии В. Костылева «Иван Грозный» издавались большими тиражами, о них писались хвалебные рецензии. Всё вместе сливалось в единый хор прославления опричнины. Сближение дела Грозного с делом Сталина настолько бросалось в глаза, что понятно было младенцу.

Совершенно очевидно, труд предпринятый С. Б. Веселовским мог вестись только в глубокой тайне. Это не значило, что отдельные его части, вроде «Духовного завещания царя Ивана 1572 г.» или «Синодик опальных царя Ивана, как исторический источник», не могли появляться в печати. Их сугубо источниковедческий характер никого не наводил на мысль о пересмотре целого исторического сюжета. Столь же невинной казалась статья о монастырском землевладении во второй половине XVI века, содержавшая экскурс в область земельной политики Грозного. Но вся работа в целом, заклю-

чавшая основные мысли автора, не только не могла быть опубликована, но и поведана самым близким людям. В будущем, вероятно, обнаружится не мало таких тружеников, писавших долгие годы «для ящика своего письменного стола». Может статься, что как раз их имена, а не те что блистают сегодня, будут определять лицо русской культуры.

Труд С. Б. Веселовского — незаконченное и неотделанное произведение, не книга, а ряд очерков. Нет общей композиции, нет завершающих мыслей охватывающих всю тему, даже отдельные очерки представляют собой, наполовину обработанный материал. Есть основание думать, что он был прерван по какой-то внешней причине, быть может, по боязни доноса и обыска. Обстановка создалась, повидимому, опасная даже для келейного продолжения работы. Началась ждановщина, пошли «проработки». Крылом послевоенной реакции задет был и наш историк. Его «Феодальное землевладение в северо-восточной Руси» хоть и напечатали, но снабдили предисловием, вскрывающим его немарксистский характер. Подновили наложенное еще со времен Покровского клеймо «буржуазного» ученого. Самое же главное, культ Грозного после войны усилился; в постановлении Ц.К. ВКПб. от 4 сентября 1946 г. опричнина объявлялась мероприятием первостепенной важности в деле создания русского государства. Всякое инакомыслие было поставлено под удар.

По этой или по другой причине, но с 1945 г., до самой смерти историка, последовавшей в 1952 г., он не написал ни одного нового очерка об опричнине и, видимо, не занимался приведением в порядок ранее написанного. И все же, несмотря на полусырой вид в котором она появилась, книга С. Б. Веселовского может считаться самым интересным, самым ярким высказыванием об опричнине, после знаменитой второй главы «Очерков по истории Смуты» С. Ф Платонова. Об этой главе необходимо сказать несколько слов, по той причине, что на нее направлен весь огонь полемики Веселовского. Если он не вступает в спор с кинорежиссерами и литературными критиками, если обходит работы Бахрушина, Виппера, И. И. Смирнова, то труд Платонова вызывает в нем, почти, раздражение. Временами кажется, будто «Исследования» написаны, как антитеза платоновской точке зрения.

Высказывания автора «Смуты» явились, как бы, последним словом дореволюцинной русской историографии, они оказали наиболее сильное влияние на умы, усвоены были не только наукой, но вошли в школьное и университетское преподавание, в популярные книги и очерки, сделались в некотором роде общепризнанными. Они впервые может-быть отделили Грозного от опричнины, превратив ее в закономерное историческое явление, обусловленное объективными процессами русской социально-экономической жизни, а вовсе не нравом и темпераментом царя. Личные свойства Ивана могли придать ей кровавое обличье, но не общий смысл. Значение ее, как большой реформы направленной на ликвидацию боярско-вотчинного режима и на мобилизацию земель, для раздач нарождавшемуся служилому дворянству — определено самой историей. Личность Грозного тем самым оправдывалась, если не морально, то государственно-политически; его характеристика умного, дальновидного и твердого правителя, разрубившего гордиев узел русской жизни, приобретала солидный базис.

Веселовский отрицает за опричниной значение важной государственной реформы и не видит в ней никакого разумного основания. Ни одной насущной проблемы того времени она не разрешила и не могла разрешить, потому что возникла не с той целью, какую приписывают ей историки XIX-XX вв.

Сокрушение платоновской точки зрения начинается с разбора главной тезы второй главы «Очерков по истории Смуты», сформулированной так: «В центральных областях государства для опричнины были отделены как раз те местности, где еще существовало на старых удельных территориях землевладение княжат, потомков владетельных князей». На этих, взятых для нее землях, — по словам Платонова, — «опричнина подвергала систематической ломке вотчинное землевладение служилых княжат вообще, на всем его пространстве».

Веселовский считает это полным недоразумением. В областях перешедших в опричнину нечего было ломать. Княжеских вотчин там не наблюдалось, они были ликвидированы еще дедом и отцом Ивана. Если же существует какое-то сомнение в отношении ростовских княжат, про которых подлинно неизвестно были они в то время вотчинниками или владели землей уже на новых основаниях, то известно, что

никаким выселениям и «ломке» не подвергались. Сохранилось в тверском уезде несколько вотчинных сел князей Телятевских и Микулинских, но тверской уезд не был взят в опричнину. Сами Телятевские зато служили в опричнине. Не попали в опричнину ни Оболенские, ни Стародубские княжения, где еще уцелело несколько вотчин. Что же касается Суздаля и Ярославля, то Веселовский ссылается на прямое свидетельство летописей, согласно которым ярославские князья и многие суздальские лишились своих вотчин в XV веке. Дед Грозного сделал это не прибегая к опричнине. Веселовский напоминает читателю, что за последние два десятилетия XV в. Иван III лишил всех княжат суверенных прав — суда, дани, независимости от наместников и волостелей. Грозному нечего было делать в этом направлении. Сам он, задолго до опричнины запретил особым указом в 1550 г. митрополиту и владыкам принимать к себе на службу детей боярских без особого разрешения царя, а в 1556 г. обязал служить всех землевладельцев царю и никому другому. Важные эти распоряжения, наносившие последний удар удельно-вотчинному порядку, сделаны были в период пребывания у власти Избранной Рады и тех самых советников, на которых Грозный завел опричнину. Все это дает право нашему историку поставить недоуменный вопрос: на чем же основано общепринятое в исторической литературе мнение, будто княженецкое землевладение, представляло большую силу и будто царь Иван, учреждая опричнину, поставил себе задачей искоренить аграрную знать? Объясняет он это исключительно незнанием фактов, пренебрежительным отношением к источникам, нежеланием в них погружаться, а так же властью модных теорий и эффектных концепций.

С. Ф. Платонова он обвиняет кроме того, в погоне за лекторскими лаврами, полагая, видимо, что для снискания популярности у своих университетских слушателей (по преимуществу, марксистско-народнических в те дни), почтенный ученый впадал в соблазн экономического материализма. Вряд ли это справедливо. Слава С. Ф. Платонова, как лектора, покоилась не на модных теориях и идеях, а исключительно на большом знании истории и на словесном мастерстве. Что же до экономического материализма в его зомбартовской редакции, то он сделался историческим методом не одного Платонова, но всей школы В. О. Ключевского, к которой Платонов себя относил и к которой принадлежал сам С. Б. Веселовский. «Сошное письмо» и прочие его работы по аграрной

истории, вызваны к жизни господством этого метода. Тяготел он над ними и в период его деятельности в РАНИОНе (вторая половина 20-х годов), о чем свидетельствовали его выступления на заседаниях Института Истории и в собственном семинаре. Не слышно было его высказываний и об опричнине в ином духе, чем у Платонова. Правда, сюжет этот не занимал его до самых сороковых годов. Если же он им увлекся и отказался от платоновского подхода, вернувшись к пониманию огромного значения в истории личности и факторов нематериального порядка, то в этом надо видеть целый сдвиг. Вряд ли в таком сдвиге повинна новая теория, следов которой пока не замечаем. Причину надлежит искать в чем то другом.

Объявив ломку удельно-вотчинного землевладения сплошным мифом, он считает таким же мифом, приписанную опричнине мобилизацию земель в пользу мелкопоместного дворянства и детей боярских. С территорий отписанных в опричнину, большинство мелкопоместных выселено вместе с крупными землевладельцами. В опричный двор взяты немногие. Нет материалов могущих доказать, будто мелкое служилое сословие в чем-то выиграло от опричнины, зато известно, что пострадало от нее больше, чем боярская знать. Характерен случай с Новгородом. Там со времен Ивана III не существовало крупного боярства; этот «разумный самодержец» вывел его в рязанские, владимирские, коломенские пределы, а вотчины поразделил между служилыми людьми посланными с Москвы. Он насадил там тот вид землевладения, ради торжества которого, будто бы учреждена была опричнина. Грозному надлежало бы усматривать в новгородских помещиках свою социальную опору, между тем, он разорил и истребил их не хуже знатных бояр. Тоже со Псковом.

Веселовский отрицает правдивость показаний Таубе, Крузе и Генриха Штадена, будто приспешников своих царь набирал из худородных и простых людей. «Командная верхушка опричного двора, — говорит он, — в генеалогическом отношении была ничуть не ниже титулованного и нетитулованного дворянства старого государева двора». Там, даже, местничество продолжало существовать. Некомандная часть состояла точно так же в значительной степени из старого служилого сословия. Жертвы опричнины в гораздо большем

числе насчитываются в низах — у рядовых помещиков и простонародья. Их выселяли, ссылали и казнили сотнями и тысячами. «Демократизм» Грозного — легенда.

Веселовский недоумевает: если опричный террор задуман и направлен был против старой знати, то что за смысл в истреблении ее слуг и крестьян? Штаден и Шлихтинг красочно описывают, как после казни боярина И. Ф. Федорова царь сам ездил по его усадьбам со своими «кромешниками», избивал мужиков и дворню, жег села, уничтожал скот. Синодики, перечисляющие жертвы таких экспедиций полны записями, вроде: «в Ивановском Большом православных христиан семнадцать человек, да четырнадцати человек ручным усечением конец прияша... В Ивановском Меньшом: Исаковы жены Заборовского тринадцать человек, да седьм человек рук отсечением скончавшихся. В Бежецком Верху Ивановых людей шестьдесят пять человек, да дванадесять человек скончавшихся ручным усечением, имена их Ты Господи веси...» Когда же доходит до новгородского погрома, жертвы исчисляются тысячами. «По малютинские ноугородские посылки отделано скончавшихся православных христиан тысяща четыреста девятьдесят человек, да из пищали пятнадцать человек, им же имена сам Ты Господи веси».

Если не брать в расчет беспримерного и совершенно необъяснимого истребления новгородцев, которых «отделано» до 10.000 и которые ни с какой стороны ни к боярству, ни к вотчинному землевладению не имели отношения, то и тогда процент убитых простых людей — мужиков, дворян, посадских и мелких помещиков неизмеримо превышает процент бояр и высших чинов. Как это согласовать с тем смыслом, который приписывается опричной политике Грозного?

Не прошел Веселовский и мимо давно известного факта запустения полей — результата хозяйничанья опричников. В некоторых уездах, до 90% крестьянских двороз лежало впусте, так что не одни историки, но и современники Грозного объясняли военные неудачи конца его царствования этим экономическим кризисом. О «прогрессивности» опричнины в свете таких данных можно говорить только иронически.

* * *

С. Б. Веселовский считает ее неумным делом, хотя бы потому, что просуществовав шесть-семь лет, она доказала

свою непригодность и была уничтожена Иваном с таким же ожесточением и казнями, с какими он громил прежний порядок. Пользы от нее не было даже для знаменитого «укрепления самодержавной власти», вред же неисчислимый. Не видит Веселовский в личности Грозного и того величия, которое ему часто приписывают. Напротив — он трусливый тиран, смелый на избиения беззащитных подданных, но спасающийся бегством от подлинной опасности. Так, он дважды убегал при нападениях Девлет Гирея в 1571 и 1572 гг., оставляя Москву и весь край на поток и разграбление.

Не с лучшей стороны представляется он и во время знаменитого удаления в Александровскую слободу, перед учреждением опричнины. У Иоганна Таубе и Эллерта Крузе есть указание на любопытную подробность: когда царь после полугодового пребывания в опричной берлоге, вернулся в Москву, он был неузнаваем — выпала вся борода и все волосы на голове. В большинстве случаев, это преображение толкуют в благоприятном для Ивана смысле. Один из наших религиозных философов вспомнил недавно об этой вылезшей бороде и поставил ее в связь с душевными терзаниями, охватившими, будто бы, царя перед принятием страшного решения. Совесть знал! Бога боялся! Веселовский объясняет иначе. Переживания царя действительно были сильны, но не по причине моральных и религиозных сомнений. За все время опричных неистовств он не испытывал ни малейших угрызений; не только тела своих жертв умерщвлял, но принимал меры и к погублению, по тогдашним верованиям, душ, оставляя убитых без погребения и без поминовения. Только к концу царствования, после упразднения опричнины, начали вспоминать имена, записывать в синодики и рассылать деньги по монастырям для молений об упокоении душ казненных. Борода вылезла не от страха Божия, а от вульгарного страха за собственную шкуру. Анализируя обстановку конца 1564 и начала 1565 гг., Веселовский пришел к заключению, что подготовляя государственный переворот, царь, несмотря на тщательную его продуманность и подготовку, не был полностью уверен в удаче, и считался с возможностью проигрыша. А так как на карту поставлены были жизнь и трон, то причин для нервного напряжения было достаточно. Но где же тут высота и смелость духа, наблюдавшиеся у многих великих узурпаторов, чей риск был гораздо больше? Почему ни у Цезаря, ни у Наполеона не выпадала борода, когда они переходили свои Рубиконы?

* * *

Страсть, с которой С. Б. Веселовский негодует по поводу превознесения добродетелей Грозного и оправдания его террора, не может не удивлять всех знавших его прежнюю академическую уравновешенность. За ученой манерой изложения кроется такой протест против бесчеловечности, творившейся в Москве четыре века тому назад, который находим только в записках очевидцев и современников, вроде Курбского и Шлихтинга. Откуда такая взволнованность у нашего историка? Над ответом не приходится задумываться: она, конечно, порождение живого зрелища нового подобия опричнины.

С. Б. Веселовский, как всякий простой смертный в Советском Союзе, не располагал другой информацией по части высокой политики, кроме того что непосредственно видел, слышал, вычитывал из газет. Его осведомленность была безусловно меньше эмигрантской; но ум, впечатлительность и близость к театру страшных действий, открыли то, чего не могут открыть до сих пор присяжные эксперты, неспособные удовлетворительно объяснить сущность сталинского террора. Если террор Ленина-Дзержинского имел известную партийную логику, то сталинский никакому осмыслению не поддается. Годы 1934-1939 остаются по сей день такой же загадкой, как годы 1564-1571. И не потому ли, что в сталинском неистовстве, как в неистовстве Грозного усматривают либо скрытый государственно-политический смысл, либо безумие? Версия о сумасшествии «отца народов» высказана очень солидными людьми. Но что если правы не эти искушенные политики, а простые смертные инстинктивно отвергающие, как то, так и другое объяснение? Они найдут в книге Веселовского большой материал для размышлений.

Я далек от мысли приписывать такому солидному ученому, как С. Б. Веселовский, пошлый метод «проекции» политики в прошлое, насаждавшийся некогда М. Н. Покровским. Не допускаю, чтобы его увлекали и плоские аналогии между XX и XVI веками. Но несомненно, события 1934-39 гг. наложили печать на его исследование. Отмечаю это не для умаления его труда и таланта, а как раз наоборот, вижу в этом признак большого дарования. Огромная роль интуиции в процессе познания и научного исследования так прочно, ныне, обоснована философией и экспериментальной психологией, что только у безнадежных доктринеров может встре-

тить непризнание. В основе всех великих открытий лежит догадка, как момент предшествующий формально логическим заключениям. Во взгляде нашем на прошлое, роль интуитивного постижения так же исключительно велика и одним из моментов его обостряющих является знание собственной эпохи, внимательное присматривание к своему времени. Не законно ли предположить, что ключ к новому пониманию опричнины обретен в обстановке второй половины 30-х годов нашего столетия? Это тем более законно, что сам Сталин сделал все, чтобы предельно сблизить себя и свое дело с делом и личностью Грозного. По закону апперцепции, нельзя уже помыслив об одном из них, не вызвать в сознании образ другого. Вот почему, высказывания Веселовского о Грозном дадут несомненно пищу и для нового понимания сталинской опричнины. Они логически приводят к заключению, что ни та, ни другая не вызваны политической необходимостью, но порождены — дикостью натуры, властолюбием, манией величия, злодейством и тиранническими наклонностями их творцов в соединении с трусостью и подозрительностью. Непомерной подозрительностью объясняет Веселовский новгородскую карательную экспедицию. Ложные доносы, нашептывания, обвинявшие новгородцев в «измене», не были ни разу проверены или подвергнуты сомнению. Историки опричнины подобно наблюдателям ежовщины, не в состоянии объяснить беспричинности большинства казней. В обоих случаях лишались жизни и свободы люди ни сном, ни духом не причастные к государственному преступлению. Чаще всего это относилось за счет «безумия» царя или того, что при Дзержинском называлось «массовым охватом», когда казнят не за вину, а за принадлежность к классу. Но Веселовский, занимаясь генеалогическими изысканиями, нашел причину необъяснимых опал в родственных связях и знакомствах с прежде казненными людьми. Не то ли видели мы в 1934-39 гг.? Гражданам СССР, вероятно, и сейчас памятна ложь, когда устами самого тирана сказано было: «сын за отца не отвечает»; и когда не только сыновья шли на расстрел за отцов, но сослуживцы, соседи по квартире, случайные знакомые, выпившие вместе с потерпевшим рюмку водки.

Страхом и подозрительностью объясняется необычайное распространение «поручных записей». Они существовали издавна, как средство борьбы с отъездом бояр к другим владетельным государям. Но ко времени Грозного, случаи отъезда почти прекратились по той причине, что не к кому

стало отъезжать и кроме того, подавляющее число московских служилых родов уже более двухсот лет служило наследственно от отца к сыну так, что самая память об отъездах заглохла в их среде. Между тем именно при Грозном, до и во время опричнины наблюдается невиданное количество поручных записей. Возникновение их объясняется не отъездами, а чем то другим. Веселовский объясняет их побегами за границу, как следствием несправедливых казней. Казни начались задолго до опричнины и сделались, по его мнению, одной из причин ее возникновения. Убежавший в Литву или Ливонию навлекал обычно опалу на своих родственников, а казнь этих последних вызывала новые побеги и так завязывался клубок сложной взаимозависимости.

Первоначально царь брал поручные записи на людей либо пытавшихся бежать, либо подозреваемых в попытке к бегству, но чем дальше тем больше поручными охватывался весь круг людей подозреваемых. Несколько человек, прежде всего родственников, давали запись в том, что они ручаются либо своим имуществом и значительной суммой денег, либо «головой», что данное лицо не нарушит верности царю и не совершит поступка граничащего с изменой. Грозный так широко практиковал подобные записи, что только в десяти таких документах насчитывается до 950 вовлеченных в поручительство лиц, из которых 117 человек ручались дважды, 16 трижды, 7 четырежды, а 1 — пять раз. Эта чрезмерная практика привела к последствиям вряд ли предвиденным Грозным. Она сплотила ту среду, с которой царь вступил в конфликт. Чем больше он находил в ней изменников, тем сильнее было ответное сопротивление и к тем более крайним мерам это побуждало царя. Вот почему поручные записи Веселовский считает одной из причин возникновения опричнины.

Но неужели это случайность, что прежние, не менее талантливые чем он исследователи, не обратили внимания на столь интересную группу документов и не привлекли их к изучению опричнины? Ведь поручные записи известны давно. Очень часто, мертвый архивный материал оживает под действием событий; тогда он дает важные улики, подобно тому, как кровь выступающая из ран убитого, уличает подошедшего к нему убийцу. Великий убийца XX века, обязавший круговой порукой, сиречь «бдительностью», партию, комсомол, профсоюзы, советские ведомства, заставил серенькие, невзрачные документы дать показания большой важности. Вряд ли подлежит сомнению, что роль «поручных запи-

сей» открылась историку при виде тысяч начальников учреждений, арестованных только за то, что среди их подчиненных обнаружились «враги народа».

* * *

Не мифическое «крамольное боярство» составило заговор против Грозного, а сам Грозный с ловкостью опытного конспиратора организовал заговор против подданных. Раньше мысль о планомерно подготовлявшемся перевороте не приходила в голову историкам. Знаменитый отъезд в Александровскую слободу объяснялся либо душевным смятением царя, граничившим с безумием, либо «инсценировкой», как выразился С. М. Соловьев. Одно из самых оригинальных мест книги С. Б. Веселовского, посвященное анализу событий конца 1564 и начала 1565 гг., рисует нам картину тщательно обдуманного и умело проведенного государственного переворота. Тут и ловкая маскировка удаления из Москвы под видом поездки на богомолье, тут и увоз с собой казны, драгоценностей, вплоть до золотой и серебряной посуды и гардероба, тут и приказание взять с собой жен и детей всем избранным сопровождать его людям. Приказано было также выступить с ним вместе, в полном боевом снаряжении, дворянам и детям боярским «выбором изо всех городов». Уводя с собой чуть не половину воинской силы, он ослаблял Москву на случай ее возможного сопротивления. Сильный маневр придуман был для деморализации столицы: царь, в нарушение древнего обычая, не назначил никого кто бы «ведал Москву» в его отсутствие. Государство осталось без власти, вследствие чего остановилась работа всего правительственного аппарата. А царь прислал из Александровской слободы грамоту для публичного прочтения, выписывая в ней «неправды» стоявших у власти людей и вместе с тем заверяя, чтобы торговые, посадские и простой народ «никоторого сумнения не держали, гневу на них и опалы никоторые нет». В этом заключалась недвусмысленная угроза поднять простой люд против знати, в случае если та не капитулирует перед царем. При таких обстоятельствах не нашлось охотников брать на себя ответственность по управлению покинутой царем столицей, особенно, когда стало известно, что новая резиденция Ивана превращена в военный лагерь и там стоит корпус служилых людей, готовых в любой момент двинуться на Москву.

План, по мнению Веселовского, так тщательно был разработан, что имел несколько вариантов на случай того или иного поворота событий. Правительственным чинам, застигнутым врасплох и увидевшим себя в сетях, ничего не оставалось, как принять царский ультиматум, изложенный в грамоте к митрополиту.

Покидая Москву, царь оставил там подобие «агитпропа», возложив на него обязанность разъяснять населению смысл царского отъезда. С этой же целью из Александровской слободы был послан К. Д. Поливанов, привезший грамоту «всему христианству града Москвы». Его приезд сопровождался тоже большой агитационной деятельностью. Главной темой агитации было: — один только царь стоит на страже государственных и народных интересов и печется обо всем, как надлежит, остальное правительство от первого боярина до последнего дьяка занимается тем, что расхищает казну, грабит народ и совсем не думает о защите страны от внешних врагов. Внушалась мысль о всеобщей преступности правящего слоя и неспособности его управлять государством. Одному царю по плечу такая задача, если не будут мешать изменники.

Это тоже неслучайно, что ни одному из прежних историков не приходила в голову мысль об огромной роли пропаганды и обработки общественного мнения в эпоху опричнины. По словам Веселовского, Грозному удалось даже историков заставить смотреть на некоторые вещи в желательном для него смысле. Такова легенда о боярском кружке, возглавлявшемся Сильвестром и Адашевым и связавшем, будто бы, царя своей опекой по рукам и по ногам. Никакими лидерами боярской клики по мнению Веселовского они не могли быть по той причине, что оба были чужими людьми в среде коренного боярства, «выскочками», по каковой причине, боярство пальцем не пошевелило для их защиты в момент падения. Необычайно преувеличено личное влияние их на Грозного. Повидимому оно объяснялось, просто, опытом и государственными способностями, особенно такого человека как Адашев. Исходившие от них предложения и мероприятия принимались царем потому что их нельзя было не принять, по причине разумности и обоснованности. Весьма возможно, что таланты Адашева были единственным преступлением его перед Грозным. Как всякий человек низкой души, Иван не терпел возле себя одаренных людей. Во всяком случае никакого «плена», в котором будто бы держали молодого царя,

приметить невозможно. По мнению Веселовского, Иван попросту оклеветал Сильвестра и Адашева и создал миф об их опеке над ним для оправдания их опалы и для гонений на всех, кому приписывалась такая же вина.

Сказанное вполне гармонирует со статьей С. В. Бахрушина об Избранной Раде. Она представляет это учреждение, направлявшее до середины 50-х годов весь ход московской политики, не «кликой», а первым, может быть, организованным правительством на Руси, чем-то вроде кабинета министров. Не опричнина, а она, Рада, была выражением роста государственного аппарата, и более или менее гармонического течения дел. Если она и держала царя в плену, то только в интеллектуальном смысле. Он попросту не способен был умственно подняться до своего правительства, он не управлял, а лишь «правил» в те дни. Не по этой ли причине он разогнал его, и не с этого ли разгона начался «кромешный» разгул?

* * *

Читатель не успевший познакомиться с книгой С. Б. Веселовского вправе задать вопрос, с кем же все-таки боролся Грозный и против кого направлена была опричнина? Если это не «феодальное боярство», как думали раньше, если это не закрепощаемое крестьянство, как утверждают по сей день хранители марксистско-ленинской ортодоксии, то кто же?

Труд Веселовского не имел бы той большой ценности, которую мы в нем усматриваем, если бы не отвечал на этот вопрос. Самыми значительными, самыми оригинальными страницами «Исследований по истории опричнины» являются те что посвящены «государеву двору». Они выводят наконец исследовательскую мысль из марксистского тупика «классовых противоречий» и ленинского учения о государстве, как об инструменте насилия в руках господствующего класса. Открытие Веселовского заключается в отрицании какой бы то ни было классовой подоплеки опричнины. Ярость царя направлялась не против «феодалов»-вотчинников и не против какого-либо неугодного вида землевладения, а против государственного аппарата, созданного его предками, особенно, его дедом и отцом. Аппарат этот воплощен был в учреждении, на природу и историческую роль которого историки не обращали должного внимания. Между тем «государев двор» и был истинным выражением русского самодержавия. Здесь бы-

ло сосредоточено все верховное управление страной — советники царя, «думцы», начальники приказов, дьяки, наместники, волостели, гонцы, чины всевозможных служеб. Отсюда же комплектовался весь командный состав армии Московского Государства от главнокомандующих и воевод полков, до сотенных голов. Сюда же относилась группа «жильцов» в количестве, приблизительно 1.800 человек, несшая службу по охране царской резиденции, употреблявшаяся для мелких поручений и в то же время составлявшая гвардию, «государев полк», который в случае войны выступал с царем в поход и представлял внушительную силу, потому что каждый жилец обязан был выставить от трех до пяти вооруженных слуг.

Первоначально это учреждение представляло нечто простое, похожее на помещичью дворню. Только по мере роста Московского государства и увеличения функций, оно превратилось в сложное явление. Возникли приказы, канцелярии, архивы, увеличились штаты, возросла роль бюрократии, появились признаки того, что принято называть государственной машиной. Служившие здесь бояре, независимо от того вышли они из прежней удельной знати или из простых дворян, — сильны и горды были не происхождением, а исключительно местом занимаемым в придворной иерархии и близостью к царской особе. А так как большинство поколениями служило, чуть не в продолжение 200 лет, то ни о каких «классовых» удельно-вотчинных интересах среди них говорить не приходится.

Против этого своего правительственного аппарата ополчился Иван IV, объявив его изменническим, ненадежным и опасным для себя. Под подозрение взяты были не одни бояре и дворяне, т. е. чиновные верхи, но весь двор в целом. Казалось бы он должен быть уничтожен. Но уничтожить учреждение создавшееся исторически, не так-то просто; с ним вместе могло быть развалено и государство. Оставался выход: сохранить прежний двор и оставить за ним управление страной, а самому уйти из него, создать другой двор, с помощью которого контролировать и направлять работу первого. Для содержания же нового «опричного» двора, отписать ряд земель и уездов в личное пользование царя. Таким образом, в государстве, изжившем удельную систему, образовался как бы новый удел. По своей организации и внутренней структуре он был копией старого государева двора. Большая часть его людского состава взята была тоже из старого двора. Учинив строгую проверку, установив «кто

к кому прихож», царь отобрал из прежних слуг тех, которые не внушали особенного подозрения.

На какой же почве сложилось столь недоверчивое и враждебное отношение к старому двору? Это, повидимому, самый сложный вопрос во всей теме. Веселовский называет отмеченную еще прежними историками причину — расхождение царя с приближенными по поводу Ливонской войны. С этого началось. Но само по себе такое разногласие не вызывало необходимости столь радикальных мер, оно могло быть улажено другим путем. Опричнины могло не быть вовсе, не вступи царь слишком быстро и опрометчиво на путь казней во время опалы Сильвестра и Адашева. В этом сказалась его необузданность и дикость. Требуя огромного количества поручных записей, он сделал так, что казнь одного из слуг его двора заставляла трепетать за свою жизнь десятки других. Испугавшись такого результата собственной практики, царь, при своей мнительности и подозрительности, уже не мог не видеть смертельного врага в целом правительственном учреждении. Побéги за границу и «измены», вроде Курбского, казалось, подтверждали подозрения. К этому присоединилась вакханалия доносов людей, увидевших, как охотно царь преклонял ухо ко всякого рода нашептываниям. Одни это делали ради карьеры, другие — спасая свою шкуру.

И наконец, не малую роль сыграли родственные связи Ивана с именитой частью двора, где никогда не затихали местнические распри и борьба за влиятельные должности. Грозный оказался незаметно для себя втянутым в эти интриги, проникшись их мелочными страстями. Веселовский склонен значительную долю вины за создание опричнины приписать Захарьиным-Юрьевым — родственникам Анастасии Романовны, первой жены Ивана. Так из сцепления мелких случайных фактов, отнюдь не «программного» характера, из личных свойств царя, сложилось и возникло крупное историческое явление.

* * *

Когда умер Сталин и началось ниспровержение «культа личности», было ясно с самого начала, что дело не обойдется без пересмотра отношения и к любимому герою почившего вождя. Слишком явно отождествлял он себя с Иваном Грозным, чтобы не возникло соблазна атаковать его с

позиций истории. В самом деле, не успела стать широко известной знаменитая антисталинская речь, произнесенная на XX съезде, как уже в мае того же 1956 года состоялась дискуссия в Академии Наук, посвященная Грозному и его террору. Доклад было поручено сделать одной из жертв сталинской опричнины, проф. С. М. Дубровскому, побывавшему в свое время в лагерях и лишь каким-то чудом уцелевшему. Но подобно тому, как хрущевская речь долгое время держалась в секрете, так и сведения о дискуссии напечатаны были чуть не полгода спустя, в сентябрьском выпуске журнала «Вопросы Истории». Осторожность доходила до того, что прежде чем сообщить эти сведения опубликовали, в августовском выпуске того же журнала, речь С. М. Дубровского, но не как доклад, а как простую статью, под заглавием «Против идеализации деятельности Ивана IV». Принимались очевидно меры к тому, чтобы в случае политических осложнений, объявить высказывания Дубровского его личным делом.

Но если на дискуссию 14-15 мая 1956 г. возлагались какие-то надежды, то вряд ли она их оправдала, по причине своего крайне низкого уровня. Она носила давно известный характер политических дебатов на историческую тему, установившийся еще во дни О-ва Историков Марксистов. С. М. Дубровский, будучи специалистом по истории России конца XIX и начала XX века (недавно он выпустил книгу о столыпинской реформе), никогда не занимался историей XVI в., не работал над источниками, по каковой причине, точка зрения его на разбираемый сюжет определялась, главным образом, соображениями «методологического» порядка. Рассуждения всех выступавших в прениях отправлялись тоже от готовых схем и «концепций». Обсуждение свелось, в сущности, к борьбе двух давнишних взглядов на опричнину — старого платоновского, усматривавшего в ней форму наступления абсолютизма на княжат, бояр и всяческие пережитки удельной системы. Опричнина, в этом случае, относилась к «прогрессивным» явлениям, служившим делу укрепления централизованного государства. И другого — выработавшегося при Покровском, объявлявшего опричнину «диктатурой помещиков-крепостников», чинивших жесточайшее насилие над крестьянством, подготовлявших введение крепостного права.

Мало того, что обсуждение носило схоластический характер, оно не достигало и поставленной ему цели — развенчания Грозного. В том и в другом случае, его фигура

казалась по-прежнему величественной, а дело — вовсе не лишенным смысла, независимо от того реакционно оно или прогрессивно. Между тем, одиозность сталинского террора и террора Грозного заключается в отсутствии государственно политической необходимости.

Вероятно по этой причине дискуссия не получила продолжения. Зато в 1957 г. образовалась комиссия, во главе с академиком М. Н. Тихомировым, по изданию трудов С. Б. Веселовского. Покойный ученый оставил, надо думать, не малое рукописное наследство, поступившее после его кончины в архив Академии Наук, но оно добрых пять лет лежало там не привлекая к себе внимания. С. В. Бахрушин, Е. В. Тарле, И. И. Полось и другие удостоились издания своих трудов гораздо ранее.

Академия побаивалась издавать Веселовского, по причине наклеенного на него «буржуазного» ярлыка, и если все-таки решилась, то надо думать потому, что до каких-то важных лиц дошло сведение о рукописи «Исследований по истории опричнины». Ведь до сих пор никакой другой работы Веселовского, кроме этой не опубликовано. Значит, смысл образования тихомировской комиссии заключался в издании именно этого труда. Почему же понадобилось шесть лет, чтоб его выпустить?

Техническими причинами такую медлительность не объяснишь.

Хотя в эти годы свергались статуи Сталина, выносился из мавзолея его труп, переименовывался Сталинград в Волгоград, но почва под ногами антисталинистов постоянно дрожала. Бунтовали албанцы, китайцы, в самой Москве слышался гул загнанной в преисподнюю оппозиции. Не так давно пришлось бить отбой и снова называть Сталина «великим», чуть не «родным». Все это задерживало, надо думать, выход книги. По логике событий, когда десталинизация так сильно пошла на убыль, книге Веселовского совсем бы не увидеть света, но правильнее предположить, что именно сейчас, когда нельзя бранить Сталина открыто, мог прельстить кого-то маневр: выпустить острую антисталинскую книгу в форме сугубо академического сочинения, без единого упоминания имени покойного диктатора.

Так или иначе выход «Исследований по истории опричнины» — несомненное свидетельство продолжения борьбы с «культом личности» Сталина в СССР.

* * *

Но прежде всего — это замечательное научное исследование, по новому освещающее события, привлекающее неиспользованные доселе источники и высказывающее оригинальный взгляд на природу и сущность столь мало изученного события. Конечно, оно вызовет споры и возражения, многие не захотят расстаться с привычными штампами. Но само несогласие послужит стимулом к новым исследованиям. Отвергнуть высказанную Веселовским точку зрения можно лишь после такой же обстоятельной и скрупулезной работы над материалом, какую проделал он сам.

К сожалению, книга не закончена и необработана. Вероятно, по этой причине, руководящая мысль не доведена в ней до конца. Подорвав наше прежнее представление об опричнине, как о столкновении между самодержавием и старой вотчинной системой, преподнося ее, как конфликт царя со своим двором, автор ограничил этим свое ученое любопытство и не поставил даже вопроса о возможной закономерности и исторической обусловленности такого конфликта. Правда, он указывает на конкретные причины его возникновения, но не рассматривает его в свете целого исторического процесса. Между тем нас не перестанут занимать вопросы: поддается ли осмыслению факт столкновения царя с им же самим и его предками созданной государственной машиной? единичен ли факт такого столкновения или он когда-нибудь повторялся? Отвечать на эти вопросы предоставляется нам самим.

Если иметь в виду кровь и жестокости, то опричнина остается уникальным явлением в дореволюционной истории России, но если исходить из ее сущности, открытой С. Б. Веселовским, то она предстанет, как часто наблюдаемый факт. Еще у отца Ивана Грозного, Василия III, наблюдалось острое столкновение со своим двором, так что пришлось вырвать языки Берсеню Беклемишеву и Федору Жареному за их протестующие речи по поводу решения великим князем всех государственных дел «сам третий у постели», т. е. в тесном кружке двух избранных лиц. Государев двор всегда ревниво относился к такому устранению его от управления. Но со стороны государей, на всем протяжении русской истории, наблюдается упорное стремление выйти из под опеки двора. На первый взгляд это непонятно; государев двор, призванный самими государями, делать государево дело, делал его чест-

но; можно смело сказать, что за исключением одного разве случая (Петр Великий), монархические и династические интересы понимались и ограждались правительственным аппаратом лучше, чем самими царями. Тем не менее, Грозный устраивает Опричный двор, Алексей Михайлович, — «Приказ Тайных Дел», Петр Великий — «Кабинет», Павел — «Учреждение об императорской фамилии», Николай I — «Собственную его императорского величества канцелярию».

Все эти учреждения означают одно: — стремление обзавестись в недрах общей государственной машины, чем-то вроде личного секретариата, через который осуществлялась бы воля государя. В стране неограниченного самодержавия это может показаться парадоксом. Зачем это нужно, если каждое слово государя и без того священно и подлежит неукоснительному исполнению? Однако, всем любителям легковесных высказываний на русские исторические темы надлежало бы знать, что самодержавие, не ограниченное парламентом или иной формой народного представительства, было основательно ограничено своим собственным государственным аппаратом. Нельзя это представлять себе вульгарно, как некую оппозицию или «диктатуру» какого-нибудь класса. Ограничение выражалось уже в том, что цари не могли обходиться без помощи этого веками выработанного механизма. Не имея возможности управлять огромной империей по-помещичьи, как имением, цари волей-неволей попадали во власть «двора»; он превращался с течением времени в силу, воплощавшую весь исторический опыт страны. Как всякий механизм, он верно служил своему творцу, но во многом и подчинял его себе — стеснял прихоти, замашки, «вольные полеты духа», требовал внимания к своим механическим законам. Управлять им, как колесницей Фэба, мог только мощный возница; всех других ждала участь Фаэтона. Большинство и не дерзало брать возжи, смирно сидело в колеснице, предоставляя ей катиться своим путем. Это и была та опека, которой тяготились неуравновешенные, а то и просто неумные натуры. Учение о царской власти вызывало у них идею единодержавия, подбивая на освобождение от «собацкого собрания», как называл Иван Грозный свое правительство времен А. Адашева. То был бунт самодержцев против оплота самодержавия или, выражаясь гегелевским языком, — диалектическое противоречие, заложенное в природе абсолютизма. Единственно успешным из этих бунтов был бунт Петра — первый, кажется, случай, когда царь

оказался во всех отношениях выше и «прогрессивнее» своего аппарата власти. Да и бунт был поднят не ради освобождения от него, а для его усовершенствования. Все остальные кончались полной неудачей. Новое учреждение либо уничтожалось через некоторое время, как опричнина, либо превращалось в свою противоположность, т. е. ограничивало на старый манер самодержавную волю царя. К 1569 году, к концу ее существования, в опричнине появился «царский домовый обиход». Хоть источники не дают нам полной ясности, что это такое, но есть основание предполагать в нем зародыш опричнины в опричнине. Похоже, что царь бежал от старого двора и создал новый для того, чтобы убедиться, что и этот новый стесняет его не меньше прежнего. Быть-может открытие это решило участь опричнины и восстановило старый «государев двор» в прежнем значении.

* * *

Есть еще один аспект занимающей нас темы, оставленный без внимания С. Б. Веселовским. Он тоже не перестанет мучить исследовательскую мысль. Ведь ни «Приказ Тайных Дел», ни «Собственная его величества канцелярия» не вызывают такого любопытства, как опричнина. Причина: — ее кровавый, террористический характер. Он объясним был при господстве прежних точек зрения, когда опричнина представлялась жестокой схваткой старого с новым, государственной централизации со средневековой феодальной раздробленностью, но он совершенно необъясним с тех пор, как Веселовский показал его бессмысленность и ненужность. Отныне, он кажется выражением личных, порочных склонностей Ивана. Возражать против этого не приходится. И все же, мы никак не можем совладать со страстью к поискам «закономерности». Вспоминается сорокалетней давности рецензия А. Е. Преснякова на книгу Виппера «Иван Грозный», где рецензент коснулся этого вопроса и разрешил его стереотипной фразой: «время создает своих людей». Ссылаясь на иллюстрации, приведенные самим же Виппером, он указывал, что царями-злодеями наполнена вся эпоха европейского Ренессанса и весь XVI век. Цезарь Борджиа, Людовик XI, Ричард III, Генрих VIII, Мария Кровавая, Христиан II, Филипп II, Эрик XIV. Грозному вряд ли принадлежит первое место в этой компании. По крайней мере, Карл IX, побивший рекорд массовой резни своей Варфоломеевской ночью, дал

повод Грозному встать в позу ужаснувшегося. «Ты брат наш дражайший, — писал он императору Максимилиану II, — скорбишь о кровопролитии что у французского короля в его королевстве несколько тысяч перебито вместе с грудными младенцами: христианским государям пригоже скорбеть, что такое бесчеловечие французский король над стольким народом учинил и столько крови без ума пролил». Грозный, видимо, полагал, что его собственное истребление новгородцев — сущий пустяк в сравнении с парижскими избиениями.

Повидимому, время действительно создает своих людей, но сказать, это, еще не значит приоткрыть тайну их создания. Пресняков и Виппер, вовсе не склонные к мистическим и религиозным объяснениям, не указали нам пути к отысканию «закономерности». Нам, сейчас, после всех зрелищ виденных на пиру богов, эта проблема предстает в виде какой-то ланкастерской школы взаимного обучения. Полиции и разведки всего мира старательно учатся друг у друга; тоже генеральные штабы и кабинеты министров, революционные партии и стоящие у власти «вожди». Целые режимы возникают на основе опыта какой-нибудь одной державы. Давно высказано мнение, что не будь Ленина и основанного им коммунистического государства, не было бы ни Муссолини, ни Гитлера, никаких других диктаторов. Известно восхищение Гитлера Сталиным. Надо думать и Сталин немало учился у своего обожателя. По крайней мере, расправа с рэмовцами, несомненно, привела его в восторг. Сейчас кажется непонятным, как это он мог выпустить Троцкого за границу. Человечностью, джентельменством, «партийной совестью» этого объяснить невозможно. Он бы его с удовольствием расстрелял. Но не существовало еще самой мысли о возможности расстрела вчерашнего вождя партии. Не было также идеи массового истребления членов партии. Только беспощадность операции Гитлера по ликвидации Рэма, открыла глаза Сталину и положила начало новой эры в его внутрипартийной политике. Конечно, в эпоху газет, авиации, радио и международных конференций, подобный обмен опытом происходит быстрее, легче и заметнее, но он существовал и в давние времена. Можно сказать, что история всегда была если не всемирной, то всеевропейской. Чем объяснить, что не только 1848 г. был годом революционным для всей Европы, но и в 1648 г. наблюдаем бунты и гражданские войны на всем протяжении от Лондона до Москвы? Одинаковыми социально-экономическими условиями трудно это объяснить. Гораз-

до проще «взаимным обучением». Когда где-нибудь отрубали голову королю, то в других странах начинали точить топоры. Даже царь Алексей Михайлович, которому не надо было бояться ни парламента, ни Кромвеля, почувствовал себя неудобно и изгнал англичан из своего государства за то, что те «короля своего Карлуса до смерти убили».

Международное хождение имели не одни политические страсти, но также идеи экономических и социальных реформ. Пятнадцатый, шестнадцатый века — эпоха становления крепостного права. В русской публицистике она всегда именовалась «средневековой» и «азиатской». На самом деле, это явление не азиатское, а европейское; в средние века его не существовало, оно — порождение новой истории. Его повсеместное утверждение есть в значительной мере результат заимствований. И в Россию оно пришло с Запада. Проф. Г. В. Вернадский представил международному конгрессу историков в Риме (1955 г.) доклад, согласно которому определяющим моментом формирования крепостной системы в России было знакомство русского правящего сословия с устройством крестьян в крепостной Ливонии. Начавшаяся в 1558 г. Ливонская война сыграла в этом смысле большую роль.

Но если заимствовалась большая реформа, то почему не могла быть заимствована «жестокость»? Монарх XVIII века, какими бы природными склонностями к пролитию крови ни обладал, не дерзнул бы их обнаружить в семье тогдашних «просвещенных» королей. Но в XV-XVI веке жестокость считалась добродетелью царей. Ее проповедывал Макиавелли, она пользовалась успехом в практике царственных особ. Грозный великолепно был осведомлен о своих кровавых современниках. Ко дворам некоторых из них ездили его послы и доносили обо всем. Читая, например, статейный список И. М. Воронцова, где рассказывалось, как Эрик XIV на приемах во дворце выхватывал у стражников алебарды и собственноручно убивал вельмож, Грозный безусловно укреплялся в своих террористических убеждениях. Все монархи, чего-нибудь стоившие в его глазах, были беспощадны, а те, которые наподобие польского короля были низведены своей шляхтой до самого жалкого положения, убеждали от противного в необходимости резать оную шляхту без сожаления. Нет у нас также оснований отрицать, будто Грозный не знаком был с учением Макиавелли, хотя бы из вторых рук. Появился же в дни его молодости в России доморощенный Макиавелли в лице Ивана Пересветова, убеждавшего царя

сдирать шкуру с бояр и всеми способами истреблять это отродье.

Иван безусловно учился у своих западных собратьев. Но, как это нередко случалось с некультурной, отсталой Россией, его заимствования были заимствованиями варвара, воспринималась форма без смысла. Жестокость Борджиа, Людовика XI, Христиана II, создававших сильную королевскую власть и централизацию, имела рациональное основание. Их можно называть какими угодно злодеями, но обоснованность их злодейств неоспорима. Злодейству Грозного, как раз, момента целесообразности и не хватает. Из всего европейского опыта усвоена была одна беспощадность без государственной задачи, которой бы она служила. Опричнина могла бы быть совсем бескровной. Если же она ужаснула мир своей бесчеловечностью, то в этом надлежит видеть дань отсталости. Опричнина одна из роковых нелепостей русской истории.

Н. Ульянов

БИОЛОГИЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА

Состояние биологических наук в Советском Союзе, в результате длительного господства лысенковской группы, вызывало законную тревогу в ученом мире. И в 1963 году произошло наконец вмешательство правительства. В январском совместном постановлении ЦК КПСС и СМ СССР была подчеркнута необходимость «дальнейшего» развития и укрепления биологической науки и ее связи с практикой (Правда, 25.1.63). Конечно, здесь говорится и о достижениях советских биологов мичуринского направления. Но уже тем, что мичуринское учение названо «направлением», молчаливо признается, что к нему не сводится вся биологическая наука в Советском Союзе, что правомочно существование и других направлений. Таким образом, кончилось господство единой научной школы — мичуринской, и ее пророка Трофима Лысенко, пятнадцать лет тому назад провозгласившего тезис о существовании двух биологий — буржуазной и социалистической. Как известно, Лысенко утверждал, что «история биологии — арена идеологической борьбы».[1]

Постановление о развитии и укреплении биологической науки весьма знаменательно по своему направлению и небезинтересно по своему политическому акценту. Оно прикрывает отступление с лысенковских позиций, приписывая мичуринской школе многие достижения советской биологической науки, которые были сделаны вопреки взглядам Лысенко. На самом деле новые успехи сделала классическая генетика, с которой связано растущее значение биохимии, биофизики, микробиологии, цитологии, вирусологии и иммунологии.

Господство в биологии схоластики под видом мичуринского учения привело к тому, что молодежь потеряла вся-

---

[1] «О положении в биологической науке», стенографический отчет сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, 31 июля-7 августа 1948 года, Сельхозгиз, М, 1948, стр. 7.

кий интерес к биологии и советская биология осталась без свежего научного пополнения. Именно поэтому постановление партии и правительства рекомендовало Совету народного хозяйства СССР совместно с Министерством Высшего и Среднего специального образования СССР, Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством здравоохранения СССР, Академией наук СССР и Советами министров союзных республик спешно разработать план приема студентов на 1963-1965 гг. по специальностям: генетика, физиология, биофизика, биохимия, цитология, микробиология, вирусология и агрономия. Предложено было также в двухмесячный срок разработать план приема аспирантов на те же годы и по тем же специальностям.

И все же отступление на биологическом фронте прикрывается тщательно замаскированными маневрами. Да это и понятно, ибо все руководящие посты заняты и по сейчас лысенковцами. Исключениями не являются ни академик П. Лобанов, ни нынешний президент ВАСХНИЛ М. Ольшанский. Все они — выученики Лысенко; и если даже не столько в области науки, то во всяком случае, — в борьбе с неугодными им учеными. В журнале «Коммунист», например, М. Ольшанский выступил с целью показать плодотворность мичуринско-лысенковской школы в применении биологии к сельскохозяйственному производству (Коммунист, 1963, № 4, стр. 14). Он приводит целый ряд достижений сельского хозяйства, которые приписывает творческому применению лысенковского «закона жизни биологического вида». Закон этот для биологии значит то же самое, что для развития советской экономики сталинские законы политической экономии СССР, как предлог расправиться с инакомыслящими. С настоящей наукой они не имеют ничего общего.

Защищая теорию направленного изменения наследственности путем «воспитания», Ольшанский утверждает, что «под давлением экспериментальных данных, в том числе и полученных западными биологами, генетики морганистского направления поставлены перед необходимостью отказаться от основной своей концепции — теории гена» (стр. 19). Известно, что Лысенко отрицает хромосомную теорию наследственности. Но слова Ольшанского вовсе не отражают точку зрения всех советских биологов. В подтверждение этого укажем на великолепную и научно содержательную статью Ж. Медведева и В. Кирпичникова, опубликованную в третьем номере ленинградского журнала «Нева». Вышла она в не-

удачное время, так как звучит совсем не в унисон с нынешней политикой идеологического обскурантизма. Авторы обвиняют представителей мичуринского направления в том, что из-за их господства «мы на столь длительный период уступили капиталистическим государствам большой и продуктивный участок научного фронта под предлогом, что классическая генетика — буржуазная наука». Этим самым авторы протестуют против вредной теории о двух идеологиях в биологии, на чем так настаивал Лысенко, и справедливо указывают, что в стране не говорят же о «буржуазной физике», «буржуазной физиологии» и т. д. «Только в биологии, — указывают они, — некоторые лица все еще упорно стараются провести резкую границу между советской и мировой наукой, игнорируют все, что делается представителями других научных направлений».

Медведев и Кирпичников смело выступили в защиту классической генетики, успехи которой за последние 10-15 лет буквально революционизировали биологию. Пользуясь языком, вошедшим в практику вместе с кибернетикой, авторы формулируют еретическую для лысенковцев мысль, что в хромосомах, видимых лишь в микроскоп, содержится полная информация о строении и функции целого организма. А каким только нападкам не подвергалась теория хромосомов со стороны Лысенко и его учеников! И несмотря на всю ее тенденциозность в 1948 году ее все-таки поддерживал ЦК. партии.

Но пока под влиянием лысенковско-мичуринской школы в Советском Союзе были заморожены все исследования в области классической генетики, на Западе она добилась исключительных успехов. Благодаря достижениям биохимии, молекулярной биологии, цитологии и других наук генетика, как указывают те же авторы, Медведев и Кирпичников, — «смогла в последние годы вскрыть интимные механизмы передачи признаков при смене поколений, выявить и изучить те структуры, которые выполняют функции особой «генетической «памяти» и обеспечивают целесообразную координацию процессов обмена веществ, роста и развития всех живых существ, населяющих планету» (стр. 175). Несомненно, что многие из этих открытий могли быть сделаны и советскими учеными. Но у них не было возможности работать в этом направлении, и в этом была беда биологии в СССР. Ведь после нашумевшей сессии ВАСХНИЛ 1948 года был проведен твердокаменный принцип классовости в биологии и все ра-

боты, проводившиеся методами классической генетики, в Советском Союзе были приостановлены.

Достижения современной генетики открыли широчайшие перспективы дальнейшего бурного развития всей биологической науки. Раскрытие биохимической природы генов оказало особо сильное влияние на достижения многих разделов медицины. Доказано, что возникновение иммунитета, как наследственного так и приобретенного, зависит от изменения генов. Генетический метод был удачно применен в работе с продуцентами антибиотиков. Так, известный ученый С. Аликанян, который был особенно жестоко атакован Лысенко на сессии ВАСХНИЛ и был вынужден унизительно «каяться», — генетической селекцией продуцентов пенициллина во много раз удешевил производство этого препарата.

Большие успехи достигнуты теперь в изучении наследственных болезней. Изучено свыше пятисот наследуемых недугов. Значительны достижения генетики и в области сельского хозяйства. Тут — и столь излюбленная Хрущевым кукуруза. Ею занимались до войны по инициативе акад. Н. Вавилова. Были получены перспективные межлинейные гибриды. Но в дальнейшем — по инициативе Лысенко, — работы в области гибридизации кукурузы были объявлены вредными и прекращены. Так страна потеряла два десятка лет. И только теперь началось массовое использование промышленных гибридов кукурузы в советском сельском хозяйстве. А в Америке давно уже девяносто процентов всех посевов кукурузы составляют двойные гибриды.

Сейчас в СССР начинается широкое использование промышленной гибридизации в области животноводства. Здесь многими успехами советское сельское хозяйство обязано тем ученым, которые, как Жебрак, в свое время преследовались за вейсманизм и за публикацию в иностранных журналах своих произведений.

Космические полеты потребовали предварительного решения ряда медицинско-генетических проблем. Но эта область генетики была сильно запущена. И можно полагать, что амнистирование классической генетики как-то связано с соревнованием в освоении космоса. Известно, что радиация даже в малых дозах вызывает усиление мутаций в хромосомах человека. Для исследования влияния на живой организм полетов в космическом пространстве пассажирами первых спутников были некоторые растения и мелкие животные, а также пробирка с ДНК — то есть с дезоксирибонуклеиновой

кислотой, которая является тем таинственным веществом наследственности, существование которого так бесплодно оспаривали лысенковцы. Правда, некоторые из них и по сей день не согласны с очевидной истиной. К ним относится и Ольшанский. Вот, что он писал в упомянутой мною статье: «в современной концепции гена «новым» является только (?) предположение, что ген — молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)... Гипотеза «ген — молекула ДНК» только усугубила общий, вытекающий из теории гена вывод о принципиальной случайности наследственных изменений (мутаций) и качественной независимости их от условий жизни. Тем самым начисто отрицается возможность управления наследственностью путем изменений условий жизни» (то есть, лысенковская теория. А. И.).

Причину официального мракобесия надо искать в том, что партию не интересует «далекое будущее», ей надо результаты подавать сразу. Поэтому и потрафляет Лысенко, обещавший немедленный переворот в агротехнике. Но не выполнив прежних обещаний Лысенко сейчас сулит полный переворот в животноводстве. На экспериментальной базе Института генетики Академии наук «Горки Ленинские» им создано высокопродуктивное жирномолочное стадо крупного рогатого скота. И Ольшанский приводит результаты: средний вес живых коров поднялся с 416 килограммов до 675, а удой непрерывно возрастает. В 1947 г. — 1.987 кг., в 1949 — 4.190, в 1950 — 5.320, в 1951 — 5.234, в 1952 — 6.135, в 1953 — 6.580, в 1954 — 6.785 в среднем на фуражную корову. Странно, что последующих данных Ольшанский не привел. А как никак прошло уже 8 лет. Что же произошло за эти годы? В конце концов подобрать рекордисток удоев можно сколько угодно во всяком хорошем племенном хозяйстве.

Как известно, Лысенко и его приближенные, утверждают, что носителем наследственности является вся клетка, весь организм и что наследственность относительно быстро и легко меняется под влиянием среды. Они проповедуют вегетативную гибридизацию, пропагандируют новые методы селекции и утверждают **легкость создания новых пород** путем направленности «воспитания». Это их конек. И это прельщает руководство партии. Здесь весь секрет устойчивости положения Лысенко даже теперь.

Настоящие же ученые биологи не обещают быстрых результатов. Характерный упрек на декабрьском пленуме ЦК

КПСС 1958 г. Лысенко бросил секретарю биологического отделения Академии наук СССР академику В. Энгельгардту. Тот, видите ли, говорит, что «управлять наследственностью растений и животных можно будет только лет через 50».[2]

Для этого надо расшифровать язык атомных и молекулярных комбинаций. Лысенко же сомневается, что и через 50 лет будет расшифрован «биологический код».

Трибуной пленума Лысенко воспользовался тогда, чтобы бросить обвинения своим противникам, что они де не могут дать практических указаний, которых ждут сельскохозяйственные работники, что противников лысенковских концепций, якобы не встретишь на совещаниях практиков. И эта демагогия всегда приходится по вкусу руководству партии. Поэтому, например, и пленум с удовольствием выслушал обвинение Лысенко по адресу биологического отделения Академии наук, которое «оторвало науку от жизни, от практики», которое не считает его теоретические и биологические положения наукой. А из них, мол, «вытекают различные агротехнические и зоотехнические практические действия». «Еще до сих пор в биологии считается более научным то теоретическое положение, — бросил свои обвинения Лысенко противникам, — из которого никаких практических выводов сделать невозможно» (стр. 236).

Восхождение Трофима Лысенко в диктаторы биологии началось еще до войны. Путь его к вершинам власти был усеян не розами, а жертвами вызванных им репрессий. Этот путь он начал под прикрытием мичуринского учения, воспользовавшись усиленно насаждаемой идеологической борьбой на научном фронте, искусственным созданием верной материалистическому учению биологии. И тут наука для него стала поприщем для идеологических экзекуций. В 1937 году предполагался созыв мирового генетического конгресса в Москве. Зная насколько сильно будет на нем представлена классическая генетика, лысенковцы решили конгресс бойкотировать, ибо победить в научном споре они не могли. Советское правительство отказалось от участия в этом конгрессе и этим фактически отклонило проведение его в Советском Союзе. Конгресс пришлось отложить и выбрать для него другую страну. Он состоялся в августе 1938 года в Эдинбурге. Президентом конгресса был избран академик Н. Вавилов с его

---

[2] Пленум ЦК КПСС, 15-19 декабря 1958 г., стенографич. отчет, М., 1958, см. стр. 237.

согласия. Но председательствовать ему не пришлось. Советское правительство не разрешило никому из советских генетиков принять участие в этом международном съезде.

В противовес эдинбургской встрече мировых генетиков, в том же году, под руководством журнала «Под знаменем марксизма» было созвано совещание советских биологов, на котором основные доклады делали Н. Вавилов (вернее был вынужден выступать), Т. Лысенко и И. Поляков.

Главную философскую скрипку на этом совещании играл Митин — долголетний советник Сталина по философским вопросам и, как циркулировали в Москве слухи, писавший за Сталина статьи, в частности — знаменитую четвертую главу краткого курса партии. Митину удалось как немногим из прямых клевретов Сталина удержаться на руководящих постах и стать академиком. Тогда, после совещания, он опубликовал острую статью в Правде от 7 декабря 1938 г., в которой формулировал наличие идеологических расхождений между западной и советской биологией.

Почти через 10 лет он выступил и на сессии ВАСХНИЛ, где снова поставил вопрос о классовости науки. Менделевско-морганистское учение Митин без обиняков назвал — «антинародным направлением». О крупном советском генетике Дубинине он писал, что тот «достоин того, чтобы стать нарицательным именем для характеристики отрыва науки от жизни, для характеристики антинаучных теоретических исследований, лженаучности менделевско-морган овской формальной генетики...» (стр. 222). Об одной из жертв сталинских репрессий, о проф. Н. Кольцове, Митин сказал: «профессор Кольцов преподносил в своих писаниях под флагом науки реакционнейший и сумасшедший бред» (стр. 223). Недвусмысленно он угрожал всем, не принявшим лысенковских канонов мичуринского учения, — «все те, кто сопротивляется прогрессивному, подлинно научному, мичуринскому направлению в биологии, будут отброшены с пути плодотворного развития нашей передовой биологической науки» (стр. 231).

Так шло восхождение Трофима Лысенко под прикрытием материалистического учения в биологии. Его бюрократическая карьера в аппарате научных советских учреждений все возрастала. Апогея же его господство достигло в послевоенное время и отмечено зловещей вехой сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Только после разоблачений преступлений Сталина на XX съезде, почва под Лысенко заколебалась. Но к сожалению, ненадолго. Слишком уже он был своим человеком для

власти. Прекрасно умел делать очковтирательские шумные успехи, а их очень ценят партия и правительство. Кроме того Лысенко надолго засорил биологические учреждения своими людьми того же склада и того же антинаучного направления.

На упомянутой августовской сессии истинность своих концепций Лысенко подтверждал и тем, что его доклад одобрен в ЦК. Попробуй оспаривать после этого его доводы? При чем о том, что его доклад апробирован ЦК, Лысенко сообщил лишь в заключительном слове, спровоцировав таким образом некоторых его противников на выступление против... партийных установок.

Но вот после секретной речи Хрущева на XX съезде, разоблачение последствий культа личности, как известно, коснулось и научного фронта, в том числе и вопросов биологии. Член-корреспондент Академии наук Д. Насонов, выступая на собрании актива работников ленинградских учреждений Академии наук СССР против попыток установления монополии отдельных ученых, заявил, что «...в области цитологии более десяти лет наблюдался застой, так как в этой отрасли науки безраздельно господствовали академик Т. Д. Лысенко и действительный член Академии медицинских наук СССР О. Б. Лепешинская. Долгое время признавалось только то, что говорили они, а взгляды и работы других ученых в лучшем случае замалчивались, — применялись аракчеевские методы».

Профессор Б. А. Тихомиров подтвердил эти обвинения: «Когда «Ботанический журнал» открыл дискуссию по важнейшей биологической проблеме видообразования, на которой был поставлен под сомнение ряд теоретических положений Т. Лысенко, некоторые представители Президиума Академии наук пытались административным путем «зажать» дискуссию, а академик А. И. Опарин, тогда академик-секретарь отделения биологических наук, отказался знакомиться с дискуссионными материалами, так как редакция журнала «не испросила» **его санкции на открытие дискуссии»** (Вестник АН СССР, 1956, № 6, стр. 28). В связи с этим надо дать некоторую справку. Дело в том, что вслед за сессией ВАСХНИЛ 1948 г. начались административные мероприятия по искоренению морганистов-вейсманистов из научных учреждений. Пришло время каяться и Академии наук. С 24 по 26 августа 1948 г. проводилось расширенное заседание президиума Академии с целью удалить с руководящих постов учреждений

Академии лиц, заклейменных, как морганисты-вейсманисты. В нападках особенно изощрялись академик А. И. Опарин, которого прочили на пост секретаря биологического отделения и министр высшего образования СССР С. Кафтанов. Опарин «глубоко и ярко раскрыл современный этап идеологической борьбы на биологическом фронте, которая сейчас особенно обострилась во всем мире» (Правда, 27.8.48). Он обвинил руководство биологического отделения Академии, «которое не разобралось своевременно в происходившей на биологическом фронте теоретической борьбе...» По его мнению «бюро биологического отделения, встав на вредную объективистскую точку зрения возможности «параллельного развития» обоих направлений не приняло мер к борьбе против реакционной идеологии вейсманизма».

Еще острее были нападки Кафтанова, который доказывал, что на фронте науки нет мирного сосуществования. «Не случайно, — говорил Кафтанов, — что морганисты свили себе гнездо именно в Америке, которая является сейчас средоточием всего реакционного, что есть в литературе, науке и политике. Из подворотен американского империализма высунули головы мракобесы и белогвардейцы, вроде Добжанского, Матвеева и других, которые клевещут на нашу биологическую науку и на все, что внес Советский Союз в науку. Им вторят Жебраки и Дубинины, а биологическое отделение Академии наук стоит в стороне».

В проскрипционный список Кафтанов зачислил тогда академика секретаря биологического отделения АН СССР Л. А. Орбели и Давиденкова, автора книги «Эволюционно-генетические проблемы невропатологии», и не удовлетворившись выступлением на заседании президиума Академии, Кафтанов опубликовал еще статью в «Известиях», где расширил список исследовательских институтов и вузов, которые «покровительствовали морганистам-вейсманистам». По его мнению «представители реакционной идеалистической вейсманистской «науки» особенно укоренились в Московском и Ленинградском университетах» («Известия», 8.9.48). Он обвинял проректора ЛГУ профессора Полянского и бывшего декана биологического факультета доцента Лобашева. По его заявлению ряд биологических кафедр возглавляли «антимичуринцы»: в Харьковском университете проф. Поляков, в Киевском — проф. Гершензон, в Горьковском — проф. Четвериков. Кафтанов вспомнил и первых «морганистов-менделистов» в стране — проф. Филипченко, Кольцова и Сере-

бровского, которые «проповедывали расистскую лженауку, так называемую, евгенику». Известно, что все они стали жертвами репрессий.

Президиум Академии наук поспешил пойти на поводу у ВАСХНИЛ. На это он имел основания: ЦК одобрило атаки Лысенко на представителей классической генетики, а парторгапизации самой Академии подготовили и резолюцию. Как было сказано в постановлении президиума АН СССР: — «сессия ВАСХНИЛ вскрыла реакционную антинародную сущность вейсманистско-морганистско-менделевского направления в биологической науке, разоблачила его конкретных носителей...» (Правда, 27.8.48). Тогда же было постановлено освободить академика Л. А. Орбели от обязанностей академика-секретаря отдела биологических наук и академика И. И. Шмальгаузена от обязанностей директора института эволюционной морфологии. В институте цитологии, гистологии и эмбриологии ликвидировали лабораторию цито-генетики, возглавлявшуюся членом-корреспондентом Н. И. Дубининым, «как стоящую на антинаучных позициях и доказавшую в течение ряда лет свою бесполезность». В том же институте закрыли и лабораторию ботанической цитологии, а в институте эволюционной морфологии — лабораторию филогенеза. Одновременно было решено в месячный срок реорганизовать институт эволюционной морфологии, институт цитологии, гистологии и эмбриологии. Эта перестройка помогла лысенковской группе удалить с руководящих постов неугодных ей лиц и задушить исследования по классической генетике. Это был разгром свободного научного исследования в области генетики. А расплачивалась за это страна.

Идеологическая экзекуция на сессии ВАСХНИЛ и последовавшее за ней неприличное решение президиума Академии наук получили неблагоприятный отзвук в заграничных академических кругах. На это удушение научного творчества одним из первых реагировало правление Американского института биологических наук, опубликовавшее свое сообщение в научном журнале «Сайенс» (в 1949 г.). Выдающийся американский генетик, лауреат Нобелевской премии Герман Маллер (Muller), который с 1933 по 1937 год работал в Институте генетики Академии наук СССР и состоял почетным членом Академии с февраля 1933 года, в письме от 24 сентября 1948 года известил Академию, что он отказывается от почетного звания, так как в советской науке господствуют те же политические тенденции, как и в фашистских странах.

Это заявление мирового ученого, который до того считался одним «из ярких представителей левой радикальной интеллигенции, другом СССР, кто резко выступал против фашистских расистских теорий», как характеризовала его Большая Советская Энциклопедия в первом издании (1938 г., т. 38, стр. 751), имело свои результаты. Во втором издании БСЭ его имени уже нет, как будто он перестал быть ученым с мировым именем. Но беда в том, что Маллер прямо назвал Лысенко шарлатаном, а его учение — псевдонаучным обскурантизмом.

Почти одновременно с Маллером от почетного звания члена Академии наук отказался и английский ученый Генри Дайл, о чем он известил Академию письмом от 22 ноября 1948 года. «Из собственного заявления Лысенко ясно видно, — писал Дайл, — что его догма была создана и силой внедрена Центральным Комитетом, как соответствующая политической философии Маркса и Ленина... Многие из нас, — продолжал Дайл, — были горды думать, что нет политических или национальных барьеров в мировой науке, но она теперь отделена от «советской науки» и заклеймена «буржуазной или капиталистической».

Надо сказать, что иностранные генетики горячо выступили на защиту своих советских коллег. В связи с этим, хочется отметить книгу, вышедшую в 1949 г. под редакцией профессора ботаники Пенсильванского университета Зиркля — «Смерть науки в России». В ней приведены все основные доклады на сессии ВАСХНИЛ и решение АН СССР. В предисловии и вступительных статьях, которые принадлежат перу таких американских биологов, как Дайл, Карл Сакс, Дарлингтон, Добжанский и другие, объективно обрисовано положение советской науки и приведены исчерпывающие материалы, характеризующие состояние современной генетики.

Нельзя также пройти мимо благородной защиты иностранными биологами памяти академика Н. Вавилова. Только сейчас стало известно, что Н. Вавилов умер в концлагере 26 января 1943 года. Арестован он был, по предположению иностранных авторов, в августе 1940 года, о чем сообщается в книге «Смерть науки в России». Летом 1940 года Вавилов проводил большую ботаническую экспедицию в Галиции и Буковине. Экспедиция была организована в Киеве, но местные власти уже знали, что Вавилов в немилости и саботировали его работу. Разделенная на несколько групп, окончательно экспедиция была сформирована во Львове. Но Ва-

вилов, находившийся в Черновицах был внезапно вызван в Москву и с тех пор его имя перестало появляться в печати.

Был ли Трофим Лысенко прямо причастен к аресту и гибели Н. И. Вавилова, ученого с мировым именем, сегодня сказать утвердительно еще нельзя, но что сталинский и хрущевский агротехник путем клеветнических выступлений против своих научных противников способствовал гибели академика Вавилова и других видных ученых, в этом нет никакого сомнения. Клеветником и интриганом его считают не только в иностранном мире, но и в среде советских ученых, а они знают хорошо, с кем имеют дело.

После того, как в биологии и агротехнике все позиции были захвачены мичуринцами-лысенковцами, в вузах и исследовательских институтах руководство перешло к противникам классической генетики. Создалось положение, которое никак не могло способствовать расцвету научного знания. И практические итоги оказались более, чем скромными. Состояние сельского хозяйства к 1953 году, так красочно описанное в докладе Хрущева на декабрьском пленуме 1958 года, отражало и положение в науке. Как отметил профессор Омского сельскохозяйственного института, член-корреспондент ВАСХНИЛ К. Горшенин — «советская наука пока еще не может назвать каких-либо крупных успехов в области сельскохозяйственных наук, которые послужили бы толчком к резкому скачку сельского хозяйства СССР» («Сельское х-во», 29.10.59).

Большинство сельскохозяйственных исследовательских институтов работало неудовлетворительно. В «Правде» 3 сентября 1958 г. была помещена заметка под названием «Королева и золушка». В ней сообщалось о плохих посевах кукурузы Всесоюзного научно-исследовательского института кормов. В институте работает 10 докторов наук, 42 кандидата, десятки младших и старших научных сотрудников. На каждый гектар посевов приходилось по 10 ученых, а итоги работы самые плачевные. В Красноярском крае опытная станция по животноводству проработала семь лет, не дав каких-либо положительных результатов для практики («Ком. Правда», 28.11.54). Ярославская селекционная станция пять лет подряд проводила опыты возделывания подсолнечника на силос, заранее обреченные на неудачу («Известия», 4.5.55). В том же 1955 г. сельскохозяйственные институты Узбекской ССР обвинялись в бездеятельности, в отсутствии каких-либо результатов («Правда Востока», 11.6.55).

В середине пятидесятых годов в Ташкенте существовало параллельно два института — Узбекский научно-исследовательский институт шелководства и Узбекский научно-исследовательский институт шелковой промышленности. В них работало столько специалистов, сколько их было во всех районах и колхозах республики. Институты дублировали работу и не дали существенных результатов для науки и техники («Правда Востока» 13.1.56). Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства отстает от жизни. Такие плохие фермы, как в институте, можно найти разве в самых отсталых колхозах. Институт в своих рекомендациях не может дотянуться до тех показателей, за которые берутся передовые колхозы и совхозы («Известия», 5.5.59). В 1958 году была организована Академия сельскохозяйственных наук Азербайджанской ССР, которую укомплектовали «мичуринцами». Через год после ее организации отмечалось, что не произошло заметного перелома в деятельности переданных ей институтов и опытных станций («Бакинский Рабочий», 14.8.59).

К научным учреждениям, которые пережили ломку после 1948 г. относится и Институт эволюционной физиологии. В печати отмечалось его неудовлетворительное состояние. В штате института почти 300 человек. Некогда дружный и сплоченный коллектив института теперь расслоился, его лихорадит («Известия», 2.10.59). Бесплодным учреждением оказался и Белорусский научно-исследовательский институт животноводства («Правда», 18.6.53).

Но и цитадель лысенковцев — ВАСХНИЛ — которая таковой и осталась даже после ухода Лысенко в 1956 г. (его заменил Лобанов, 1956-61), — никак не могла по-настоящему перестроиться. В 1960 г. на общем собрании действительных членов и членов-корреспондентов Академии отмечалось, что даже крупные институты — растениеводства, животноводства, механизации, — ведут многие работы на низком теоретическом уровне («Правда», 28.3.60).

Опала Лысенко в 1956 году оказалась не длительной. Его сторонники и ученики занимали всюду руководящие посты и поэтому «восстание» академиков против его диктаторства окончилось лишь частичным успехом. Уже в 1957 г. о Лысенко снова заговорили. И никто иной, как сам Хрущев начал восстанавливать авторитет Трофима Денисовича. Уже в 1957 г. Хрущев напал на ученых, которые «очень много изощрялись в обвинении тов. Лысенко во всех грехах, когда он

был президентом ВАСХНИЛ». («Правда», 10.4.57). В другом из своих выступлений Хрущев прямо сказал: «Я считаю, что мало кто из ученых так понимает землю, как тов. Лысенко». («Сельское х-во», 2.4.57). И получив «авторитетную» поддержку такого специалиста по сельскому хозяйству как Хрущев, Лысенко снова перешел в атаку на своих противников. Ближайшей его жертвой стал академик В. Сукачев, главный редактор «Ботанического журнала». В конце 1958 г. «Правда» — выступила с разносной статьей «Об агробиологической науке и ложных позициях Ботанического журнала» («Правда», 14.12.58). В статье упоминаются имена иностранных ученых, которые давали резко отрицательную оценку агробиологическим трудам Лысенко, а также упоминается, что «и в СССР имеются люди, которые продолжают чернить и порочить материалистическую агробиологическую науку». Как отмечает газета: «Главной мишенью этих нападок сделались труды акад. Т. Д. Лысенко... Поводом для таких выступлений послужили выступления «Ботанического журнала» и «Бюллетеня Московского общества испытателей природы».

По требованию высших партийных органов, формально — в связи со «справедливой критикой Отделения биологических наук Академии на декарбьском пленуме ЦК КПСС в 1958 г.», президиум Академии вынужден был заняться самоосплевыванием, признавая справедливой критику «Правды». Академик В. Сукачев, один из старейших и заслуженных ботаников и географов, был отстранен от руководства редакцией «Ботанического журнала». На пост главного редактора был назначен более покладистый президент Академии наук БССР — В. Ф. Куприевич.

Т. Д. Лысенко пробыл на посту президента ВАСХНИЛ с 1938 г. по апрель 1956 г. Но после кратковременной внешней немилости, Трофим Лысенко снова взбирается на президентское кресло ВАСХНИЛ. Однако — ненадолго! Вскоре ему пришлось «добровольно» сложить с себя обязанности президента ВАСХНИЛ, якобы, по состоянию здоровья, и уступить свое место акад. М. Ольшанскому. Но ВАСХНИЛ и теперь остается главной цитаделью лысенковцев.

Лысенко — типичное порождение сталинской эпохи. Действия его и его сторонников, вызвавшие надолго задержку развития генетики в СССР, о чем справедливо пишут Медведев и Кирпичников, «могли произойти только в обстановке извращений, наблюдавшихся в период культа личности».

Авторы заканчивают свою статью так: «Попытка некоторых ученых изолировать советскую биологию от мировой науки — вредный пережиток культа личности, отрыв от действительности, боязнь открыто и честно признать и исправить когда-то допущенные ошибки».

Проявив смелость, авторы попытались восстановить справедливость по отношению к Менделю, чье имя в СССР давно превращено в жупел. То, что они назвали его чешским ученым, а не австрийским монахом-августинцем, от этого в глазах блюстителей чистоты мичуринского направления его учение не стало менее подозрительным. То, что они признали биологию единой наукой, а не делящейся на буржуазную и советскую, еще не снимает обвинений с Моргана и Вейсмана в идеализме, а следовательно и в противоречии с материалистическим учением Мичурина-Лысенко. Всякий советский гражданин знает, что ярлык «идеализма» привешивается для того, чтобы объявить теорию ложной, вредной. Известно, сколько вреда было нанесено науке в СССР, когда теория относительности и квантовой механики клеймились как лженаука.

Это было не так давно, и совсем не забыто. Об этом можно судить по речи нынешнего президента Академии наук М. Келдыша на состоявшемся в июне пленуме ЦК по идеологическим вопросам. «Я должен сказать, — говорил Келдыш, — что если иногда возникает опасность идти вслед за буржуазными философами в освещении новых закономерностей природы, то не менее отрицательную роль может сыграть игнорирование новых достижений естествознания только потому, что они получили неправильное философское толкование». Не будем спорить по существу вопроса с столь компетентным лицом, как президент Академии наук. И тем не менее, не может не показаться странным, что стоящие на ложных, идеалистических позициях западные ученые и философы не только опережают советских коллег в открытии новых явлений природы и в правильном истолковании их, но также создают концепции и теории, которые открывают путь для дальнейших открытий. А вот советские философы, пользующиеся самой истиной, никак не могут во́-время разгадать новое, навешивая на него ярлык «лженауки». А когда глубина открытия заставляет даже партию и правительство признать его, последние заверяют советских граждан, что выводы, сделанные такими «учеными идеалистами», как Эйнштейн, Планк, Бор, Дирак, Хейзингер, Шредингер, де Бройль полу-

чены ими **вопреки** их неправильному, идеалистическому мышлению.

Надо признать, что лысенковская группа постепенно отказывается от «чистоты» мичуринского учения. В своих исследованиях ей все больше приходится опираться на выводы и достижения классической генетики, той самой, которую они когда-то «разбили идейно и уничтожили научно». Недавно посетивший советские генетические учреждения эдинбургский ученый Конрад Уэддингтон, директор Института генетики животных, сообщил, что сейчас расхождение между западной генетикой и мичуринской генетикой Лысенко вопрос лишь степени глубины, а не принципов.

Но события последнего времени, провозглашение Хрущевым и Ильичевым принципа невозможности идеологического сосуществования коммунистической доктрины с свободной западной мыслью, закрепленное июньским пленумом, облегчило контр-атаки лысенковцев.

Характерно, что авторов статьи в «Неве» не критиковали до июньского пленума ЦК КПСС. И только после него, наконец, появилась статья столпа лысенковцев, нынешнего президента ВАСХНИЛ М. Ольшанского. Ольшанский заговорил старым языком сталинского времени, тем, который господствовал на неоднократно упоминавшейся нами августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., на которой выступал с обвинениями против менделизма-морганизма и сам Ольшанский. Уже название статьи, опубликованной 18 августа в газете «Сельская Жизнь» характерно для стиля лысенковцев — «Против фальсификации в биологической науке». Выступление Ж. Медведева и В. Кирпичникова он назвал «клеветническим», а авторов ошельмовал, как лиц «ничего не сделавших полезного ни для биологической науки, ни для колхозно-совхозной практики».

Анализ всей статьи М. Ольшанского и его заушательских методов спора, потребовал бы много места. Поэтому разрешу себе остановиться только на одном обвинении Ольшанского, которое характеризует его «диалектический метод». Ольшанский утверждает, что в журнале «Нева» совершенно извращены итоги августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года. В статье, видите ли, подчеркнуто, что на сессии «был выдвинут и проведен в жизнь принцип классовости биологии, принцип необходимости признаний коренных различий между генетикой советской и генетикой западных стран... Классическую генетику объявили буржуазной наукой, и она оказалась та-

ким образом вне закона». Ольшанский говорит, что авторы статьи хотели «дезориентировать общественное мнение»! Он утверждает, что «ни в докладе «О положении в биологической науке», ни в постановлении сессии ВАСХНИЛ нет и намека на то, о чем говорится в приведенной цитате». И в пояснение своих слов Ольшанский пишет: «тогда, на августовской сессии 1948 года, и теперь (это очень важное добавление! А. И.) в биологической науке речь шла и идет о другом: о борьбе двух противоположных мировоззрений в науке». Но разве это не одно и то же? И разве в своем докладе на сессии Т. Лысенко не называл классическую генетику «реакционно-идеалистической или метафизической» наукой?

Академик от партийной философии М. Митин (который и ныне руководящая персона на философском фронте) на сессии, без обиняков заявил, что: «менделизм-морганизм, как определенное **буржуазное** течение в биологической науке, возник в Западной Европе и в Америке в конце прошлого и в начале нашего века» (подчеркнуто мной. **А. И.**)

Выступление М. Ольшанского свидетельствует только о том, что положение в биологической науке и сейчас не столь радужное, как это показалось английскому ученому Р. Уэддингтону. Примирения и слияния двух течений не происходит. Можно только удивляться тому, что некоторые ученые не сдались, и даже находятся издатели их крамольных трудов. Ольшанский, например, нападает на Атомиздат, который издал две книги Н. Дубинина, «где незаслуженно расхваливается так называмая классическая генетика...» По его мнению «необъективные, с ложью на советскую биологическую науку статьи продолжает печатать 'Бюллетень Московского общества испытателей природы'». С глубоким удовлетворением надо отметить мужество обновленной редакции этого бюллетеня, который, подвергался нападкам за анти-лысенковские позиции еще в 1958 г., но до сих пор не изменил истинной науке.

Как видим, о спокойствии на «биологической Шипке» в СССР говорить еще преждевременно.

Анатолий Иванов

ТРИ КНИГИ О П. А. СОРОКИНЕ*

Недавно появившаяся автобиография Питирима Александровича Сорокина заслуживает большого внимания. Это — жизнеописание человека, судьба которого во многом напоминает судьбу Ломоносова. Оба родились на севере, Ломоносов в Архангельской губернии, а Сорокин — в Вологодской, при том в дальнем ее северо-восточном углу, в той ее части, которая нынче носит название автономной республики Коми (зырян), от русского отца и матери — зырянки, но из сильно обрусевшей семьи; мать его умерла очень рано. Как и Ломоносов, Сорокин не мог получить регулярного низшего и среднего образования, а вынужден был учиться урывками, что в конечном счете дало ему возможность сдать экзамен на аттестат зрелости и поступить в университет. Как и Ломоносов, Сорокин интересовался многими науками, но довольно рано остановился на социологии, которая в те времена не считалась равноправной наукой. Ей он учился не столько в университете, сколько в Психо-Неврологическом Институте. В отличие от Ломоносова, Сорокин увлекся революционными идеями и несколько раз судился в царской России, т. к. принадлежал к тогда запрещенной партии социалистов-революционеров. Но его поразительная, почти сверхъестественная способность быстро усваивать фактические данные и также быстро разбираться в чужих идеях, не задержала его восхождение по научному пути. Профессора юридического факультета петроградского университета не разделяли его идей; но к чести русской науки, эти профессора были весьма терпимы и быстро распознали в П. А. Сорокине человека

---

* *A Long Journey, by Pitirim A. Sorokin.* New Haven; College and University Press. 1963. Pp. 327.

Pitirim A. Sorokin in Review, by Philip A. Allen, editor. Duke University Press; Durham, N. C. 1963. Pp. 527.

Sociological Theory, Values, and Sociocultural Change, by Edward A. Tiryakian, editor; The Free Press of Glencoe, New York, 1963. Pp. 302.

способного стать выдающимся ученым; по сдаче «государственных экзаменов» он был «оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности». В 1916 году он сдал магистерские экзамены, а в 1920 году, после блестящей защиты своей «Системы Социологии», был признан достойным степени «доктора социологии» (нововведенье революционного периода). В своей автобиографии, Сорокин обстоятельно рассказывает, чем была подготовка к научным степеням в старой России (эта глава его автобиографии будет напечатана в ближайшей книге Н. Ж.).

Подготовка к труднейшему экзамену не помешала Сорокину участвовать в событиях того времени. После мартовской революции, он стал секретарем главы временного правительства А. Ф. Керенского; разгром этого правительства Сорокин пережил, как тяжкий удар — и не остался бездейственным. Он занял позицию борьбы с коммунистическим правительством, был арестован и приговорен к смертной казни; он избежал ее только благодаря вмешательству некоторых видных большевиков, с которыми встречался, как с лицами, как и он, оставленными при университете для подготовки к профессуре. Однако, эта бурная эпоха борьбы не помешала ему написать вышеупомянутую «Систему Социологии» и много других более мелких работ.

К счастью для науки в 1922 г. П. А. Сорокин вместе с другими учеными и писателями был выслан Советским правительством из России. Думаю, что в этом шаге коммунистические вожди впоследствии глубоко раскаивались, т. к. высланные ими повели на Западе борьбу с коммунизмом.

В дальнейшем, судьба Сорокина может быть опять сближена с судьбой Ломоносова. За поразительно короткое время, Сорокину удалось получить признание западных ученых, европейских и американских. Решительную роль в его судьбе сыграло его признанье американцами. Вскоре после прибытия в Америку, Сорокин получил ряд приглашений от разных университетов — прочитать или отдельные лекции или серии лекций по тогда еще малоизвестным вопросам, а именно о русской революции вообще, и о коммунистическом строе в частности. В одном из этих университетов, а именно в университете Миннесоты, Сорокину удалось провести 6 плодотворных лет. За это время он написал и опубликовал свои наименее спорные произведения — о социологии села (Rural Sociology), о социальной подвижности (Social Mobilyty) и о современных социологических теориях. Последний из этих

трудов, вышедший в 1928 г., еще до недавнего времени был принят во многих американских университетах в качестве учебника по истории социологии; по непонятной причине, в своей автобиографии Сорокин его почти не упоминает.

В 1930 г., совершенно неожиданно произошел перелом в жизни Сорокина; самый знаменитый университет Соединенных Штатов, Харвард, пригласил его сначала на серию лекций и семинаров, а несколько позднее Сорокин получил приглашение от Харвардского университета — создать и возглавить новое отделенье по социологии; тогда таких отделений в Америке было еще немного. Сорокин ревностно принялся за дело и создал очень «сильное» отделенье, которое вскоре стало руководящим центром социологического развития в Америке.

12 лет занимал Сорокин свой административный пост — обыкновенно главы отделений «служат» 3 года, реже — 6 лет. В 1942 г., Сорокин был заменен на своем посту новым восходящим «светилом», Т. Парсонсом, которого в самом начале своей работы Сорокин отстоял от врагов — это происшествие Сорокин подробно описывает в своей автобиографии.

После этого, Сорокин оставался еще 17 лет профессором социологии в Харварде, пока не достиг предельного возраста (70 лет). За четверть века своей деятельности в Харварде, Сорокин создал свои знаменитые труды; это были Социальная и Культурная Динамика (4 тома, 1937-1941), Общество, Культура и Личность (1947) и множество других. За эти годы, значенье Сорокина стало предметом спора между американскими социологами. Многих ученых равно как и многих слушателей и студентов, его мысли покоряли; но в других они вызывали отталкивание. Это впечатление вынес пишущий эти строки, который в течение 4 лет был членом Харвардского отделения социологии, когда оно возглавлялось Сорокиным. Еще в 30-х годах была выставлена его кандидатура на президентство союза американских социологов. На выборах Сорокин потерпел незаслуженное поражение: коллеги предпочли ему другого кандидата.

В 1959 г. Сорокин вышел в отставку. Но еще за несколько лет до нее, он перенес центр тяжести своей работы в созданный им исследовательский институт по изучению чувства альтруизма. Сорокин считает, что только путем перевоспитания как вождей, так и ведомых ими масс на путях альтруизма можно обеспечить мир во всем мире. Как он описывает в своей автобиографии, он как-то не задавался вопросом —

откуда придут средства на эту работу. Он давно уверовал в свою счастливую звезду. Совершенно неожиданно для него, один крупный промышленник, по фамилии Лилли, вдруг пожертвовал на это дело свыше 100 тысяч долларов. Сорокин получил возможность развернуть свой институт и выпустить 12 томов, в значительной мере состоящих из его собственных работ. Недавно вышеназванная сумма оказалась исчерпанной, и институту пришлось несколько сжиматься.

Сам же Сорокин нисколько не сокращает своей кипучей деятельности: он постоянно читает отдельные лекции и циклы лекций и докладов в разных высших учебных заведениях, американских и европейских; активно участвует в конференциях разных научных обществ и вступает в полемику с другими социологами. Почти всё это запечатлевается в ученых трудах, продолжающих выходить с большой быстротой; вышедший недавно список этих трудов занимает 8 страниц убористой печати; они перечислены по годам, начиная с 1910 и кончая 1960 г.; список заканчивается заметкой редакторов такого содержания: «список не полон, т. к. к нашей радости Сорокин продолжает публиковать ученые труды».

**
*

Заканчивающийся 1963 год был ознаменован тремя событиями, которые обосновали выдающееся положение Сорокина среди современных социологов; два из них — появленье двух солидных томов с научными статьями — были приурочены к 70-летию Сорокина, исполнившемуся в 1959 г., но книги не были готовы к сроку. Первый из этих томов, под редакцией проф. Ф. Аллена из университета Вирджинии, озаглавленный «Оглядываясь на Сорокина», составлен по следующему плану: сначала — автобиография Сорокина, которая в расширенном виде вышла в качестве отдельной книги, рассмотренной выше; затем — серия 17 статей, написанных социологами, высоко ценящими Сорокина, но готовыми и критиковать отдельные его положенья. Воспроизвести вкратце их содержанье — решительно невозможно, т. к. статьи очень специальны. Между со-авторами материал был распределен редактором так, что оказались затронутыми почти все стороны сорокинского ученья, в их историческом развитии и современном состоянии. Некоторые из этих статей, в особенности последняя, проф. Колумбийского университета Мертона (в сотрудничестве с проф. Барбером), являются блестящими науч-

ными работами. Тема ее — социология знанья или науки — одна из самых острых в современной социологии, заслуживает серьезного обсужденья. Есть и другие превосходные статьи и, как всегда бывает в сборниках, есть статьи и менее значительные. Пишущий эти строки дал статью о сорокинских идеях относительно права, революции, войны и общественных бедствий.

Меньшая часть статей посвящена оценке ученья Сорокина в разных странах — Англии, Италии, Индии и Латинской Америке. Из них выделяется статья проф. Джини, который откровенно отмечает некоторые дефекты в общей манере сорокинской работы и передаче результатов читателям. По этому вопросу могут быть разные мнения; скажу только — до сих пор, Сорокин собирает самые многочисленные аудитории, не только из студентов, но и из сложившихся ученых, готовых послушать талантливого коллегу, который в своих докладах и возражениях не стесняется нарушить обычный в Америке этикет — всегда говорить только приятное. Завершается сборник возраженьями Сорокина всем 17 соучастникам сборника; наибольшее место Сорокин уделяет статье Мертона, которая того вполне заслуживает. За возраженьями Сорокина, как бы в качестве приложенья, следует тщательно составленный список его ученых трудов, упомянутый выше.

Другой сборник, под редакцией его ученика, ныне проф. Е. Тириакиана, еще менее чем предыдущий поддается краткой передаче. Он составлен по типу немецких «Фестшрифт», т. е. юбилейных сборников, которые редко встречаются в Соединенных Штатах. Редактор предложил всем со-авторам свободу в выборе тем, конечно, прямо или косвенно относящихся к социологии. Только первая из статей (не считая обширного предисловия редактора), написанная проф. Артуром Дэвисом из Саскачеванского университета, прямо посвящена Сорокину и озаглавлена «Уроки Сорокина»; она довольно верно передает те впечатления, которые получают его студенты, в особенности по Харварду. Из других статей большого внимания заслуживает статья Т. Парсонса, который разбирает вопрос о положении христианства в современном индустриальном обществе. Он приходит к выводу, прямо противоположному выводам Сорокина, имя которого не упоминается — но это типичная манера письма Парсонса, соперника Сорокина по возглавлению современного социологического мира.

Третье событие — неожиданное избрание Сорокина председателем союза американских социологов на 1965 год.

Обычная процедура выборов такова: председатель общества в данном году назначает нескольких членов общества членами избирательной комиссии, которая по большинству голосов составляет список кандидатов на подлежащие замещению вакансии — в двойном числе; затем в начале календарного года, список рассылается всем полноправным членам о-ва, которые отмечают своего кандидата и посылают свой избирательный бюллетень комиссии; та делает подсчет и объявляет избранными кандидатов, получивших большинство.

Но кроме этой обычной процедуры есть и чрезвычайная. Избирателям предоставлено право, вместо голосованья за одного из официальных кандидатов, «вписать» имя своего избранника. Если такой кандидат получит меньше 25 голосов или менее 10% общего числа поданных голосов, обыкновенная процедура остается в силе. Но если какой-либо кандидат соберет больше 25 голосов и при том более 10% всех поданных голосов, то избирательная комиссия заготовляет новый бюллетень, в который имя кандидата, предложенного избирателями, должно стоять наряду с двумя прежними. Это гарантирует демократический характер выборов.

И вот в текущем году, в виде чрезвычайного исключения, эта процедура была применена. Какое-то число избирателей (цифра не сообщается) вписало имя П. А. Сорокина с превышением уже упомянутых минимумов. Имя Сорокина появилось поэтому на вторичном бюллетене наряду с кандидатами, рекомендованными избирательной комиссией, кстати сказать, весьма почтенными авторами интересных трудов, и победило последних — число голосов опять-таки не сообщается. Итак, избран был Сорокин, 30 лет назад не получивший большинства (и никогда больше не поставленный в избирательный список). Этим актом, американские социологи искупили свой тогдашний грех и освободили свое общество от сделанной тогда ошибки. Никто не будет иметь права упрекнуть общество, что оно проглядело самого выдающегося социолога первой половины 20-го века.

Т. к. председатели о-ва избираются заранее, Сорокин станет фактическим председателем в 1965 г. и возглавит съезд американских социологов, который соберется в Чикаго осенью того же года.

Кончая, хочу вернуться к тезису, что есть много общего в судьбе Сорокина и Ломоносова. Оба родились на «низах» русского общества, и оба поднялись до вершин, — став учены-

ми с известностью, распространившейся широко за пределы страны, где протекала их деятельность — и оба вызвали не мало зависти и злословия со стороны других претендентов на высшие места. Но судьба их представляет и глубокое различие: Ломоносов работал в пределах своего отечества, Сорокин завоевал себе имя и положенье в чужой стране. И все-таки его торжество — не только личное, но и торжество Петроградского университета и русской науки.

Н. С. Тимашев

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ФЛОРЕНЦИЯ. ЛОХОВ.

Как некий блудный сын, возвращающийся в отчий дом, я вернулся к тому, что для любящего искусство, является вечным источником утешения и радости, что превышает вечно, как нечто стоящее вне и выше смен мод, увлечений, споров, оспариваний, и чем Италия может гордиться перед всем миром: ее города-сокровищницы являются какими-то святыми местами, целью паломничества и предметом священного пиэтета.

Русской душе Италия соприродна как не одна страна в мире, и это больше чувствуется чем может быть доказано, как трудно доказать соприродность двух людей, взаимно друг к другу тяготеющих и друг другу нужных. Италия не только бесконечно интересна, бесконечно красива, но она нужна для души, для душевного равновесия и скажу, для душевного очищения и духовного подъема.

Переезжая итальянскую границу вы исполнены всегда спокойной уверенности, что нигде — ни в скромном городишке, ни в древних столицах, ни в убогости, ни в роскоши, ни в архитектуре, ни в пейзаже, вас никогда не оскорбит уродство. Страна дает вам некую поруку, что все в ней прекрасно и в веках от уродства охранено.

Становясь тогда, пусть и временно, жителем Флоренции, а не гостем-туристом с Бэдекером в кармане, мне хотелось сразу же самому себе подчеркнуть эту разницу и найти милое сердцу пристанище — быть «у себя», почувствовать себя «у себя в моей Флоренции», чего никогда не может дать номер отеля с его невыносимой, шаблонной и суетливой жизнью, назойливыми гидами и швейцарами.

Поэтичная свадьба дочери, в русском кругу Флоренции, сделала для меня этот город еще более близким и дорогим, а судьба устроила меня с женой в русском, поистине гоголевском, провинциальном уголке, у старомодной старушки. Рядом с нами была квартира русского священника со сдобной и благодушной матушкой. Они были старожилы Флоренции. Вся обстановка и сами супруги являли собой живую картину Кустодиева, этого талантливого

изобразителя особого русского старого быта. Герани на окнах, канарейки, самовар, но и Гоголь был также во всем этом с его юмором и сатирой. Кустодиево-гоголевская матушка заявляла что никогда не ходит на «Piazza Signoria»: «Уж такая срамота глядеть на этих мраморных мужчин — голых, да еще таких огромных, ну просто позор таких на площади выставлять!» Словно в этом тихом русском уголке что-то спряталось, притаилось от бушующей в России бури.

Вечером, немедленно по приезде, я окунулся в сказочный мир Флоренции. Была тихая лунная ночь. Сверкал Арно, блестел огнями ювелирных лавочек «Ponte Vecchio»: — «И вот уже в долинах — несметных сонм огней, — И вот уже в витринах — Ответный блеск камней...» (А. Блок «Флоренция»). Мирно спали дворцы с их выпуклыми древними камнями и точеными железными фонарями на углах. Поспешил я в «Лоджию», где меня приветствовал старый друг, знаменитый «Персей» Бенвенуто Челлини, и к черно-белому собору, и древнему Баптистерию с его бронзовыми, прославленными дверями. При луне, все эти старые друзья столь неописуемо фантастичны!

А на другой день я отправился к моему старому другу Лохову, с которым раньше часто видался еще в Москве, до его окончательного переезда в Италию, во Флоренцию, где он осел на долгие годы.

В жизни очень трудно теперь встретить: человека абсолютно самобытного, ни на кого непохожего, или в столь своеобразной форме сочетающего в себе известные свойства, что комбинация их дает нечто вполне оригинальное. Лохов представлял собой такое единственное в своем роде явление, что наряду с его замечательными душевными свойствами, делало его для меня исключительно привлекательным и интересным. Он являл собой сочетание мыслителя, общественного деятеля (идеалиста-народника), глубокого по своей специальности ученого и практика, обожателя, ценителя и знатока искусства, поэта в душе, тревожного и фанатического поборника своих социальных идей, а с другой стороны добрейшего, миролюбивого и любвеобильного человека, альтруиста и своего рода аскета, в равной мере преданного своей идее и своей работе, в качестве первоклассного мастера и неутомимого жертвенного труженика.

Он был что называется «идейным человеком», и что называлось в 60-ые годы «светлой личностью». Да и на шестидесятника похож он был до нельзя, со своей окладистой бородой, типичным, несовременным русским лицом, (несколько похожим на Герцена), своим старомодным черным сюртуком и жестами резонера, со своей

исто-русской, литературной, медлительной речью иного ритма и стиля чем речь современная.

Был он социалистом весьма левым, — под надзором полиции при старом режиме, но это всё было когда-то давно и не входило в орбиту наших отношений. Близко подружившись на почве искусства мы никогда этого прошлого не касались, да меня это и мало интересовало. Во всяком случае, пафос политической активности в нем давно потух, перегорел, и если еще теплился жар в оставшихся углях, изредка давая вспышку, то этот жар лишь поднимал подчас температуру в идейных спорах, которые уклонялись от темы искусства и которые я никогда особенно всерьез не принимал. Это меня лишь умиляло своим старинным стилем давно изжитой эпохи и умилительной, более чем досадной наивностью мечтателя-народника, либерала-идеалиста. Да и говорить в ценные для меня часы контакта с перегруженным работой Лоховым, всегда хотелось совсем на иные темы. Хотелось говорить с тем Лоховым, который пламенно любит искусство и который был самым совершенным копиистом картин и фресок, из всех кого я знал. Самый совершенный по знанию и мастерству копиист — Лохов стяжал себе большую славу, как «маэстро», в Италии, да и за ее пределами. Как мастер изучивший до самых глубинных тайн, мало кому раскрытых и доступных, технику старых мастеров самых разнообразных школ и эпох, он был для меня не только бесконечно интересен, но и весьма полезен. Поэтому ни с кем изучение музеев не могло быть для меня столь интересно и поучительно, как с милейшим Лоховым, любившим ходить со мной, т. к. он чувствовал во мне подлинный и живой интерес ко всему тому, что мы оба так любили и ценили.

Будь это фреска Джиотто, Беноццо Гоццоли, холст Карпаччио, Ботичелли, Рембрандта или любого фламандца, Лохову в равной степени была понятна и известна вся фактура произведения, все технические приемы, все особенности подхода к работе и система исполнения всех этих мастеров, так сказать, вся «подноготная картины». Всё было внимательно исследовано в лупу, изучено по источникам, по свидетельствам и документам современников, но главное изучено на опыте. Опыты и доказательства «вещественные» — копии Лохова, являясь «вторым оригиналом», красноречиво свидетельствовали о правоте всех его доводов и произведенного им анализа. Тот же грунт (цементные толстые доски для копии фресок), те же краски, тот же прием накладывания красочного слоя и лесировок, тот же росчерк и мазок кисти, при всем этом изумительное проникновение в дух оригинала, всё это давало результат поистине совершенн й. Со сверхчеловеческим терпением, вниманием и пиэтетом ис- н Лохов сложнейшие копии на золотом, гравированном, чекан-

ном фоне примитивов. Так копия знаменитого «Благовещения» Симонэ Мартини (музей «Уффицци») может по праву почитаться верхом копировального совершенства, равно как и копия «Рождение Венеры» Ботичелли и многие другие.

Проблема значения копий издавна была предметом споров. Огромное количество бездарных и безграмотных копий, равно как и вольных копий, обычно являлись аргументом отрицательным и такой копиист никогда не заслуживал названия художника. Огромная эрудиция Лохова давала копии всё подобающее ей серьезное значение. При наличии всех указанных его качеств, он являлся своего рода феноменом. Абсолютно совершенный копиист Лохов был «художественным копиистом» в силу понимания духа и всех особенностей оригинала, но (и это весьма показательно и любопытно) он не мог стать подлинным оригинальным художником, хотя и делал редкие попытки заниматься личным творчеством: всякое творчество, всякая индивидуальность были забиты в нем тем же пиэтетом, добросовестным до вдохновенности, страстно любовным отношением к копируемым сокровищам искусства. «Двум господам» он служить не мог, да и не вправе был бы променять одного на другого, на «свое» искусство, на что он и не претендовал, быть может, сознавая, что своего у него нет.

Как бы то ни было такой феномен как Лохов бесконечно ценен. Он оценен в Америке, где просвещенные знатоки европейской живописи приобрели ряд его копий. Как я уже сказал, он в высокой мере был оценен и в Италии, где он пользовался ему одному данным правом копировать в любом соборе всё что он хочет и где для него воздвигались специальные леса и устраивалось необходимое освещение. Этот знаменитый мэтр своего дела ценным был в высокой мере и потому, что только он мог «спасти от смерти» (как он выражался) разрушающиеся фрески; так он спас знаменитую фреску «Распятие» Фра Беато Анджелико, во дворе монастыря, причем кисть Лохова неотличима от кисти Беато.

Но Лохов не был бы цельным человеком, если бы он, и я спешу это подчеркнуть, служа искусству, не служил своей народнической идее, своему социальному идеалу. Все его работы он исполнял во имя идеи, которой он жил, и которой он посвящал до нельзя перенапряженные неустанным и тяжким трудом свои силы. Накоплявшиеся у него копии, точного размера оригиналов, были им предназначены для русского народа, для России, где все обездоленные, не имеющие возможности видеть оригиналы за границей, могли бы просвещаться любуясь копиями с сокровищ искусства. Это ли не подвиг народника-патриота-идеалиста! Спешу также добавить, что

если этот «подвижник» мастер, подчас голодавший и затрачивавший последние лиры на материалы для работы, продавал ту или иную копию в Америку, то точно такую же он снова исполнял для приобщения ее к дару России, вопреки всем революциям веря в ее духовные потребности. Как было не уважать, не любить такого русского человека и не гордиться его дружбой!

Кн. С. Щербатов

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Глубокоуважаемый Роман Борисович!

Я не имею привычки полемизировать с авторами рецензий. Но в данном случае дело идет не о «суждениях», а о совершенно новом способе полемики, «открытом в наши времена»... Уже несколько лет мои работы преследуются в украинских изданиях суждениями, которые показывают, что авторы даже не читают моих работ. Но сейчас открыт совершенно новый способ полемизировать. Здесь только что получена книга проф. В. Кудина: Эстетика (по-украински; Киев 1962 г.; книга министерством народного просвещения рекомендована студентам университетов и педагогических институтов). В этой книге я с удивлением читаю (стр. 259), что мною издана книга «Очерки современных славянских литератур» (I-ый том, 1952 г.). В этой книге я «развиваю теорию про мнимый кризис реализма и социалистического реализма». Автор ошибочно считает меня «бывшим профессором Киевского университета», в котором я только учился. В действительности я не только никогда не опубликовал такой или подобной книги, но вообще ни в книгах ни в статьях не имел случая высказать свое мнение о социалистическом реализме. В дальнейшем г. Кудин даже излагает содержание моей книги, но так как это изложение объединяет изложение моих мыслей с изложением мыслей М. Слонима, Симмонса, В. Эрлиха и Фолеевского, то я не могу выделить мыслей, будто бы высказанных мною, от высказываний этих авторов.

Изобретение для нужд полемики несуществующей книги является, конечно, очень удобным приемом, но даже в советской литературе такой прием, кажется, — исключительное явление.

Именно поэтому я хотел бы обратить внимание читателей «Нового Журнала» на это гениальное изобретение.

С искренним уважением

Ваш *Дмитрий Чижевский*

Профессор Гейдельбергского университета, действительный член Гейдельбергской Академии Наук.

Гейдельберг,

25 сентября 1963 г.

Многоуважаемый г-н Редактор!

В своей рецензии о моей книге ***The First Russian Revisionists*** **(«Н. Ж.» № 71)** г-н Д. Шуб упрекает меня в двух ошибках. Я хотел бы ответить на эти упреки.

Во-первых, по мнению г-на Шуба, я ошибаюсь, «повторяя... что все выдающиеся бывшие русские легальные марксисты потом стали членами конституционно-демократической... партии». Г-н Шуб совершенно прав, раскрывая ложь этого положения; и несомненно, я ошибся бы, если бы его утверждал. Но на стр. 217 моей книги можно увидеть, что я написал нечто иное, а именно: что все видные легальные марксисты вступили в Союз Освобождения, и что все, **кроме Бердяева,** стали «кадетами». При этом я имел в виду, разумеется, только тех пять лиц, которым посвящена моя книга. Был ли Туган-Барановский в тот или иной период жизни «кадетом»? Доказательств мало; но единственное, известное мне, указывает на то, что он к концу жизни примкнул к этой партии.

Во-вторых, г-н Шуб оспаривает положение, что «все видные легальные марксисты эволюционировали... к православию», добавляя: «философами православного христианства стали только Булгаков, Бердяев и Франк... Струве, хотя и вернулся в лоно православной церкви, но идеологом православия он не был». Опять-таки г-н Шуб несмненно прав; но еще раз он приписывает мне такие мнения, каких я никогда не разделял. На стр. 220 книги сказано, что все легальные марксисты (все «мои пять», то-есть) **кроме, по-**

жалуй, Туган-Барановского, в конце концов пришли к православию. Я не брался объяснять, кто сделался или не стал философом или идеологом православия, ибо позднейшая, как христианско-философская так и «кадетская» деятельность легальных марксистов лежала за пределами моей работы, и я мог коснуться ее лишь мимоходом и обобщительно.

С уважением *Ричард Киндерслей,* Лондон

ОТВЕТ Д. ШУБА

Г-н Ричард Киндерслей признает, что я прав раскрывая ложь большевистских историков о том, что все выдающиеся русские представители легального марксизма потом стали членами конст.-дем. (кадетской) партии, но он утверждает, что на стр. 217 своей книги он написал, что все **«видные** легальные марксисты вступили в Союз Освобождения и что все, кроме Бердяева, стали кадетами». При этом «он имел в виду, разумеется, только тех пять лиц, которым посвящена моя книга». Но на стр. 217 мы читаем: **«Все** легальные марксисты, кроме Бердяева... последовали за Струве в либеральный Союз Освобождения и все, кроме Бердяева — даже Туган-Барановский — вместе с ним (Струве) вступили в либеральную кадетскую партию». В своей книге г-н Киндерслей действительно излагает главным образом взгляды Струве, Туган-Барановского, Булгакова, Бердяева и Франка и дает краткую биографию каждого из них, но он много раз упоминает и других видных легальных марксистов второй половины девяностых и начала девятисотых годов (В. Богучарского, В. В. Водовозова, А. Изгоева, В. Поссе, С. Прокоповича и других), а никто из названных, кроме Изгоева, не примкнул к кадетской партии. Они до конца жизни остались беспартийными социалистами. Поэтому нельзя сказать, что все легальные марксисты потом примкнули к кадетской партии. Да и Туган-Барановский, хотя и писал экономические статьи в петербургской кадетской «Речи», членом кадетской партии не был, как не был и проф. Д. Н. Овсянико-Куликовский, писавший литературные статьи в «Речи».

Г-н Киндерслей также признает, что я прав, оспаривая утверждение большевистских историков, что все видные легальные марксисты эволюционировали от марксизма к идеализму и от идеализма к православию. Но отсылает меня к 220 стр. его книги, где сказано, что «все легальные марксисты (все мои пять) в конце-концов при-

шли к православию». Тут опять-таки слова «все мои пять» отсутствуют и получается впечатление, что все легальные марксисты пришли к православию. Когда большевики пишут об эволюции легальных марксистов «от марксизма к идеализму и от идеализма к православию», они именно имеют в виду **идеологию** православного христианства. Такое же впечатление у читателя может получиться и от утверждения г-на Киндерслей.

Д. Шуб

ИСПРАВЛЕНИЯ

В кн. 73 «Н. Ж.» надо сделать следующие исправления. На стр. 35 в стихах Юрия Иваска «Афон», строка 13-я сверху должна читаться: «Сыграю с ним — и не раз!» и строка 9-я снизу на стр. 36: «Его голубую синь». В статье Ю. Гринфельд «Произвол работодателей в СССР», на стр. 263, 10-я строка снизу должна читаться: «Рабочие завода «Ударник» в Минске...» и на стр. 268-й, 18 строка сверху: «в течение девяти лет Белов вел . . .». В статье Д. Чижевского «О поэзии русского футуризма» на стр. 138, 8-я строка снизу должна читаться: «Белый, напротив, заострял и обогащал свой стиль». На стр. 145, 9-я строка сверху: «предшественников новой русской литературы». На стр. 157, 3-я строка сверху: «братья Бурлюки, Бехтеев и т. д.». В статье И. Манухина «Революция», на стр. 196, 3-я строка снизу должна читаться: «и Щербацкий». РЕД.

ATA—AMERICAN TRANSLATORS ASSOCIATION
АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ

приглашает вступать в члены всех компетентных переводчиков и лиц, серьезно интересующихся теорией и практикой перевода.

Запросы и заявления направлять по адресу:

ATA. P. O. Box 489 Madison Square Station
New York 10, N. Y.

БИБЛИОГРАФИЯ

Essays on Tatar History. By Dr. Boris Ischboldin. New Delhi, New Book Society of India, 1963. Pp. 182.

Книга проф. Ижболдина, преподающего экономику в университете С. Луис, весьма осторожно озаглавлена «Очерки по татарской истории». Автор не пытается дать читателю связное представление о татарской истории, в частности не отвечает на такие вопросы, как кто же были татары; теперь часто принимается воззрение, что татары скорее всего сборное имя, покрывающее некоторое зерно подлинно татарское, и вместе с тем много других народов к нему примкнувших, в частности половцев, о которых столько говорится в русских летописях до 13-го века и очень мало после этого времени. Не объясняет автор и того, откуда именно пришли татарские полчища, разгромившие киевскую Русь (кроме ее северных окраин).

Но то, что автор сообщает, любопытно для историков, склонных к так сказать биографическому подходу к истории. Повидимому, такой детальной разработки генеалогии правителей отдельных татарских государств, на которые быстро распалась прежняя Золотая Орда, еще никто не давал. Причина распада вероятно имманентна политическому строю этой Орды, который в некоторых чертах напоминает политический строй Франции при Меровингах и Киевской Руси; в этом строе характерен и губителен принцип раздела государства между всеми сыновьями умершего правителя. Запомнить все территориальные перетасовки, происходившие на этой почве, почти невозможно без полных генеалогических таблиц, которых в книге Ижболдина к сожалению нет.

Очень любопытны главы о той роли, которая была предоставлена московскими князьями, позже царями, отдельным представителям татарской знати. Интересно читать очерки о Касимовском царьке Симеоне Бекбулатовиче, которому уже полусумасшедший Иоанн Грозный предоставил было почти неограниченную власть над так называемой «земщиной» в противоположность «опричнине», и о Годуновых. В последнем очерке, о семье Ижболдиных, ав-

тор дает интересные сведения о роли татар в торгово-промышленном мире развивавшейся России.

Книга проф. Ижболдина весьма своеобразна и может быть с интересом и пользой прочитана всяким, кого интересуют «земли родной минувшие судьбы», рассмотренные в необычной перспективе. Она свидетельствует о кропотливом изучении источников, из коих многие отсутствуют по эту сторону океана.

Н. С. Тимашев

ВАСИЛИЙ ГИППИУС. Гоголь. Изд-во «Мысль». Ленинград, 1924.
АЛЕКСАНДР СЛОНИМСКИЙ. Техника комического у Гоголя. Петроград, 1923.

Reprinted by Brown University Press, Providence, Rhode Island, 1963.

Иногда появление старых книг, давно ставших библиографической редкостью, доставляет гораздо больше радости, чем появление новых, выходящих рекордными тиражами. К таким «нечаянным радостям» можно отнести и книгу В. В. Гиппиуса «Гоголь», переизданную Браун Юниверсити Пресс в специальной серии, посвященной перепечаткам выдающихся славяноведческих работ. Выбор первых двух выпусков этой серии сделан как нельзя более удачно. Несмотря на то, что литература о Гоголе быстро растет, Гоголь всё еще остается «неизвестным» (см. статью Д. Чижевского в 27-ой кн. «Нов. Журн.»), а тема «Гоголь» — «неисчерпаемой».*

«Мы еще не знаем, что́ такое Гоголь, и хотя не видим мы его подлинного, всё же творчество Гоголя, хотя и суженное нашей убогой восприимчивостью, ближе нам всех писателей русских XIX столетия», — писал Андрей Белый в «Весах» за 1909 г., когда в России происходил пересмотр личности и творчества этого загадочного писателя. На место Гоголя-реалиста и бытописателя, «математически-верно» изображавшего русскую действительность (Белинский), Гоголя-обличителя николаевской России и Гоголя-безумца, написавшего «Выбранные места из переписки с друзьями», русские критики-символисты — В. Розанов, Брюсов, Мережковский, Блок, Анненский и др. — поставили Гоголя-романтика, Гоголя-фантаста, Гоголя-мистика и визионера, видевшего всё «не... в дей-

* Уже в 1952 г. писалось о том, что нет не только научной биографии Гоголя, но даже предпосылок для ее создания (см. Литературное Наследство, т. 58, ст. 533). Этот серьезный пробел не заполнен до сих пор.

ствительности, но... в пределе» (Брюсов), смело творившего свое собственное мирозданье при помощи слов «драгоценнее самой вещи» (выражение Гоголя о народном языке). Переоценка Гоголя символистами несмотря на всю свою фрагментарность, субъективизм и интуитивизм вызвала впоследствии интересные отклики в целом ряде научных работ о Гоголе и отразилась так или иначе на последующих судьбах изучения его жизни, творчества и духовного облика. Одной из таких работ, показывающих хорошее знакомство автора с работами русских символистов, посвященных Гоголю, является и книга В. Гиппиуса.

Однако к взглядам символистов на Гоголя Гиппиус относится критически и довольно удачно полемизирует с Розановым и Мережковским. Он переносит мнения символистов на широкую научную основу, углубляет формальный и идеологический анализ произведений Гоголя, стараясь создать цельную и стройную систему понимания его жизни и творчества. Он отводит довольно много места биографии Гоголя, его предкам, особенно литераторам, его первым литературным опытам и формированию детского и юношеского религиозного сознания. Много внимания уделяет Гиппиус и эстетизму Гоголя, очень убедительно показывая связь его с эстетическими течениями 20-х и 30-х годов, нашедшими отражение во взглядах русских романтиков. Гиппиус старается также связать некоторые мало исследованные стороны биографии Гоголя с его произведениями. Очень интересны розыскания Гиппиуса в области влияния на творчество Гоголя (не только на «Вечера», но и на «Ревизора») украинской вертепно-анекдотической и фарсовой русской и иностранной традиции. Этой теме он посвятил впоследствии отдельную работу в упомянутых «Материалах и исследованиях». Другие открытия Гиппиуса включают параллели к «Запискам сумасшедшего» Гоголя, влияние на Гоголя поэтики Филдинга (вопрос до сих пор не исследованный), взгляд на «Выбранные места из переписки с друзьями» как на «третью идиллию» Гоголя, связанную с сентиментально-утопическими трактатами, и поворот в сторону «психологизма» у Гоголя в 1841—1842 гг.* Гиппиус уделяет этому чрезвычайно важному и спорному вопросу в творчестве Гоголя много внимания. Он согласен заменить «психологизм» и «реализмом», и «натурализмом», но только — условно. Он никогда не называет Гоголя реалистом, самое бóльшее — «реалистическим ро-

---

* См. интересный разбор книги Гиппиуса в книге В. Виноградова «Гоголь и натуральная школа», Ленинград, 1925 г., тоже давно ставшей библиографической редкостью.

мантиком» или **«гиперболическим»** (курсив Гиппиуса) реалистом (стр. 155).

Гиппиус прекрасно отдавал себе отчет в «противоречиях между Гоголем-реалистом и Гоголем-романтиком, Гоголем-обличителем и Гоголем-реакционером, Гоголем-юмористом и Гоголем-проповедником» и не боялся углубляться в их прослеживание. Но он далеко не первый исследователь этих противоречий, как думает проф. Д. Л. Фангер, который снабдил книгу кратким предисловием на английском языке. Противоречия в личности, идеологии, миросозерцании и творчестве Гоголя были замечены и отмечены уже его современниками (С. Шевыревым, кн. П. Вяземским и др.) да и многими последующими критиками и исследователями (А. Григорьев, Чернышевский и др.), а также русскими символистами (особенно Мережковским, Розановым, Анненским) и формалистами (Эйхенбаум, Тынянов, Зунделевич и др.). В сущности противоречий этих не мог не заметить ни один серьезный критик Гоголя, если он, не старался ограничить Гоголя и его творчество одной какой-нибудь полюбившейся ему схемой или формулой. К тому времени как была написана книга Гиппиуса миф о «реализме», «бытописательстве» и «обличительстве» Гоголя был уже довольно основательно разрушен. Однако открытия русских символистов и формалистов как-то не успели дойти до сознания широкого читателя.

Нельзя не согласиться с проф. Фангером, что свою задачу «дать всё основное из личного и творческого развития Гоголя... в сжатом очерке» Гиппиус выполнил блестяще. Именно поэтому она до сих пор может считаться лучшей книгой о Гоголе, написанной и для неспециалистов. Она является лишь авторефератом большой книги о Гоголе, к сожалению, так и не увидевшей света. Гиппиус, профессор Пермского университета и многолетний научный сотрудник Института Русской Литературы (Пушкинский Дом), погиб во время осады Ленинграда.

Кроме книги Гиппиуса в той же серии вышла еще одна интересная работа о Гоголе, написанная Александром Слонимским. Несмотря на частые нападки на формалистов и по ту, и по эту сторону железного занавеса, нельзя не признать, что их ранние работы представляют интереснейший материал для всякого, изучающего русскую литературу. «Техника комического у Гоголя» особенно ценна и тем, что на русском языке почти нет хороших работ, посвященных проблемам юмора и комизма, при большом обилии книг и статей о сатире. Впрочем сам Слонимский определяет свой метод не как «формальный», а как «эстетический», поскольку он рассматривает приемы, имеющие не только композиционное, но и смысловое значе-

ние Он отмечает философский характер и всеобщность юмора у Гоголя (Слонимский использовал немецкие работы по эстетике конца прошлого века Фолькельта, Липпса и др.) и более подробно останавливается на гротескном искажении мира у Гоголя, как нельзя лучше соответствующем законам комического искусства. «Технику комического», включающую такие приемы как «комический алогизм», «упрощенность мотивировки», «пустую аргументацию», «комизм логической неподвижности» и др., Слонимский успешно противопоставляет легенде о «реализме» Гоголя, живой до сих пор... Он иллюстрирует свои положения прекрасно подобранными примерами из гоголевских произведений. Слонимский разделяет мнение русских символистов о собственных мирах Гоголя, населенных самыми фантастическими персонажами. «В гоголевском мире нет правды и неправды, вероятного и невероятного — верят **quia absurdum**. Струи гротеска — нос-статский советник, бурая свинья, унтер-офицерская вдова, «иностранец В. Федотов», ноздревские лошади розовой или голубой шерсти — и «вихри сплетней» и недоразумений пронизывают произведения Гоголя, противореча всем представлениям о них, как о примерах реалистического искусства и неотступно сопутствуя им, как звуки колокольчика в «Ревизоре» и в «Мертвых душах», появившиеся неизвестно откуда, улетающие неизвестно куда...»

Новую серию при Браунском университете следует особенно приветствовать еще потому, что на переиздание многих ценных книг, которые могли бы стать «верными спутниками» всех изучающих русскую литературу, в СССР нет никакой надежды. Цены изданных Браунским университетом книг — вполне доступны. Обе книги — превосходные пособия для всех, занимающихся Гоголем. Будем с нетерпением ждать следующих выпусков так хорошо начатой серии.

В дальнейшем издательство Браунского Университета предполагает выпустить несколько сборников критических статей, посвященных таким писателям как Гоголь, Толстой и Достоевский. В частности намечена для перепечатки замечательная работа К. Леонтьева «О романах гр. Л. Толстого».

Зоя Юрьева

ФЕДОР СТЕПУН. ВСТРЕЧИ. *Издание товарищества зарубежных писателей.* Мюнхен 1962.

В эту книгу вошли очерки, написанные за последние сорок лет. Но это не просто сборник разнохарактерных и случайно подобранных статей о писателях, с которыми автор встречался в жизни (Бунин, Зайцев, Вяч. Иванов, Белый, «Серапионовы братья», Леонов и многие другие), а также статей и о тех своих вечных собеседниках, которых он знает только по книгам (Достоевский, Толстой). Это только отчасти — воспоминания; и отчасти — литературная критика. Объединяющая все эти «*встречи*» внутренняя тема и основная ее реалия — *память*.

Магический жест искусства, утверждает Степун — память: «Конечно, не та «вечная память», о сотворении которой молится церковь при отпевании умершего, но все же таинственно связанная с нею. В сущности каждый подлинный художник — творец вечной памяти и заклинатель смерти; великое подлинное искусство — прообраз и предвосхищение в земных условиях последней мистерии, обещанной нам, мистерии воскресения наших неустанно во времени умирающих дней к вечной жизни в преображенной плоти» (стр. 96; о том же говорится на стр. 200).

Едва ли можно было бы дать какое-то окончательное, исчерпывающее определение понятия и образа памяти, таинственной Мнемозины. Понимание, подходы к этой реалии могут быть разные. Так, память главная действующая сила в романе Марселя Пруста, в его «Поисках утерянного времени». Пруст воскресения мертвых не чаял, но верил в какую-то победу памяти над временем, даже над смертью. Его внимание, гениальное внимание, сосредоточено не столько на объектах, сколько на себе самом, субъекте — агенте памяти. Естественной, духовной или какой-нибудь другой иерархии вещей в прустовском мире нет. Для него пирожное, съеденное в детстве, дамские моды 90-х г.г. или неправильные обороты речи равноценны, одинаково существенны, если только ему удавалось выловить их из реки времен и воплотить в «письменах».

Другой подход к прошлому у Гёте, верившего в иерархию вещей, как натуральную, так и культурную, а также и в реальность объектов памяти. В "Dichtung und Wahrheit" Гёте выбирает — отбирает в прошлом всё существенное, в большей или меньшей степени связанное с древом жизни, с его тайнами; или же то, что определяет культуру (в путешествии по Италии).

Линия Степуна, несомненно, гётевская, но вместе с тем, и его собственная, ни на какую другую непохожая, линия жизни, которая широко и причудливо разветвляется и в другой, мне

кажется, самой замечательной его книге: «Бывшее и несбывшееся». По признакам жанровым эта книга — мемуары, но источник вдохновения автора — всё та же творческая память, а не воспоминания, оживляющие, но не воскрешающие прошлое.

Г. В. Адамович писал, что Степун по своему складу «человек, конечно, 'достоевский', а не 'толстовский'». Едва ли это так. Степун — русский и православный вариант «гётевского» человека, который всю свою жизнь писал свои "Dichtung und Wahrheit", на языке очень своеобразном, выразительном, совмещающем обороты книжные с живостью разговорной речи. Многие его приговоры запоминаются: Белый «был существом, обменявшим корни на крылья»; писания Л. Андреева — «плод эпохальной наглости ('Капитанская дочка надоела, как барышня с Тверского бульвара')»; «Алексей Толстой пишет (да простится мне это сравнение), словно отрыгивает». Его стиль совмещает «худощавую» (по выражению Гоголя), германо-философскую терминологию с веселым русским балагурством.

Достоевского Степун очень ценит, увлекается его героями-идеями, но, вопреки Адамовичу, ему не сродни. В нем нет того *нерва* Достоевского, той его жилки, которая очень у многих билась и всё еще бьется. Так, мертвая девочка из кошмара Свидригайлова «ожила» у Зинаиды Гиппиус в самых её декадентских стихах о Девочке в Сереньком Платьице. Блоковская Незнакомка возникает из «распивочной» атмосферы Раскольникова, Версилова, Ивана Карамазова. В философии Бердяева заостряется «достоевская» апология Бога — любящего, но не всемогущего. Альбер Камю до самой своей смерти проспорил с Кирилловым . . . Они все, хотя и очень разные, были люди «достоевские»!

Степун, философ немецкой выучки, всегда учитывал ограниченность германского идеализма, никогда вполне не доверял диалектике. Его, как и Гете, всегда тянуло ко всему первичному, к корням, к бытию, еще себя не осознавшему, но питающему жизнь, и сердце, и ум. Этот гётевский путь — неожиданно, но вполне закономерно, приводит Степуна к Бунину, художнику по шиллеровской терминологии «наивному», мало и слабо рефлектирующему, но причастному тайнам бытия и жизни, тайнам похоти и смерти, любви и памяти. Степун стремится уяснить, осмыслить то, что Бунин подслушал у природы не только в плане физическом, но и в плане метафизическом, в «Жизни Арсеньева» или в «Митиной любви». Именно этим объясняется «роман Степуна с Буниным», который отрицал, презирал всю ту московскую среду, в которой Федор Августович жил — поэзию «модернистов», религиозно-философские искания и многое другое.

Казалось бы, Степуна должен был привлекать Лев Толстой «человек громадной биологической силы». Но очень уж его отталкивает рационализм и морализм Толстого-проповедника. Именно поэтому, он, мне кажется, слишком увлекается спором с Толстым и очень уж легко разбивает его доводы! О толстовском «тайновидении плоти» он только упоминает. Но это не упрек. Все встречи Степуна — творческие; он волен выбирать близкое, понятное, *живое* у всех тех, с кем он встречался. Бунин ему ближе «биологического» (но и метафизического) Толстого, и не потому ли, что бунинское внимание сосредоточено на природе, на корнях древа жизни, а не на отношениях природы и человека, как у Толстого, Тургенева (стр. 99).

Антипод Бунина (но и Степуна) — вдохновенно-оживленный, выплясывающий философию, и странно отсутствующий, даже несуществующий Андрей Белый! Но чем-то он Степуна привлекает, почти завораживает, и по выразительности и законченности очерк ему посвященный особенно удался Федору Августовичу. Белый, по собственному своему признанию, *безвесый, никакой,* чудесно-неожиданно воскресает и живет в памяти Степуна: он хорошо виден, слышен и даже осязаем.

Замечателен очерк, посвященный встрече с другим человеком гётевского склада — Вячеславом Ивановым. Степун прекрасно излагает уже забытое учение В. Иванова о символах. Ему удалось разъяснить и приблизить к нам этого, психологически наиболее отдаленного от нас, «столпа символизма». Всё же в наше время мало кого восхитит, вдохновит «пиршественная игра духа» Вячеслава Иванова. Его пророчества о наступлении органической «хоровой» эпохи кажутся измышлениями книжника, «пирующего» в кабинете или в музее. Степун прав, утверждая, это эпические мечтания В. Иванова осуществились «в весьма злой дьявольской перелицовке . . .» (стр. 151), в большевизме, в фашизме . . . Замечу: не так давно была переиздана малоизвестная автобиографическая поэма В. Иванова «Младенчество»; и в ней неожиданно приоткрывается другой, не «книжный» В. Иванов — поэт и человек. Кроме того в прошлом году в Оксфорде у Кларендон Пресс вышла замечательная книга поздних стихов Вяч. Иванова «Свет вечерний», о которой надо говорить особо.

Очень удачен очерк, написанный к юбилею Б. К. Зайцева. В его лиризме, пишет Степун, «больше вздоха, чем стона. Печаль его светла». Характеристика — краткая, верная, убедительная.

Последний очерк, кажется, самый ранний, посвящен советской литературе 20-х г.г. Здесь Степун очень выделяет молодого Леонова, писателя ему очень близкого. Но он высоко оценивает и дру-

гих советских прозаиков того времени. Всюду — очень меткие характеристики кинематографичность Эренбурга, Шкловского, вывихнутые фразы, разваливающиеся образы Бабеля, «лихорадка формальных влияний» идущих от Белого и Ремизова... Всё это может не нравиться, и можно сомневаться — соответствовала ли экспериментальная проза 20-х г.г. «духу времени», но нельзя не согласиться со Степуном — это настоящее творчество. А свой образ живой России Степун дает не во «Встречах», а в последних главах книги «Бывшее и несбывшееся» и в «Мыслях о России».

Во всех книгах Ф. А. Степуна поражает его юношеская живость, его природный оптимизм, его особенное — дружелюбное отношение к миру. Всё, что его память воскрешает, будь то «корневой» Бунин или крылатый Белый, всегда очень питательно, насыщенно-витаминно! Степун, философ-художник, не любит систематизировать, не любит поучать, но всегда вдохновляет живыми образами, идеями, проблемами.

Юрий Иваск

ТАТЬЯНА ФЕСЕНКО. «ПОВЕСТЬ КРИВЫХ ЛЕТ». Изд. «Нового Русского Слова». Нью Йорк. 1963.

Сейчас за рубежом живут многие тысячи советских эмигрантов, оставшихся заграницей после последней войны. Среди них немало поэтов, прозаиков, публицистов, ученых. Новые эмигранты опубликовали много разнообразных книг. Но, как это ни странно, среди этих книг почти нет полных жизнеописаний. Недавно вышедшие воспоминания Татьяны Фесенко «Повесть кривых лет» являются, в сущности, первым таким полным жизнеописанием.

«Повесть кривых лет» — это документальная повесть о жизни одной семьи в годы до войны и в страшные военные годы. С первой и до последней страницы эти воспоминания подкупают своей искренностью. Автор — киевлянка, филолог.

Татьяна Фесенко начинает книгу с воспоминаний о своем детстве. Киев. Интеллигентная семья научного работника. Первая мировая война, революция, гражданская война, принудительная коллективизация, ежовщина, вторая мировая война, гитлеровская оккупация, уход на запад, лагеря в Германии, угроза принудительной репатриации. Кончается книга отъездом в Америку. Всё в этом повествовании интересно, предельно правдиво и в то же время драматично. Кстати, о Бабьем Яре и в эмиграции, и в советской литературе было написано довольно много. Но я думаю, что

страницы Татьяны Фесенко о Бабьем Яре производят наиболее сильное впечатление. Вот этот отрывок из «Повести кривых лет»:

«...вечером из соседнего домика прибежала трясущаяся соседка и взволнованно проговорила:

— Евреев расстреливают... Знакомые ходили копать картошку, сами видели. Забирают у них все вещи, оставляют в одном белье и строчат, строчат без конца из пулеметов, а тела сбрасывают в Бабий Яр...

...Как-то, когда уже по осеннему грустно пахло землей и сухими листьями, мы с Андреем пошли навестить дорогую могилу моей любимой подруги, похороненной на лукьяновском кладбище. Дорога за городом тянулась вдоль стены еврейского кладбища, осененного тополями. Это была та самая трагическая дорога в Бабий Яр. Под ногами, в пыли, почти сплошным ковром валялись коричневато-серые маленькие книжечки советских паспортов, обрывки облигаций, документы. Так и оставались они там, эти последние свидетели страшного убийства, пока их не скрыл белый снежный покров».

Какова же главная тема «Повести кривых лет»? На это отвечает сама Татьяна Фесенко в авторском вступлении к повести. Она пишет: — «Повесть кривых лет» — это повесть о годах жизни, неровных, как температурная кривая у больного лихорадкой... Довоенный быт рядового советского интеллигента, война и беженство, немецкий рабочий лагерь, существование в роли 'перемещенного лица', — вот главные вехи моего повествования. Многое стерлось в памяти, возможно вкрались и кое-какие неточности. Мои заметки погибли вместе с вещами, — но все же картины пережитого, очень личные, в той или иной мере повторяют судьбу десятков тысяч людей, сорванных с родной земли вихрем войны».

Книга Татьяны Фесенко — это в какой-то мере история борьбы советского человека за себя, борьбы за человечность. Путь, пройденный автором, характерен для многих советских интеллигентов. Книга убеждает читателя в том, что среди этих интеллигентов есть люди, которые в условиях тоталитарного гнета — и сталинского, и гитлеровского — внутренне не сдают позиций подлинной культуры и человечности.

«Повесть кривых лет» — это исповедь человека, которого жизнь бросает от одного тоталитарного режима к другому: от сталинского к гитлеровскому. Вот как Татьяна Фесенко описывает арест своего отца:

«И вот папу уводят. Я хочу проводить его, хоть еще несколько шагов вместе. Меня не пускают. Уже светает, я ясно вижу, как папа,

чуть сгорбившись, идет по дорожке. Вот он оглянулся, ускорил шаги. Как тяжело ему бедному. Хлопнула дверца, зашумел мотор... Увезли...

Энкаведистам, действительно, было некогда: в эту ночь около пяти тысяч представителей киевской интеллигенции — инженеров, врачей, агрономов разделили судьбу моего отца.

Я вернулась в опустевший дом, утешала и успокаивала маму, машинально раскладывала разбросанные вещи по их прежним местам. Только бы дождаться утра, позвонить Шуре. Он наверное что-нибудь уж придумает, посоветует. Но Шура оказался бессильным. Ничего не дали и мои хождения по приемным НКВД. Когда я пришла в назначенный день, восьмого, мне ответили кратко, как и сотням других обеспокоенных людей: 'Время военное, справок об отдельных лицах не даем'. Я приходила снова и снова, получала тот-же ответ. Добилась приема у прокуроров, гражданского и военного. Первый сказал лаконично' — 'за мной не числится'; второй долго просматривал списки, вызывал секретаря, звонил куда-то и, наконец, проговорил: 'такого дела нет'. Потом скользнул взглядом по моим судорожно сжатым рукам и добавил мягче: 'вашего отца вывезло НКВД просто, как ненадежного'».

Воспоминания Татьяны Фесенко часто поднимаются до уровня подлинного художественного произведения. Вся «Повесть кривых лет» читается с большим интересом.

Вяч. Завалишин

ИВАН ЕЛАГИН. ОТСВЕТЫ НОЧНЫЕ. *Стихи.* Изд. «Нового Журнала». Нью Йорк, 1963.

Елагин — поэт-энтузиаст, который всегда говорит-поет с увлечением, упоением. Нарастающие поэтические крешендо, форте-фортиссимо его подымают, быстро уносят в какие-то небеса или бездны. Он часто выбирает ударные слова: это, например, *льдина* или *пятнадцать тысяч ночей* или глагол *отдаю*, и затем несколько раз их повторяет всё громче, звонче,— до верхнего *до* теноров. Или — другое сравнение: эти опорные слова — трамплины для скачков с высоты, которая всё время «повышается». Прием — характерный для Цветаевой. Но из этого не следует, что Елагина можно с нею сравнивать. Он сродни Цветаевой, а также и Пастернаку, своим динамизмом, поэтическими скоростями, но поэтическое хозяйство у него — свое собственное, не по чужим образцам «организованное».

Иногда страх берет: а вдруг Елагин сорвет голос, еще не дойдя до верхнего регистра. Но в лучших его стихотворениях — срыва нет, например в этом: «Отпускаю в дорогу с Богом!» Именно здесь он семь раз *отдает* (тебя) жизни, миру — «заливам синим», «ветру, счастью, дождю, разлуке», наконец, «лифтам, лестницам и парадным, коридорам и кабинетам»... всему, всему! Но после нескольких форте-фортиссимо, он к концу, незаметно понижает голос, и в последнем стихе уже шепчет:

Отдаю тебя всем соблазнам,
Встречам легким, веселым, праздным,
И печальным горячим встречам,
В час, когда защититься нечем.

Всё это стихотворение — прекрасное, одушевленное, нежное.

В стихотворении о пятнадцати тысячах ночей есть хорошие строфы, но есть и срывы в «театральность». Все эти ночи, по крайней мере, на мой вкус, очень уж эффектные. Целиком неудачно только одно стихотворение, посвященное Толстому. Но здесь «виноват» не поэт, а выбранная им тема. Кого угодно можно в стихах воспевать, но не Толстого с его беспощадной правдой. Всякое поэтическое на него покушение есть покушение с негодными средствами! Это, по-моему, бесспорно и поэтому отказываюсь от аргументации.

Елагинские стихи привлекают магией, как словесной, так и напевной, звуковой. Но его интерпретация некоторых тем — не убеждает. В ряде стихотворений Елагин защищает небо от антенн, реклам, от ракет-гробов, от всей современной машинной цивилизации. Спору нет современная, атомы разлагающая цивилизация может привести к уничтожению нашей планеты и чуть ли не всей солнечной системы. Но нельзя забывать о том (а Елагин об этом забывает), что со времен легендарного Икара до гениального Леонардо и его учеников в 20-м веке, всё дерзновенно-творческое, всё прометеевское человечество лелеяло мечту о крыльях, о заоблачных полетах! Не поручусь и за Саади и Гомера, как это делает Елагин: и они могли мечтать о современных «химерах». Сколько увлекательной фантастики в путешествии Одиссея! Можно ли утверждать, что певец Одиссеи отвергнул бы другую — современную фантастику, которая, качественно ничем не отличается от гомерической?

К тому же: полеты в стратосферу не «мешают» религии, как это думает героический, но неумный Юрий Гагарин, который Бога в стратосфере не обнаружил! Ангелы и теперь продолжают летать по своему *особенному* небу, как будто далекому, трансцендентальному, но иногда очень близкому человеческой душе, человеческому

духу. Верующие и в наше время имеют видения, например, папа Пий XII-ый, который радио не отвергал. Создается впечатление, что увлекающийся Елагин часто бьет мимо; по какой-то романтической своей инерции он отвергает всю современную технику, и не хочет понять ее очень древнего пафоса, вдохновлявшего еще греческих творцов мифа об Икаре.

Я сказал бы: восхищение Елагина всегда убедительнее его негодования. Вот изумительный стих Елагина восхищенного:

Еще я в молнии и громе . . .

Нельзя лучше изобразить, выразить силу, вполне реальную силу вдохновения, которой никогда никакие антенны и ракеты помешать не смогут. Да и не было бы этих, столь ненавистных Елагину ракет и антенн без человеческого вдохновения в молнии и громе!

Другой пример неубедительного хода мышления: в кабачке нью-йоркского Гринвич Виллидж, в этом «аду» богемы, битников, Елагин восклицает: «Не надо уже Афродите / Рождаться из пены морской . . . Тут девка закинула ноги, / Тут кончился век афродит». Так ли? Сперва спросим, кто такая прекрасная Афродита? Богиня легкого поведения (но, конечно, классом повыше гринвичских девок). И её царство не кончилось!

Может быть Елагин имеет в виду и современное «дегуманизирующее» искусство, будто бы искажающее или даже полностью отрицающее красоту? Но разное бывает современное искусство. Есть красота в чистой игре красок Матисса, у многих молодых колористов, мастеров беспредметной живописи; и здесь еще царствуют Афродиты и музы!

В том же стихотворении Елагин с досадой, с возмущением восклицает:

Какая-то тусклая жалость
Из труб серебристых текла,
Какая-то дрянь раздевалась
На сцене ночной догола.

Строфа, по моему, изумительная, волшебная. Но елагинской досады, его возмущения, я не разделяю. Меня здесь потрясают токи высокого поэтического напряжения и никакой морали наводить мне не хочется . . .

Многие современные поэты и художники утверждают, что напряжение есть четвертое измерение искусства (intensity). Но одной интенсивности мало. Настоящее искусство (как пещерное, так и «мо-

дерное») действует магически, завораживает (и, при этом, магия бывает и белая, и черная, даже кромешная!). В той строфе — всего этого вдоволь, есть и напряжение, есть и волшебство. Все четыре стиха сразу запомнились, они неизвестно почему бормочутся, выражают «настроения» читателя, которые, однако, с авторскими не совпадают. Это и есть чудо искусства, которое с момента своего рождения живет само по себе, на вольной волюшке, и своему творцу, отцу, уже не подчиняется.

Спрашиваю: можно ли вообще оспаривать авторскую интерпретацию разных проблем жизни, например, его отношение к современной технике? В принципе — нет, нельзя... Я не сочувствую поучающим, спорящим с поэтами критикам типа Белинского и, в особенности, критикам типа Ермилова. Но всё же в данном, елагинском случае можно говорить о мировоззрительном несовпадении поэта и по крайней мере некоторой части его аудитории. Много ли найдется среди читателей Елагина менонитов, духоборов, мормонов, которые могли бы сочувственно отнестись к его технофобии? Думаю, очень немного. Но всё прометеево человечество, включая верующего Паскаля, философа и изобретателя, всегда думало и думает иначе: и его атомными взрывами не запугаешь.

Повторяю: восхищенный Елагин сильнее, увлекательнее Елагина возмущающегося, сатирического.

В заключение — читательское пожелание Елагину, пожелание извлеченное из его поэзии

Стихи за стихами пиши,
Сочиняй и некстати и кстати,
Для души или не для души,
Для печати и не для печати.

Юрий Иваск

Генерал-лейтенант В. К. БИТКОВСКИЙ. В БОРЬБЕ ЗА РОССИЮ. Воспоминания. 1963.

Эта небольшая, хорошо изданная книга принадлежит к числу редких в наше время произведений эмигрантской мемуарной литературы. Ее автор, генерал-лейтенант В. К. Витковский, в крымский период гражданской войны занимал ряд видных командных постов в Русской армии генерала Врангеля. Позже, уже в эмиграции, он был одним из старших начальников Русского Обще-Воинского Союза.

Воспоминания ген. Витковского, это — несколько не связанных между собой эпизодов, из которых лишь один касается гражданской войны, а остальные относятся к эмиграции.

Будучи в Крыму начальником высокой по своим боевым качествам Дроздовской стрелковой дивизии, ген. Витковский получил от ген. Врангеля задачу провести рискованную десантную операцию по овладению портом Хорлы. Операция была задумана для облегчения положения войск, защищавших крымские перешейки и испытывавших сильное давление красной армии. В трудных условиях, почти без артиллерии, дроздовцы высадились в Хорлах, разбили местный гарнизон красных, прошли по их тылам и вернулись в Крым, — к удивлению войск ген. Слащева. Как пишет ген. Витковский, «части Крымского корпуса, занимавшие Перекоп, в силу неизвестных обстоятельств, оставались пассивными . . . Оказалось, что войска на Перекопе ничего не знали о нашей десантной операции и недоумевали, что за артиллерийская канонада в течение четырех дней в тылу у противника». Таким образом, осталось неизвестно, какой же штаб — штаб армии в Севастополе или штаб корпуса в Перекопе — оказался виновным в отсутствии боевого взаимодействия между десантной группой и фронтовыми частями? Но ясно, что при более неблагоприятных обстоятельствах это повело бы к гибели Дроздовской дивизии.

Дальше автор описывает мало освещенный в свое время план похода корпуса ген. Кутепова из Галлиполи на Константинополь. Этот план был составлен на случай прекращения довольствия русской армии французскими военными властями в Галлиполи. Этот тайный план, разработанный начальником штаба 1-го Армейского корпуса ген. Штейфоном, ген. Витковский называет «типичной авантюрой». Тем не менее, благодаря моменту внезапности и отсутствию у Константинополя больших масс французских войск, этот план имел немалые шансы на успех.

Воспоминания генерала Витковского проливают дополнительный свет на ряд обстоятельств пребывания белых русских полков в Болгарии. В то время, столковавшись с кабинетом Стамболийского, советское правительство предприняло ряд мер, направленных к распылению белых полков и возвращению на родину белых солдат и офицеров.

Две последние главы относятся к жизни военной эмиграции в Париже. В одной из них автор, бывший тогда начальником 1-го Отдела РОВС-а, описывает, как по требованию немецких оккупационных властей, он был вынужден временно «заболеть».

В последней главе автор описывает, как 17 июня 1942 года в Управлении РОВС-а на улице Колизэ немцы обнаружили советский тайный микрофон. Сенсация оказалась тем большей, что к установке микрофона имел прямое отношение С. Н. Третьяков, известный дореволюционный общественный и промышленный деятель, бывший

член Временного Правительства. Автор считает, что Третьяков был тайным советским агентом уже с конца 1934 года, когда он предложил ген. Миллеру обмен квартир в том же доме, где жил сам и где помещалось управление РОВС-а. Описание деятельности Третьякова, подслушивавшего разговоры сначала в кабинете ген. Миллера, а потом и в кабинете автора воспоминаний, и сегодня представляется не лишенным сенсации.

Автор воспоминаний очень скуп на слова, подкрепляя их документами, часть которых публикуется впервые. В этой документальности и состоит главное достоинство книги, вносящей свой вклад в историю русской эмиграции.

Б. Прянишников

АГЛАИДА ШИМАНСКАЯ. «Я вам прочту». Стихи. «Рифма», Издательство имени Ирины Яссен. Париж, 1963.

«Я вам прочту» — уже третья книга А. Шиманской. Книга поэта должна составлять целое, а не сборник случайных, иногда противоречащих друг другу стихотворений, связанных между собою только тем, что они принадлежат перу одного автора. Книга стихов в идеале должна быть настолько цельной, чтобы производить впечатление одного стихотворения. К сожалению, даже у хороших поэтов такая цельность встречается редко и большинство сборников похожи на альманахи, содержащие стихи разных авторов, «То флейта слышится, то будто фортепьяно...»

«Я вам прочту» А. Шиманской — за последние годы — одна из немногих книг, отвечающих этому строгому требованию. В ней автор отразился целиком, и это делает книгу правдивой и настоящей. В ней нет фальши, выдуманных, хотя и красивых чувств, и нет обычной банальности — «всё о том же», о любви к природе, о разбитом сердце и о надвигающейся старости. Даже такая обще-эмигрантская тема, как тоска по родине, взята Шиманской своеобразно. Например, первое стихотворение в книге, — разговор по телефону с собеседником, находящимся в России, или «Здесь на старенькой открытке конка...», кончающееся:

Платят мне за труд французским хлебом,
По-французски только говорю.
На открытке тут кусочек неба...
Но по-русски я тебя люблю.

Я не люблю слова «поэтесса», как не любили его Гумилев и Марина Цветаева. Но это не значит, что они, как и я, не любили

женственности в стихах, напротив, женщина-поэт только тогда по-настоящему проявляет себя, когда она находит нужные образы и ритмы для выражения своего женского чувства. В прелестном цикле Шиманской «Весенние снимки» много несомненной и трогательной женственности, она умеет найти свои выражения и избежать соблазна банальности:

Лебедь белый, фарфоровый, хрупкий,
Лебединая нежность моя.
Солнце светит оранжевой юбкой,
Дышит небо, дышу и я...

Но женственность Шиманской сложна и разнообразна и, что редко бывает, связана с метафизическим восприятием мира и с ощущением трагизма жизни. Одно из самых сильных и лунатических стихотворений в книге — стихотворение с эпиграфом из Достоевского:

Мне снился сон: стоит открытый гроб —
Бородка жидкая, высокий лоб;
Свеча горит, тревожно полыхая,
И в белом платье девочка слепая
Как будто светит мертвенным зрачком,
И лунный свет расходится кругом...

В соответствии со своим мировоззрением, Шиманская видит «Музу» тоже не аполлонически, а трагически:

Пришла и надо мною встала,
Не отходила до зари,
Меня душила покрывалом,
Шептала мне: «умри, умри!»...

Не могу не отметить также — небольшую поэму "Petit Trianon."

Ирина Одоевцева

О. МОЖАЙСКАЯ. «РАЗЛУКА И ВЕРНОСТЬ». Стихи. Париж. 1963.

Хотелось бы, чтобы этот, недавно вышедший сборник стихов прочли все любители поэзии. В нем много хороших стихотворений. Если в молодости поэты чаще всего пишут о любви, то в зрелые годы неизбежно приходят иные темы. Многое отпылало. И порою дружба, общие пути, общее ремесло уже важнее «Соловьиного Сада». Именно это характерно для этого сборника, центральным

стихотворением которого, по моему, является «Договор». И хорошо, что «Договор» написан белыми стихами. Простым, но точным и незаменимым словом здесь говорится о «вневременной встрече» двух душ, которая дается только раз.

На бедном нашем языке немного
Таких свободных первозданных слов,
Что улетают за пределы звука.
Но есть иные властные слова,
Рождающие отклик...
И тотчас

Холодную струю я ощутила —
Присутствия вневременного знак.
И сердце сжалось, как перед разлукой
Неотвратимою.

О. Можайская проходит по жизни не бездумно, многие ее стихотворения — итоги. Во всех ее стихах нет ничего статического, никаких описаний. Стихотворение «Автору Свидания Джима» волнует тонким пониманием юности, простодушности, чистоты:

Всё, что скрыл от равнодушных взоров,
Всё, чем молодость томила — вновь:
Музыка, молитва, без которых
Не приходит никогда любовь.

Когда О. Можайская говорит о природе, — это всегда символ того «домой», где «ни слез, ни вздохов, ни разлуки». Отсутствием равнодушия, горячностью, гневом и горечью отмечены многие стихи поэта:

Не размышляя о цене
Готова я платить
За право чувствовать вдвойне
И эту жизнь любить.

Все стихи в движении, беспокойстве, стремлении и все они тянутся в запредельное. К «житейскому попечению» Можайская относится высокомерно-презрительно. Для нее важнее всего то, что —

Самый страстный вопрос
Уже — ответ.
А для мудрых, для роз
Загадки нет.

Ек. Таубер

Д. А. МАГУЛА. "FATA MORGANA". Стихи. Издание автора. Нью Иорк. 1963.

Это — третья книга стихов Д. А. Могулы. Первая «Свет вечерний» вышла в Париже в 1931 г., вторая — «Последние лучи» — в Нью Иорке в 1943 г. Отчетная книга, эпиграф к которой взят из А. Фета — «И лжет душа, что ей не нужно — Всего, чего глубоко жаль», — подтверждает поэтическое дарование и большую поэтическую культуру автора. Стихи этой книги весьма разнообразны по размерам, ритмам, в ней много даже всяческих версификационных экспериментов (тавтограмма, сапфический стих, хориямбы и пр.). Интересны в книге переводы с английского (из В. Хенли, Дж. Сквайра, А. Саймонса, Т. Мура и др.), с испанского, с французского.

Оригинальные стихи Д. Магулы распадаются как бы на две части. Одна — это сюжетные стихотворения на исторические темы, которые напоминают подобные стихи В. Брюсова. Здесь — «Смерть Пизарро», «Леонора», «Гранада» и др. Другая часть, это — лирика. И думается, что это и есть подлинная творческая стихия автора. Очень хороши и типичны для автора такие строки:

Скорблю, что шел стезей слепца,
Что сердце жить и ждать устало
И что до близкого конца
Ему осталось жить так мало...

А ты — как молния, ушла...
И, как замедленные вздохи,
В душе, где нарастает мгла,
Проходят поздние сполохи.

В таких стихах автора несомненно живет заражающее лирическое чувтсво. И это делает книгу «Фата Моргана» привлекательной. Издан сборник очень хорошо.

Р. Гуль

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

ПАВЕЛ ВЕСЕЛОВ — *Вечна ли правда?* Критический анализ основного положения материалистических учений. Изд ЦОПЭ. Мюнхен. 1963.

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ института по изучению СССР. Том I, Выпуск 1, Мюнхен 1963.

ВЛ. ДУКЕЛЬСКИЙ — *Страдания немолодого Вертера*. 2-ая книга стихов. Мюнхен 1962.

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ. Альманах III. Редактор-издатель Р. Н. Гринберг. Нью Йорк. 1963.

Д. А. МАГУЛА — *Fata Morgana*. Стихи. Издание автора. Нью Йорк. 1963.

ИВАН ЕЛАГИН — *Отсветы ночные*. Стихи. Изд. «Нового Журнала». Нью Йорк. 1963.

ВС. ВАЩЕНКО — *Святоименный Афон*. Изд. Организ. бюро всемирного совета общества друзей Афона. Штуттгарт. 1962.

ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ — *Стихи*. Кн. 2-ая. Мюнхен. 1963.

FREEDOM, TRAGEDY, and COMEDY. Three Lectures by Horace M. Kallen. Published by Northern Illinois University, De Kalb, Ill. 1963.

ARENA. Published by PEN Center for Writers in Exile. London. March 1963, No. 12, 3/6.

IVAN GONCHAROV—*Oblomov*. A New Translation by Ann Dunningan with a Foreword by Harry T. Moore. Published by The New American Library. New York. 1963.

VASILI AKSENOV—*A Ticket to the Stars*. Translated by Andrew R. MacAndrew. Published by The New American Library. N. Y. 1963.

THE PETTY DEMON. A novel by Fyodor Sologub. Newly translated from Russian by Andrew Field. Random House, N. Y. 1962.

PITIRIM A. SOROKIN in Review—The American Sociological Forum. Edited by Philip Allen. Duke University Press. Durham. 1963.

SOCIOLOGICAL THEORY, VALUES, and SOCIOCULTURAL CHANGE. Essays in Honor of Pitirim A. Sorokin. Edited by E. A. Tiryakian, The Free Press of Glencoe. Collier-MacMillan LTD. London. 1963.

VERA ALEXANDROVA—A History of Soviet Literature 1917-1962, from Gorky to Yevtushenko. Doubleday & Company, New York. 1963.

PITIRIM A. SOROKIN — A Long Journey. The Autobiography. College and University Press. New Haven, Conn. 1963.

ПАРНАС ДЫБОМ. 3-е дополн. изд. Edited by C. S. Jauksch-Orlovski. Montreal. Canada. 1963.

М. КАРАТЕЕВ — *Богатыри проснулись.* Историч. роман. Кн. I. Буэнос Айрес. 1963.

С. ВЛАДИСЛАВЛЕВ — *Из записной книжки беженца.* Париж. 1963.

Р. ПЛЕТНЕВ. — *О лирике А. С. Пушкина.* Монреаль, Канада. 1963.

РОДИОН БЕРЕЗОВ — *Красота.* Санта Барбара. 1963.

WANO ACHMETELI — Judge Ayrapetov's Laws or Jurisprudence in Signakhi. Pagent Press, Inc. New York. 1963.

МОРСКИЕ ЗАПИСКИ Том XXI, № 1, 58. Нью Йорк. Сентябрь 1963.

ALEXANDER A. BOGOLEPOV — Toward an American Orthodox Church. Morehouse-Barlow Co. New York. 1963.

Архиепископ ИОАНН Сан-Францисский — ПРАВОСЛАВИЕ В АМЕРИКЕ. Экклезиологический очерк. Нью Йорк. 1963.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

ПЛАЧ О ЕСЕНИНЕ

Поэма

Изд-во «Мост» — **Цена 1 дол.**

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

1943-1958

СТИХИ

Вступительная статья **Романа Гуля**

Издание «Нового Журнала» — Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА

к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати **Л. Л. Домгер**

Издание «Нового Журнала» — Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост» — Цена 2 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

АЗЕФ

Исторический роман

Издательство «Мост» — **Цена 3 д. 50 ц.**

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового Журнала». До № 25 книги стоят 2 дол. (10 центов пересылка), начиная с книги № 26 — 2 долл. 25 цент. (10 центов пересылка).

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1964 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.